Екатерина Ткачёва

Странный роман
(2010-2025 г.)

Часть 1
МАХЕРАС

8 903 232 85 25
kotka2004@mail.ru

Екатерина Ткачева
МАХЕРАС

Вступление

Что писатель знает о себе, когда он пишет? Знает, что последняя точка будущей рукописи уже поставлена. Ещё знает, что он проникает в некую потаённую комнату, томительно-загадочную, горячо любимую и никому более недоступную. Полную молитв, полумраков, свечей, где льют дожди и уютно горит огонь, в комнату, которая дышит сама по себе и каждую минуту меняется. Знает, что по необъяснимым причинам он не всегда может в эту комнату попасть. Или, что, побыв в ней некоторое время, он, не желая того, оказывается снаружи, в холодной пустоте. Знает, что хочет научиться всегда слышать беззвучие. Чтобы заменить им каждое слово и поделиться голосом вечности.

***

Драматизм любого литературного произведения в том, что мысль, одетая в персонажа – искажается. Земная оболочка с руками, ногами, головой, судьбой делает мысль неточной. Органично и привычно для писателя смотреть на своих героев как на собрание разноцветных клякс. Эта вечная неудовлетворенность созданным должна бы делать из авторов неврастеников, но спасает то, что есть в земном воплощении мысли и несомненный плюс – она обретает дыхание, пульс, всхлип... Поэтому дышать для героя, значит, терять – терять одно, обретая другое.

***

Бывает пропасть между исповедью и покаянием. То, что можно назвать искусством, бывает исповедально или покаянно. Первое обязано быть талантливо по форме. Второе – по смыслу. То и другое вместе – уникальная редкость. Ни то, ни другое – вообще не искусство. Словом, читать дальше – неоправданный риск и возможный обман. Решимся?

1

Поскольку в гости идти с пустыми руками неприлично, люди приходят на Землю с подарком. Они искренне, от всей души и совершенно бескорыстно дарят кому-то своё детство.

А вот он никому не смог подарить свое детство…

Но кто это он? Герой ли романа? Любой человек очень удивился бы, если бы узнал случайно, что он главный герой романа. А этот и вовсе умер бы от ужаса. Поэтому не станем ему ничего говорить.

Итак, он никому не смог подарить свое детство. Потому что оно никому не было нужно. Он видел, как чьи-то мамы и папы, а особенно бабушки и дедушки восхищаются чужими детствами, как радуются и наслаждаются ими, как восторженно согреваются в их щедрой звонкой нежности, как гордятся ими, словно уникальным, единственным в мире сокровищем. Но его детство для чужих не представляло интереса. А своих не досталось. И такое же неповторимое сокровище было оплёвано и никем не замечено.

В доме малютки он видел, как некоторые, с врожденной деловой жилкой, умудрялись хоть кого-то задобрить детством: таких брали на колени, обнимали, угощали, но он стеснялся взрослых, норовя поскорее отделаться от общения с ними. Долгое время он ещё надеялся, что его детство всё-таки может пригодиться какой-нибудь одинокой женщине или дружной семье. Но ничего не менялось, и наконец ему стало казаться, что он вовсе не родился, потому что житьё становилось совсем безобразным, и он уже не мог поверить, что действительно его живёт.

Однажды, уже в детском доме, случилось чудо. Какая-то тётка с толстыми щеками и тонким голосом приходила к ним в школу и выбрала его, одного из всего класса, чтобы сниматься в кино. Как он влюбился в её огромные очки и нечищеные кроссовки! В какое смущение приводили его её туго обтянутые джинсами огромные ляжки! За ним специально приезжали на

такси и возили на киностудию читать стихотворение перед камерой. Он до того понятия не имел, что знает стихи. Но они вдруг выскочили из него сами, и такой бойкостью, что он чуть в обморок не упал. Его похвалили. Стали рассказывать про роль. Но ничего хорошего из этого всё равно не получилось.

– Ну что, Жан Рено, – сказал ему один из *них*, когда *они* внезапно окружили его за школой, харкнув в сторону прошедших учителей, – подгримировать не надо?

***

В общем, это было очень больно. На него злились даже врачи, потому что давно прошли все сроки, отпущенные на выздоровление, а у него продолжала кружиться голова. Он стал рассеянным. Равнодушным. И перестал верить в чудеса. Одинаково смотрел на вяло-розовую стену, какие бывают только в больницах и туалетах, и ни о чем не думал.

И лишь потом, совсем нескоро, когда он всё же вернулся из душной палаты и к своему удивлению продолжал жить, хотя к удивлению он так же мало был способен, как и к жизни, он вдруг вспомнил про это. Это была рука. Такая, какой не существует. Не то что красивая, воздушная, солнечная, а просто какой не существует. Но она была. А остальное казалось облаком. Невозможно описать или объяснить то облако, совсем другое облако. И это случилось, когда стало больнее всего. Но там ли, у школьной стены или в больнице, или намного раньше, он не помнил.

Рука его вела. Не касаясь его, а как бы проникая через него, пронзая его. Нет… Он лежал в ней, как в колыбели. И шёл за ней. И знал, что это мама. Но только совсем не мама. Словом, он не очень понял, что он вспомнил. Но только знал наверняка, что это, возможно, единственное из всего остального, наверняка произошло. Стихов перед камерой могло не быть, перелома, сотрясения, капельниц, хриплых медсестер… А то было. И после того, как он вспомнил это однажды, он иногда стал видеть что-то странное. Не то, чтобы видеть. Скорее, наоборот, ничего не видеть. На него находила тошнота, разом нападали все лекарственно-хлорные переживания больницы, и одновременно с этим он снова шёл, вед*о*мый. Зная куда. Только объяснить, как и куда же всё-таки, он никогда бы не смог.

А ещё к нему стали приходить ужасы. Особенно когда он был голоден. Он странно ощущал голод, потому что аппетита у него вообще не бывало. С раннего детства он привык, что у него отнимают еду, и оттого ел на удивление мало. Иногда его рвало после обеда или ужина, о чём он никому не рассказывал. И о *них* он тоже ничего не стал рассказывать. Когда в детском доме спросили, кто его избил, молча пожал плечами и помотал головой.

Голод он чувствовал не в животе, а над собой. Словно на голову надевали невидимый пыльный барабан и пьяно колотили по нему палками. У него тогда не получалось ни думать, ни читать, ни гулять по двору от дерева к дереву, как он любил делать, останавливаясь и шепча морщинистой коре свои секреты или сочинённые несбыточные сказки, и вот тут-то часто получалось, что на него нападал страх. Беспричинный. Мучительный настолько, что он мигом забывал, как его зовут, где он находится, что происходило до того… Ему казалось, что он никогда не сможет выбраться из непонятной закрытой тёмной комнаты, что он сейчас начнет кричать, биться об стены, но при этом не мог даже пошевелиться. Проходило это в несколько секунд, но из-за провалов в никуда они казались вечностью. Потом он научил себя, что как только наваливается мутный колотящий дурман, нужно положить что-то в рот, механически разжевать и проглотить, как он делал это за обедом, – тогда беспричинного страха можно избежать. На этот случай приходилось носить в кармане кусок хлеба или печенье.

Со временем всё стало проходить... Он забыл, что идёт, несомый и невесомый. Он заставлял себя есть, и однажды это стало получаться. Страхи понемногу прекратились. И у него как-то совсем ничего не осталось, – разве что привычка часто молчаливо плакать, которую он не

мог изжить даже спустя долгие годы. Из-за этого или по другой причине, но он почти не помнил ни своего отрочества, ни юности, словно после десяти лет ему сразу стукнуло тридцать. Так он и носил своё нерастраченное, никому не подаренное детство в дальнем глубоком кармане сердца, понимая, что взрослому человеку и доставать-то его на людях неприлично, потому что сочтут сумасшедшим.

***

Несмотря на болезненность, он вырос длинным; на фоне общей худощавости у него странно круглели наивно-пухлые щеки, некрасиво оттопыривался живот, на котором постоянно расстегивалась пуговица. Он не умел чисто бриться. На лице часто оставалось колючее или порезанное. Чтобы облегчить задачу, носил бороду, жёсткие усы, которые лезли в рот и щекотали большие, младенчески красные губы. Видимо, от перенесённой травмы он не смог, да и не захотел выучиться на современного занятого человека, не стал никем и жил в остаточных призрачных детских фантазиях, которые позволяли отгородиться от непонятного и пугающего всего. Ему дали однокомнатную квартиру в подмосковной пятиэтажке. Деньги он считал, потому что никогда не знал, когда и откуда они у него появятся. Иногда, впрочем, забывался и старательно сбережённые месяцами запасы механически-отрешённо спускал на ненужную чепуху.

Никто, даже он сам, не знал, как и чем он живет. Какие-то люди пристраивали его то в обувной магазин, то в автосервис, то в видеопрокат. Для него не было разницы, он только удивлялся, зачем бы это ему, покорно служил недолгое время, потом говорил себе: «Нет, они всё-таки, наверное, ошиблись, это не моё…», – и уходил без малейшего угрызения совести. Словом, он жил рассеянно, неправильно, безвольно, доверчиво… И писал самому себе письма. (Левой рукой, потому что был левшой и жутко гордился этим; дабы защититься в детстве от насмешек, он придумал для себя, что леворукость является признаком некоего врождённого благородства, а после и поверил в это). Клал исписанный мелким, но размашистым и прыгучим почерком лист в конверт с маркой и отправлял на свою квартиру без обратного адреса, стараясь успеть забыть, что в нём сочинено, до получения.

Его ни капли не боялись голуби. Они десятками прилетали на подоконник, будили, шумно требовали крошек. Он не хотел, чтобы они пачкали, однажды даже попытался отогнать их. «А ну-ка пошли отсюда, пошли!» – притворяясь рассерженным, робко проговорил он и сильно замахал руками. Некоторые из голубей лениво отошли на несколько шагов и посмотрели на него с недоуменной укоризной. «Вот я вас на шашлык!» – совсем уже отчаянно пролепетал он таким добрым голосом, что самому стало противно. В общем, он понял, что голубей придётся деликатно переучивать, и несколько месяцев ушло на вразумление птиц и изменение местоположения харчевни. Он собирал для них провизию в пакет, выносил на улицу, стараясь не попадаться на глаза соседям, сыпал сначала у себя под окном, так как жил на первом этаже, а потом дальше и дальше, к мусорным бакам. Там-то они и организовали новую столовую. Постепенно цель была достигнута, и в очередном письме он похвалил себя за проделанную работу, а в награду даже положил открытку с ёжиком, который держит букет.

***

Но вот однажды всё изменилось. Позже он пытался понять, с чего это началось. В итоге – решил считать стартовой точкой ту поездку, хотя казалось, что началось всё намного раньше, ещё там, в детском доме, а может, даже до него, ведь родился же он где-то и у кого-то...

Но если брать началом именно *тот* день, то что же случилось?..

Его везли на машине. Везли далеко, чтобы он помогал в строительстве чьих-то недорогих летних дач. Ехали они нервно и долго, она без конца раздражённо бубнила про деньги, договоры, халтурщиков, материлась, сплёвывала шелуху от семечек в окно и бесцеремонно обгоняла

машины, перекашиваясь на встречную полосу через сплошную. Он вдруг заёрзал, заныл, сказал, что передумал ехать, что задыхается и потеет от жары.

Откуда в его жизни взялась эта женщина, он, как и многое другое, не мог вспомнить, но она часто появлялась, бесформенная, грузная, напоминавшая посеревший гриб, расползшийся до чудовищных размеров, изъеденный и уже оставленный червями. Её шорты пахли прокисшим компотом, духи больше походили на пощёчину, и ему становилось её жаль, когда она, хрипло дыша, сваливалась с него после вялой, липкой возни, настолько унылой и беспомощной, что её нельзя было даже назвать неприличной. Он видел тогда, что она, бледная, мёртвая, измазанная косметикой – утомительно несчастна, потому что верит в реальность происходящего, стремится, превратив едкий зуд в подобие радости, взять что-то своё, хотя на самом деле не получает желаемого, как если бы пила из моря, испытывая жажду, не подозревая о существовании пресной воды; видел, что, требуя от него быть бессмысленным и резиновым, она считает, что сделала ему незаслуженное одолжение.

Машина остановилась, на него командно рявкнули, буркнули что-то резкое про неблагодарность, приплели волка, который смотрит в лес, и он послушно поплёлся за квасом в придорожный киоск, слегка покачиваясь от шума в разбухшей голове. Пока она пила, он отошёл по нужде, да так и не вернулся, но совсем не потому, что хотел убежать, а просто, увлекшись, брёл всё дальше, разглядывая деревья, машинально трогая светлую воздушную кору сосен, которая с детства оказывала на него гипнотическое действие.

***

Он шёл и шёл через лес, а потом вдруг увидел захваченный в плен замок. Ему показалось, что решётка возвышается до самого неба, словно чёрная клетчатая башня. Зрение у него было чуть ослабленным, хотя очков он не носил, а ещё глаза слепило солнце. Подойдя ближе, он увидел и вторую зарешёченную башню, стоящую подобно грозному стражнику, а придя в себя, догадался, что это древние здания церкви, снизу доверху обнесённые строительными лесами. В первую он не смог попасть, потому что двери были заколочены, в другой же, напротив, присутствовало много «пленённых», потому что шла служба. Он встал среди них, как свой, что нисколько их не удивило, потом осмелился зажечь свечку, лежащую внизу, в прямоугольной золотистой коробочке, и его за это никто не прогнал, потом он разошёлся до того, что, как другие, постоял в очереди, поцеловал икону, но все стерпели и это.

Не то чтобы он никогда не заходил в храмы, нет, он несколько раз бывал внутри, но недолго и рассеянно: удивлённо слушал пение и уплывал, блуждая глазами по расписанным стенам, квадратным колоннам, останавливал взгляд на горящих свечах, видя в каждой из них цветок с живым трепещущим оком вместо бутона, крестился невпопад, да и выходил, не зная, что делать дальше.

Теперь же он представил, что тоже попал в плен, где его, как и других захваченных, ждёт пожизненное заключение. Ему почему-то казалось, что в церкви никогда не прерывается молитва: всегда поют, читают странными удалёнными голосами, с вкрадчивым колокольчатым звоном овевают всё вокруг белыми терпкими ароматами, а седобородые служители выносят то книгу, то чашу, то большую торжественную свечу. А когда кто-нибудь падает и умирает, его тихо выносят, словно ничего не случилось, зная, что на самом деле он всё так же продолжает стоять и молиться, только уже невидимо, тело же его превращается в снег, тает и испаряется.

Про снег он не додумал, потому что отвлёкся на нестройную очередь, которая медленно и сосредоточенно приближалась к возвышению под куполом, показавшимся ему троном. Ни жив ни мёртв коснулся он тёплого стекла, испуганно почувствовав, что поверхность его на мгновение расплылась, стала мягкой и даже жидкой, отчего он чуть не провалился вниз, в непонятную

воздушную бездну; отдернув голову, прочёл, что святого, который здесь живет, зовут Савва Сторожевский.

Он вернулся на место, и мысли перемешались. Томила, но одновременно радовала темнота, люди то толпились, задевая его, то исчезали, и он, закрыв глаза, ощущал себя или в тесной запертой комнате, или в огромных праздничных залах неведомого здания, наконец, непостижимое имя таинственного Саввы приходило на ум и волновало, словно вбирая, утягивая в себя. Но постепенно думы вернулись к машине, квасу, дачам. Долго не решался оглянуться, чтобы проверить, на месте ли и открыт ли выход, это казалось кощунственным. Тогда он хотя бы решил представить, как поворачивает голову, и что видит там, за спиной.

И… за спиной ничего не оказалось. Вообще. Он знал, что ещё совсем недавно там располагался вход, длинный притвор с распятием, перед ним ремонтирующееся белое крыльцо с двумя иконами у ступеней, и вот этого теперь не было. Всё обрывалось, словно здание усекли мечом, а дальше – только белый воздух, не имеющий ни начала, ни конца, ни доступного разуму содержания, он только понял, что все они летят или плывут куда-то, и место назначения известно разве лишь святому кроткому Савве, что вернуться назад он уже не сможет никогда, потому что там, сзади, исчезло всё, и лес, и она с машиной, и даже его голуби.

Наверное, это наступил конец мира; он понял, что чудом уцелел, иначе его тоже сейчас не осталось бы: он растворился и пропал бы в непонятной белой ночи. Служба продолжалась как ни в чём не бывало, священник, диакон и остальные, видимо, давно привыкли к таким «обрывам»; он ещё успел подумать, что много, наверное, таких висит теперь не во времени и не в пространстве, а в некоем идеальном стремлении – церквей со всей планеты, но как мало это по сравнению с теми и с тем, что осталось за их порогами…

2

– Вода! – грохнуло и лязгнуло. Он глядел в грязный заплёванный пол. Машинально взял толстую серую кружку, подхватив сваливающиеся из-за изъятого ремня широкие бежевые штаны, и почувствовал, что последние минут десять всё-таки спал: или воспоминания о монастыре смогли его успокоить, или он совсем обессилел. Пытался уцепиться за остаток сна и прояснить, что было наяву, а что нет, – и не мог.

Они подобрали его в лесу, недалеко от шоссе, когда он ещё чувствовал странную белую бесконечность и лежал в полудрёме. Заплетающимся пластилиновым языком старался он объяснить, что паспорт его она увезла с собой для заключения дачных договоров; от страха и неожиданности не смог вспомнить не то что номер её машины, а даже точного своего адреса, и вызвал их ухмылку, когда честно признался, что пьёт только пиво – не чаще, чем раз в два месяца.

Потом его расспрашивали уже другие полицейские в кабинете, настойчиво требуя подписать бумаги. Он к тому моменту находился в полуобморочном состоянии из-за сумасшедшего сердцебиения и головокружения, потому вопросов не воспринимал и даже ручку не мог удержать в руке. Прошептал, что подписывать ничего не будет, потому что не понимает и не может, попросил, чтобы позвонили ей, указав имя и номер в отобранном телефоне, ведь больше у него никого в этом мире не было.

Загадочные буквы «ИВС» ни о чём ему не говорили, но когда он шёл по тёмному, исходящему шипящей пустотой коридору, то уже ловил ртом воздух и думал, что сейчас умрёт от мучительного пожирающего страха. Потом перед ним раскрыли железную дверь, и он увидел тесную камеру с зарешёченным слепым окном. Половину занимала лавка с ввинченным рядом в пол крохотным железным столом. В лицо стегнуло холодной струей запаха затхлости, мочи,

сырости – время улетучилось, предательски хлопая орлиными серыми крыльями, и за одну секунду он, как в детстве, пережил долгий чёрный провал в забытье и удушье.

Он застыл на пороге бетонного коробка, зная, что не сможет выжить здесь даже получаса, не только из-за угнетающего смрада, но и из-за тесноты и темноты замкнутого пространства, которого он панически боялся, и по причине этого не ездил в лифтах, старался избегать пассажирского транспорта. Одно представление, что он не сможет оттуда выйти, делало тело ватным и сжимало сердце таким беснующимся ужасом, что голова терялась, перед глазами всё расплывалось в одно мутное сосущее болото, дыхание пропадало в никуда.

– Мне нельзя… – выдавил он из ссохшегося, словно пережатого горла чужим еле слышным тонким сипом, и уже оказался у чугунного «очка» с капавшей над ним из тупого короткого крана рыжей водой. – Откройте, – еще тише прошептал он и понял, что кричать не может. Звуков, а не то что криков, вообще не существовало, он хотел броситься бить в дверь, хотел всем телом ударяться и расползтись по стене, но не мог шевельнуться. Замер, до в боли в ногтях вжал пальцы в угол, словно хотел раскрошить краску,– он боялся стен, потолка, скамьи, капающего крана, собственных рук, которые теперь казались далёкими и чужими.

Страх превратился в невидимое, но ощущаемое чёрное существо, которое играло с ним, душило, сковывало, лишало имени, воли, разума, памяти, наслаждаясь его болью и беззащитностью. Как затравленный, ничего уже не смыслящий зверь, застыл он в оцепенении, не понимая, минуты ли проходят, часы или дни, согнувшись, схватившись за сердце, которое, словно пропитавшись тошнотворным вязким клейстером, задыхалось.

Наконец огромные круглые слезы покатились по лицу нескончаемым потоком, падая дождём на рубашку и пол. Они-то и вернули ему голос, он стал всхлипывать, потом разрыдался в полную силу, облегчённо вздрагивая всем телом, и только тогда смог закричать.

Он кричал бессвязно, вначале о помощи, потом, что ему страшно, что он умирает, что его душат, что он болен, вспоминал названия каких-то лекарств, которые, по её настоянию, иногда делали его отуплённо-спокойным, но, впрочем, всё равно бывали бесполезны в нужный момент. Наконец вошли двое, первый поднял руку, очевидно, намериваясь швырнуть его в угол, но увидев полные животного ужаса и слёз умоляющие безумные глаза, нелепо притянутые к лицу скрюченные руки, которыми он, по-детски сжавшись, пытался загородиться, только плюнул, пригрозив, что будет хуже.

– Опять клаустрофоб, откуда они только берутся, дай воды ему, – безразлично сказал другой, и они вышли.

Ненадолго они вернули его к действительности, и он изо всех сил старался сосредоточиться, чтобы не захлебнуться в очередном приступе. Для этого стал подробно и жадно изучать надписи, рисунки на стене и скамье, и похабная выразительность их не только не вызвала отвращения, но стала даже спасательным кругом, позволявшим не исчезнуть в паническом небытии заново.

Но вскоре буквы стали вытягиваться, раздваиваться, троиться, делались то объёмными, то текучими, представали десятками судеб, пронзительно оживали и язвительной чередой, вихляясь, проходили перед ним, словно карикатуры или пародисты манекенщиков на подиуме, – и он уже ощущал невидимое присутствие то презрительного «князя», готовящемся к очередной ходке, то недавно протрезвевшего «мужика», попавшего впервые после родственного застолья по бытовухе, то напуганного «гольчика», которого кинули, подставив отдуваться за малолетнюю шайку.

На него обрушились угрюмые профессиональные разборки, скандальные пьяные поножовщины, насилия, поджоги, кражи, – в общем, всё то, чего он в человеческом мире избегал

знать, а более всего его охватило общее их томительное, ожидание «орла» или «решки» вместе с предчувствием щемящей тоски по воле под песни про «черный воронок» и «небо в клетку».

И прежде чем провалиться в новый мутный приступ страха, он успел ухватить из чужой нервной криминальной сумятицы одну свою простую, короткую мысль, что всё это происходит на той же улице, по которой ходят люди, ездят машины, лениво шаркая, подметают уборщики, работают супермаркеты и кафе, звонят колокола церкви, играют дети, бегают собаки, словом, идёт повседневная грустновато-однообразная жизнь, – и этот непостижимый разрыв, мучительно далёкий мир на расстоянии нескольких шагов, делал понятие расстояния несуществующим вовсе.

***

Неизвестность, неиспытанность прежде подобного длительного приступа угнетала и растирала границы возможных последствий. Где реальность, а где болезнь, он не различал. Мысли приходили отрывочные, чужие, яркие, как вспышка, и оттого ещё более отвратительные.

То он чувствовал, что умер и находится за неким невидимым непроницаемым холодновато-серебристым стеклом: все предметы, стены, пол недоступны более для соприкосновения и пользования, – от него самого оставалось одно сознание, а тела уже не существовало. Потом тело возвращалось, делалось кошмаром, становилось чужим, безголовым, распухало, обещало, что будет жить теперь само по себе, не повинуясь разуму, но служа одному злу, ему хотелось избить, разорвать, задушить себя самого. То его будто обволакивала пахнущая гниющей рыбой слизь, и ползла сквозь него, сжимаясь и растягиваясь, мёртвая, безразличная, как механизм, которому поставили задачу тошнотворно мучить.

В следующий раз он «вынырнул», когда почувствовал в руке что-то реально существующее, шуршащее, мелкое, и сначала до остановки сердца испугался его, как чешуйчатого проворного насекомого, но после понял, что это какое-то послание, непосредственно к нему относящееся. И вскоре, ненадолго придя в себя, обнаружил, что вытащил маленькую свёрнутую бумажку из трещины в обшарпанном плинтусе.

Свет проникал через зарешеченное окошко над дверью от тусклой, мерцающей лампы, горящей в коридоре под потолком, и оттого казалось, что здесь всегда ночь. Камера скудно освещалась, и, приблизив клочок к глазам, он решил, что это, видимо, газетный обрывок, из которого кто-то сделал и выкурил подобие сигареты, потому что он оказался свёрнут расплющенной трубочкой, и край был обуглен.

Он уцепился за новый шанс ненадолго удержать рассудок, жадно стал читать, что было напечатано. «ЗАХАРИИ» – наверху большими буквами. «…как славного коня Своего на брани» – шёл дальше текст узеньким столбиком, как раз в ширину бумажки бычка. «Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут…» – тут-то всё и заканчивалось обожжённым краем. На другой же стороне удалось прочесть: «…на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился. И устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи. Вот Господь сделает его…» Тогда он понял, что кому-то удалось использовать под папиросу страницу из Библии, неизвестно где раздобытую. Сам он Священное Писание перелистывал только однажды, в памяти остались невнятные отрывки цитат из Нового Завета. О Захарии он имел так же мало представления, как о Савве Сторожевском, успел лишь подумать, что это, конечно, какой-нибудь великий святой, который хоть на мгновение вернул его к жизни, потому что у него хватило сил увидеть лавку, сделать шаг и упасть на неё – ноги подкосились.

Снова взялся он за обрывок, долго вникал в смысл фразы, вспоминая значение слов. Когда же вспомнил, то фраза получилась безумной, нелогичной, несопоставимой с земными предметами. Как же из камня появится гвоздь, а из гвоздя лук?.. Он попытался сосредоточиться, и неожиданно

получилось – мысли постепенно возвращались, становились своими, родными, тогда он понял, что тут какой-то символ, пророчество…

– «Из краеугольного камня», – бормотал он, глядя на унылые стены, словно пропитанные ржавчиной… «из него гвоздь», это про будущую жесткость, которая родится из холодной каменной крайности, а после – лук, то есть, оружие, значит, война», – он чувствовал, что думает грубо, неправильно, но его это понемногу успокаивало.

Потом мысль потерялась, но зато он живо почувствовал, не представил, а именно почувствовал – ведь времени и пространства не существовало – всю пламенно задумчивую древнюю Иудею, хотя он ничего не знал о ней: жаркий летний полдень, пыльные камни и ароматные сухие травы, суровые горы, Мёртвое море и пустыню, украшенный тростниками и папирусами узкий извилистый Иордан, впадающий в сияющее Генисаретское озеро, богатое плоскогорье Галаад с многочисленными пастбищами для овец, ослов, коз, холмы и долины виноградников, вековых олив, пальм, гранатовых деревьев, лёгкий ветер, и Захарию – развевающуюся льняную тунику, прикрытую на груди густой жёсткой бородой, и просторный хитон, касающийся при сидении на камне кожаных сандалий, перетянутых ремешками, – то, о чём он прежде никогда не слышал, не видел, не читал.

Когда он переворачивал обрывок, блистательный, роскошный Тир оживал буйством и могуществом: шумела громадная торговля, высились башни, славился на весь мир силой город-крепость, отвагой и непобедимостью – войска; неподалеку от него темпераментный, пышный, богатейший рабовладелец Сидон, превзойдённый, но непокорённый, изливался великолепием, тучным изобилием, расточая и заново приумножая накопленное веками золото. Иудея наводнила его, бурлила, буквы казались уже не напечатанными в книге, но неровно нацарапанные палеоеврейским письмом на свитке папируса, огненно крючковатыми, словно стая птиц протанцевала мимолетный танец и скрылась. Вокруг него всё жило, полнилось внутренними красками, будто сам воздух той поры и мест перенёсся в крохотную душную камеру, где сидел он, ухватившись за обугленный клочок.

Проникаясь духом древней Иудеи, он попытался представить странную силу, которая переходила по наследству из поколений в поколения священников, и была теперь достоянием юного Захарии, силу, которая сама говорила в нём: «как славного коня Своего на брани…»

«Почему пророки говорили тайнами? И почему эти тайны раскрывались только после того, как всё произойдет? Откуда они узнавали, что пророки, как начинали пророчествовать, может, ценой страдания?» – вопросительно смотрел он на раскрученный «чинарик», чувствуя, что Захария рядом, отвечает ему, рассказывает…

Рассказывает, как он страдал, рождённый в вавилонском плену. Как плакал, видя разрушенный вавилонским царём Вторым Новуходоносором Иерусалим, поругание вековых святынь: уничтоженный Храм и навсегда утраченный Ковчег Завета. Но уже во второй год царствования персидского царя Дария Гистаспа знал, что послан предсказать восстановление и дивный расцвет Иудейского царства. Да, страдал, как никто, увидевший за пятьсот лет до Рождества Христова тридцать серебряников и Бога, оценённого платой за раба, и мучился, зная, что не может предотвратить зло. Но утешался тем, что однажды, незаметно, за тридцать серебряников было куплено Спасение всего человечества.

Конечно, всё это он читал много позже, но тогда, в камере, непонятным образом ощущал происходящее много веков назад, чувствовал, что пророк Захария, сын Варахиин, сын Адов, тут, близко, избавленный не только от уз времени и пространства, но полный какой-то идеальной, трепетно живой, непрестанно расцветающей свободы, которой проникнуто всё его существо, и ничего другого уже не нужно...

«Что же тогда свобода, откуда она берётся, такая, истинная? От такой свободы должно всё рождаться и жить, совершенствуясь. Где же взять её, что ей мешает всегда внутри быть? – удивлённо рассуждал он, чувствуя невероятное, странное, неизвестно откуда появившееся облегчение. – Может, дело в работе сознания? Да разве мы владеем своим сознанием? Только немного, и то если речь идёт о человеке психически здоровом, больной лишён свободы в б*о*льшей мере. Или нет?.. Нет, сознание – только чья-то игрушка, когда свободу вдруг ни с того ни с сего приносит вырванный невесть откуда внешний клочок текста – «…как славного коня Своего на брани…»! И нужно, что ли, обязательно в тюрьму попасть, чтобы эту свободу почувствовать? Тоже нет, тогда бы все зэки… – тут он даже улыбнулся.

«А сам пророк свободен или нет? – задался он новым вопросом, понимая, что только перетирая хоть какие-нибудь мысли в голове, сможет продержаться. – А может, пророк, как раз «как конь на брани», изначально закабалён в потребность служить добру? А у Захарии был собственный выбор? «Из него будет краеугольный камень…», – потому что всё уже решено и известно заранее? Или он, Захария, обладал сверхъестественной мудростью и вычислил логическое развитие человечества… А потом выдал точный результат через готовую формулу?»

Губы его чуть шевелились, чтобы не терять связь с действительностью, он во все глаза смотрел на тусклую коридорную лампочку, казавшуюся теперь блестящей при луне росинкой в ночной болотистой траве. Её мерцание больше не раздражало, мысли постепенно вернулись к монастырю, к ножу, белому вихрю, лесу и ласковому Савве, и очнулся он, когда ему просунули кружку с горячей водой.

***

Он отхлебнул, понял, что немного подремал, подумал, что предыдущее могло быть сном, с испугом стал искать обугленный клочок бумаги и нашёл в кармане. Сжал его, понимая, что ничто больше не поможет дотянуть до первой весточки из того мира, хотя совсем не был уверен, что эта весточка придёт. Задержали его так безобразно, неожиданно, что теперь казалось, могут без объяснений отправить в подобную камеру, где томятся ещё несколько несчастных, и оставить там до самой смерти.

Смерти… В детдоме он думал о ней часто, потому что хотел покончить с собой, но не знал как. Прыгать из окна было низко, топиться негде. Говорили, что один мальчик повесился, но он не понимал, где брать веревку и как делать петлю. Поэтому мечтал однажды уснуть и не проснуться. Чтобы кошмар вокруг сам собой закончился. Он был уверен, что будет так, – просто всё исчезнет навеки. А тут вдруг пророк Захария словно возразил: «Ну, я-то никуда не делся». «Ну, ты-то пророк, – попытался поспорить он, – а мы...» И снова им овладело беспокойство. «А если это и есть смерть?.. Если послесмертие такое? Бесконечное пребывание в плену болезни, мучительного страха?»

И он поверил в возможность такого чудовищного продолжения. После пережитых выпадений из действительности это казалось похожим на правду. Вот так остановится однажды сердце от ужаса, а ужас останется, останется отвращение, сознание отдельно от тела, в*и*дение предметов, только уже не глазами, а как-то само по себе – вот и получится ад. Наверно это упрощённо, но кто сказал, что должно быть сложно?.. Только разве же чем-нибудь тут может человек сам себе помочь? Кто знает, окажется ли тогда рядом святой Савва или омерзительная слизь и чёрный страх?..

«Господи…», – осмелился пролепетать он неслышно, боясь сам себя услышать, и не поверил тому, что говорит. Он обратился в пустоту, а вспомнившийся монастырь казался теперь не небесным, а человеческим учреждением, где научились добывать благодать, как научились люди добывать руду и известняк. Захария был сам по себе, случайно попавшим в камеру лучом,

который двигается по своей заданной траектории, и к нему отношения не имеет, тем более что он перестал чувствовать его присутствие. Словом, ему уже думалось, что всё происходит по воле рока, случая, и никаких перспектив исправить ситуацию не то, что сейчас, но хотя бы потом, при переходе к той, другой жизни, ему не представится.

«Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь…» – перечитывал он, пытаясь как-нибудь вернуть тот прекрасный сон (а он уже почти уверен был, что просто видел сон), и смущался, отчаивался, чувствуя, как невозможно далёк от истинного понимания написанного и вообще всего, что с ним происходит. Он может только по-детски фантазировать об этом таинственном Захарии, не приближаясь к сути, которая, наверное, должна оказаться очень простой, смело широкой, охватывающей одним махом громадные исторические события, потрясения, о которых он не знал, не читал, но ощущал, что именно так, по нескольким словам пророка они свершились в полную силу...

***

Закончилось всё тоже внезапно. Видя, в каком он состоянии, они позвонили ей сами, впрочем, сильно не торопились, лениво пробивая его по базам данных. Зная о его болезни, она примчалась моментально, но время ушло на дополнительные компьютерные проверки. Прощались они нарочито позитивно, даже предупредительно пытаясь поддержать под локоть, отчего он отшатнулся. В конце вежливо посоветовали обратиться к врачу. Он, оказавшись среди людей, пришёл в себя и, посмотрев на телефон, который ему вернули, быстро высчитал, что находился в заключении всего-то три с половиной часа. Никогда бы не поверил он этому, если бы они сами не упомянули про три часа в разговоре.

Они вышли вдвоём на летнюю улицу, где только прошёл короткий дождь, а ему-то уже свежий воздух казался утраченным навеки. Он приготовился услышать её развесёлый хохот с саркастическими высказываниями по поводу того, каково от неё «в леса-то сваливать», но она замерла, глядя на него выпученными глазами, словно увидела акулу.

– Ты, – сказала она наконец хрипло, и чуть отступила. – У тебя же лицо в крови. Вот тут, – она дала ему зеркальце. И правда, на щеках были кровавые разводы, видимо, она не заметила их в тёмном помещении. – Они тебя били?!

– Нет, это я сам, – ответил он.

– Сам себя бил? – не поняла она.

– Наверное так, не знаю, – глухо пробормотал он. – Просто нужно умыться…

3

Она, казалось, испугалась не за него, а за себя, будто он вынес из камеры что-то, что грозило нарушить привычное течение её жизни, но вскоре расслабилась и начала острить на тему тюрьмы, а он терпеливо молчал.

Сколько лет они были вместе, он не помнил. Такие отношения, впрочем, неверно называть «вместе»: она посторонняя женщина, он чужой ей мужчина, и догадывается, что не единственный у неё. Она врывается к нему домой, когда хочет, живёт, пока ей не надоест, потом неожиданно уходит, часто устраивая при этом скандал для разнообразия и перетряски одинаковых эмоций.

Его болезни она поначалу не верила, считая его симулянтом, и хохоча над его слезами. Потом убедилась, когда он, перерыв все ящики, нашёл справки от врача и даже свой письменный отказ от лечения в специальном учреждении. Благодаря психическому расстройству, он в своё время избежал армии, иногда, впрочем, жалел об этом, думая, что ему полезно было бы спрятаться в строю от своих навязчивых страшных мыслей, а еще приятнее было бы, если бы его как-нибудь нечаянно там убили.

Иногда недоумевал, почему она нисколько не сочувствует ему, почему не понимает его страхи? Почему хотя бы просто не поговорит с ним о болезни без шуточек и сарказма, с сочувствием, чтобы он мог рассказать про панические ужасы, как советовал ему психолог, который когда-то выслушивал его нервную испуганную болтовню, – это действительно его успокаивало, и он с радостью платил за сеансы, когда было чем.

Но чуда не случалось – он продолжал терпеливо подчиняться её капризам, не имея воли сопротивляться. Выполнял даже нелепые требования, так как видел, что по-своему она несчастна, потому что превратила жизнь в потный забег за скучными удовольствиями, от которых давно не получает радости, зная, что её используют и забывают за ненадобностью.

Возможно, если бы она смогла однажды его успокоить и пожалеть, их отношения больше походили бы на «вместе». Но нет, она хоть и верит теперь в его страхи, но сострадать не собирается, для чего вот она сейчас упорно допрашивает его про «мебель в камере», хотя прекрасно видит, что он подавлен её прорвавшимися смешками, и ему тяжело описывать это?

С явной неохотой она по его просьбе наконец сменила тему. Тогда снова понеслась тягостная болтовня про строительство и отделку «быстрых» дач. Она старательно описывала его перенесённые на завтра трудовые обязанности, манеру поведения при знакомстве с начальством и ребятами, чтоб «рубашку в штаны заправил и её не позорил», а он молчал, поняв, что арест его не спас, и дач не избежать.

Потом вдруг сообразил, что он и сегодня уже целый день строил дома вместе с ней и бригадой, обивал стены вагонкой, красил плинтусы, убирал мусор и устал, да ещё растянул мышцы. Выпив квас, он тогда сел в машину, и они поехали дальше, а про изолятор, монастырь он, конечно, придумал! Разве бывает так, чтобы церковь рассекалась, улетала, или человека без вины бросали в тюрьму? Всё вокруг грустно и прозаично: вбивают гвозди, кладут крыши, потом в этих домах ставят диваны, пьют чай и рассказывают анекдоты. Наверное, он сочинил свои приключения, пока работал, чтобы не замечать течения времени. Позже он просмотрел карманы в поисках клочка пророчества Захарии и не нашёл его, значит, получается, правда, что всё показалось?

***

С трудом упросив её позволить ему остаться в одиночестве, он, как ни старался, не мог отделаться от странной внутренней сосредоточенности. Упорно возвращался к тревожной мысли, что независимо от реальности пережитого в камере или в церкви, он поставил себе какую-то важную цель, что он должен сделать что-то срочно, и боялся понять, что же именно. На всякий случай взял с полки в шкафу маленькую книжечку Нового Завета в синей клеёнчатой обложке, которую дали ему когда-то бесплатно в электричке, и стал искать главу о пророке Захарии. Нашёл быстро, да только обнаруженный Захария ничего про коней или лук не говорил, а совсем даже наоборот, онемел и только на дощечке написал, что его сына должны назвать Иоанном. Тут он окончательно поверил, что всего, что было, не было, затомился, почувствовал, что от какой-то внутренней тесноты не может усидеть дома и отправился бродить долго и беспричинно по тёмной уже, вечерней улице.

Происходить ничего не хотело. Никто не заговаривал, не останавливал, собаки не набрасывались и даже не лаяли, тени зловеще не шевелились, не предвиделось «налетевшего порывистого ветра» и «внезапно потемневшего грозового неба»; в магазине сделалось тоскливо, он вышел с пачкой невкусных сладковато-солёных кальмаров и уже с горя решил купить в киоске сигарет, но вовремя остановился, вспомнив, что его предыдущие попытки начать курить успехом не увенчались. Из всех событий только и случилось необычное дерево на дороге – полностью

сухое, с единственной торчащей зелёной веткой, которая пышно кудрявилась, будто ей дела не было до того, что вокруг творится.

Он потоптался, подождав, видимо, не посоветует ли ему чего-нибудь дерево. Сухая коряга сверху зацепила воротник, он пробормотал «извините» и побрёл дальше. В квартиру возвращаться не тянуло, потому что там вылезет что-то нервное, начнет тяготить, напоминать о каком-то данном себе невыполнимом пугающем обещании, – но бестолковое шатание по переулкам тоже умиротворения не приносило, и он растерянно присел на лавочку в тёмном дворе, освещённом единственным хмурым фонарём.

***

В детской песочнице неподалеку лежало чьё-то тело. Увидел он его сразу, но тут же отвернулся, уверяя себя, что оно ему только кажется. Когда, наконец, смелости хватило, чтобы мрачно и трезво констатировать «да нет, не кажется», он собрался пуститься наутёк, – ведь тело могло захотеть вступить с ним в переговоры, а то и вовсе утащить за собой, в сырые могилы, тёмные склепы, мрачные гробницы…

Но побег не удался – тело стало приподниматься из песочницы, ломаясь и изгибаясь, будто худая тряпичная кукла на ветру, ему казалось, что на глазах у него прямо из земли лезет и вырастает невиданный высоты страшный цветок, обвитый змеями. Змеями мерещились ему волосы мёртвой царевны или спящей красавицы, которая мурлыкала еле слышно, как заклинание, пропитанные трупным ядом слова, наверное, относящиеся сразу ко всему вокруг, а стало быть, к нему тоже, и распространяла пары парфюма, приправленного водкой.

Ему стало жаль, что она так рано умерла, конечно, женский возраст всегда оставался для него ужаснейшей тайной, но про таких он думал, что они ещё учатся в школе. В общем, каким-то образом он оказался рядом и дал ей руку, никак не решаясь заговорить. Рука пригодилась. Хотя она продолжала еле слышно ругаться, он понял, что ей что-то уж очень плохо, и она сейчас зверски, чрезвычайно слаба.

– А где твоя мама? – промямлил он и моментально сообразил, что совсем не то промямлил. Вторая попытка оказалась не намного удачнее. – Кто тебя обидел?

Вопросов её он не понял, только сбивчиво объяснил, что метро рядом вовсе нет, нужно ехать на электричке, далеко. Лишь следующая попытка потянула хотя бы на «троечку»:

– Куда вас довести? – но и тут был явный промах, потому что он сейчас же догадался, что как раз идти-то она толком не может. Оставалось самое страшное – пригласить труп к себе домой, но труп отказался.

Тогда он попытался в ярких красках описать, как возвышенных скитальцев, несчастных изгнанников, трагических беглецов находят лежащими и обессиленными вооружённые люди в сером и увозят в такое жуткое мистическое место, где из стен лезут пророки и…

Вместо ярких красок получилось заикание, перемешанное с неловким дрожанием голоса, но она спохватилась, опомнилась, кивнула… И неуютно, беспокойно было ему, когда он вёл сизую покойницу к подъезду, ёжась от навеваемого могильного холода и сжимающего сердце стыда, соображая, что теперь-то он уж, конечно, навеки «преступил», шагнул в разверзшуюся пропасть, в общем, совершил непоправимое. Дома потупленные очи он всё-таки поднял и тотчас влюбился: она, прекрасная, явилась в синяках, одежда покрылась кровавыми брызгами.

Тут случился душераздирающий диалог, выяснилось примерно следующее. Что никаких скорых помощей, что ей бы только часа два оклематься и бежать, потому что иначе побьют серьёзней и больней, нарочно отдав тем, кто издевается. Что зовут ее Нателла или Марианна, а просто Даша – нельзя, что, конечно, это не бизнес, а просто она в плену у жестокой правды, что застолье неотъемлемая часть работы, а садисты попадаются нечасто, что было их трое, но бил

один. Потом полились такие неэлегантные подробности, обрисовывающие сложность профессиональной деятельности, которая почему-то называлась «все виды массажа», что он постарел на двадцать пять лет, решил тут же на ней жениться, но выяснилось, что за это нужно платить «мамкам» столько, сколько вообще не бывает, а иначе убьют, догонят, снова убьют.

Когда же он осмелился, делая наивные ласковые блестящие глаза и беспомощно глотая воздух, спросить недоумённым прерывистым шепотом: «Но зачем…», полилась выученная назубок жалостливая история про голодное сиротство в Сибирях, умирающего папу-туберкулёзника, брошенную беременную сестру, про предательство любимого и адский первый раз, и, конечно, ни капли её вины во всем этом не было, но теперь уже она никак не развяжется. Из-за привычной скуки, с которой она тараторила, он подумал, что, наверное, обычно она эту околесицу порет, чтобы выбить чаевые, когда *они* уже изрядно наберутся, и их потянет на душеспасительные беседы. «А кстати» – она рассказала, что в «аквариуме», где довелось погостить ему сегодня, она тоже оказывалась несколько раз и замечательно высыпалась. Его передёрнуло.

И всё же было это поразительно и красиво, что к нему, в его одиночество, влетел такой живой бьющийся мотылёк с мятыми порванными крыльями, совсем сумасшедший, который и вокруг свечки вился, и в стекло бестолково тарабанил, утверждая, что холодная ночь его зовёт, в общем, какие-то животрепещущие волны наполнили комнату, отчего он диву давался. За коньяком по её просьбе он мужественно не пошёл, напоил её мятным чаем, отдал всё, что нашлось в скудной аптечке, уложил спать, а сам рыцарски всю ночь проворочался на кухне на раскладушке и позволил утром «незаметно» сбежать, потому что, действительно, не знал, чем помочь. Странные происходили события, и вывод напрашивался, что вообще у него как-то не всё в порядке.

***

Решил он было вообразить, что и этого тоже ничего не случилось, но на столе ночная фея безапелляционно оставила конверт с деньгами и записку с просьбой отнести эти самые деньги её деду по такому-то адресу… Плюс объяснение, что сама она не успевает, «а если он брать не будет, сказать, что они в копилку для Богослова, потому что в банк нам нельзя», – словом, какая-то неразбериха. Ко всему прочему, под столом он вдруг мистическим образом обнаружил обугленного Захарию со славным конём, гвоздём, камнем и созерцал с недоумением два этих послания из двух противоположных, но одинаково чуждых ему миров.

Вспомнил, как она вчера увидела на стене картину. То есть, это не картина у него висела, а вырезанная из журнала фотография картины, которая понравилась ему, и он вставил её в рамку. Ярко-синяя абстракция, похожая на море, со множеством мелких деталей, что-то в ней притягивало неуловимо умное, воздушное и успокаивающее… Она долго, не отрываясь, на неё смотрела, а потом сказала:

– А если война?

– Какая война? – не понял он.

– Вот он писал картину, месяц, полгода, год… А потом война началась, голод, всё горит, дым, трупы на улицах. Какой тогда смысл картины писать? Он только будет думать, доживёт ли до завтра. Учился, мечтал, – а его заставят стрелять, взрывать, и потом всю жизнь разрушенные дома перестраивать. Когда убьёт кого-нибудь, ему больше рисовать не захочется...

– Так нет же войны, – растерялся он.

– Да разве нет? Так будет. – И она замолчала.

Кольнуло. Это была и его мысль. День существовал для того, чтобы днём его жить, а вечером доживать. И картины, действительно, писать было незачем. Ему бы, впрочем, и в голову никогда не пришло пойти на такой подвиг.

«Она совсем не оттого несчастна, отчего ей кажется», – зачем-то осторожно погладил листок с адресом он и дальше не знал, что ещё о ней красивого подумать. Святой Захария шепнул что-то о том, что и ему пришлось видеть, как восстанавливали разбитое и уничтоженное. И что, конечно, не всех вдохновляло его пророчество про грядущий расцвет. Что многим невыносимо было видеть развалины, возводить то, что они не разрушали, потому что не всегда идея о чужом прекрасном будущем успокаивает в настоящем. И не все верили, что больше ничего не сломают и не отнимут. «Но расцвет-то случился, понимаешь?» – говорил Захария, а он не понимал, не верил и только чувствовал что-то странное, новое, чего раньше не было. Так сидели они втроём на кухне: великий пророк, проститутка и самый никчёмный из всех людей на свете.

***

Было душно, сентиментально, бессильно. Потому что не бывает так, чтобы мучили беззащитную девочку. Потому что не бывает так, чтобы юное хрупкое создание пошло и раздавило, уничтожило себя однажды из-за… нет, нет, нет, да. Из-за денег. Чтобы снова и снова соглашалось на это. Чтобы да, не просто ошиблась, а именно выбрала, сама, осознанно, эту грязь, потому что хотела быстро и без особых усилий себя обеспечить. И даже, насколько понял он вчера, какое-то странное спокойствие нашла в этом, как человек, который уверенно занял перспективную доходную должность. «Нет, пожалуйста, пусть так не бывает...» Не может существовать такого подонка, который не только, переступив все человеческие законы, не постеснялся воспользоваться услугами этой девочки, но ещё и бил её для развлечения и удовольствия, зная, что за неё не только не заступятся, но, наоборот, с неё же спросят. И избивая её, он знал, до какой степени можно бить, чтобы не забить, не убить, вот это «знал» было самое мерзкое, звериное и непоправимое.

Унылые догадки теснили его, колючие продиравшиеся кое-как слезы, истощившиеся на время после камеры, не приносили облегчения, мысли грызли, но при этом непривычно тихо и пусто было на сердце. Он вспомнил, что давно, ещё тогда, когда его самого избивали в детстве, а потом вела, исцеляя, прекрасная рука, вот тогда он навсегда решил, что никакой человек не должен заставлять страдать другого, даже самого злого, что никакой человек не имеет права другого мучить, даже за самое жестокое и садистское преступление, просто потому что это противоестественно…

Он тогда в это твёрдо поверил. И думал, что каждый, кто хоть недолго, но по-настоящему страдал, должен верить так же, как он, нет, не верить, а уже знать, не сомневаясь. А ещё упрямая какая-то частица его существа вне всех очевидностей абсурдно продолжала стоять на своём, убеждая, что нет, всё-таки *так* мерзко не бывает, в реальной жизни – не бывает, всё – сон, всё – его больные фантазии.

И на момент ему стало стыдно от мысли, что он не пошёл бы заступаться, бить в ответ, не только потому что нельзя мстить и мучить, а потому что, конечно, струсил бы. А ещё и потому, что на ту грязь, кошмар было её согласие, выбор, её, как кощунственно это ни звучало бы, добрая воля, и нарушить её никто, как в страшном таинстве, не мог. Поэтому он не решился бы, даже зная, кто эти подонки, и даже если бы был вооруженным до зубов супергероем, а не унылым мямлей с больной психикой.

4

– А если бы она была твоя сестра, мать, дочь, всё равно не пошёл бы? – ехидно спросил старик.

Он снова стал теребить в руке ветхое рыжее одеяло, нервно поглядывая на тонкую сухую руку, мусолившую его рукав, и наконец ответил:

– Тогда ничего соображать не будешь, пойдёшь и убьёшь, а это не считается. Потому что если ты хоть три секунды успел сесть и рассчитать: «вот, я его за это убью» – то уже нельзя, а если в безумии, в аффекте, значит, можно. Поэтому постороннему нельзя – он точно успеет рассчитать.

– А ты посторонний? – поинтересовался старик.

Опять он оказался в тягостном тупике и затих, шаря глазами по стенам с облупившейся краской, лампочке в пластмассовом плафоне, серому оконному стеклу с длинной трещиной, вздувшемуся полу, покрытому мятой лохматой тряпкой, видимо, заменявшей ковёр, трём соседским железным кроватям, на одной из которых, съёжившись и накрывшись с головой, кто-то визгливо храпел, и снова пытливо остановил взгляд на подозрительном продолговатом лице, словно надеялся найти подсказку.

Почему вообще он, как редкому преданному другу, вдруг выложил свои мысли этому угрюмому тщедушному созданию, которого видел впервые в жизни? Наверное, потому, что чем больше он говорил, тем больше создавалось впечатление, что старик и без его рассказов всё про него знает, причём лучше него самого, – от этого он где-то в глубине души трепетал, нервничал, будто ожидая, что дед вдруг возьмёт да и укажет на то, чего видеть не хотелось. Странное это было и вроде бы неоправданное чувство, так как старик почти всё время молчал, и из-за одинаково тоскливого выражения белёсых глаз, из-за застывшего брезгливо поджатого узкого рта временами казалось, будто он не слышит или не вникает в то, что ему говорят.

Адрес, который девушка написала на бумажке, привёл его в дальний подмосковный дом для престарелых, затерянный рядом с полосой отчуждения, где постоянно шумели поезда; тут он нашёл жутковатого дедушку, который, как теперь он почему-то решил, вовсе ей не дедушка, – хотя из-за болезненного воображения он мог нафантазировать что угодно и давно знал, что самому себе доверять нельзя.

Про внучку Дашу старик пока не рассказал ничего, молчал, поёживаясь от холода, чуть кривя то вниз, то вверх правый угол рта, а деньги, действительно, отказался брать, провокационно и с демонстративно подавленной горечью, объясняя:

– Это она мне назло. А в общем, не так она виновата, потому что любит.

– Вас?

Старик беззвучно и прозрачно усмехнулся, показав неожиданно крепкие зубы:

– Ещё чего. Да она меня застрелила бы, дать ей волю. В долгу она у меня. И никуда не денется. Я её поднял, воспитал, если б не я, она бы погибла давно! – плохо скрываемое раздражение проступало сквозь высокомерное равнодушие и усталость. – Деньгами откупиться хочет. А ведь чем больше приносит, тем больше у меня на неё прав. Не понимает, почему отказаться от меня не может, и того, что без меня бы дня не прожила, не я без неё, а она без меня!

Странно, неприятно было слышать это от хилого морщинистого старика, сгорбленного, покачивающегося от слабости, похожего на тощую пучеглазую умирающую рыбу на берегу, лишь изредка вяло бьющую по земле хвостом. Что тут за таинственная история?

Когда он заикнулся о том, что деньги эти для какого-то Богослова, старик презрительно повёл бровью и молвил:

– Бред собачий. Надоело.

Но, помолчав, отвернувшись к окну, добавил:

– Свалился этот Богослов на нас как снег на голову. И она, думает, он спасёт ее! Вытащит. А он её знать не знает. Так ему завралась, заплясала перед ним, а он-то хочет от неё отделаться. Нет, сейчас к нему не подойти, зря она старается. Он чужой нам. Она ведь и правда думает, что любит *его*, что для «побега» копит, а выходит – позор. И я не беру! Посмотрю на них, положу назад ей в сумку и прощай.

– Куда же она их в итоге девает? В банк почему-то нельзя ей… – в нетерпении, забыв о всякой деликатности, спросил он, недоумевая, что дальше делать с этими дурными деньгами.

– То-то и оно, куда, – протянул старик. – Тебе отдаёт! – И кивнул на конверт, который он мял в руках.

– Странные у вас шутки, – растерялся он, да и что он ещё мог ответить на нелепую выходку?

– Не теперь, – сладко пояснил дедушка. – А часто – тебе отдаёт!

Только этого не доставало. В довершение ко всему старик оказался сумасшедшим. А он-то ему доверился. Ну почему он совсем не разбирается в людях? Чем так потряс его этот маразматик? Романтической худобой и бледностью? Тусклыми проницательными глазами без ресниц?

Им овладела дурманящая усталость. Зачем занесло сюда, в это последнее пристанище с жидкими тенями вместо насельников? Кислые запахи, серые тряпки, грязь по углам, холод, катастрофическая потребность в ремонте, глотке свежего воздуха, недовольные скучающие старики, грубый персонал, скука, болезнь, и ведь все возмутятся, если сказать, что люди здесь умирают от безысходности. «Да какое там, – махнут рукой, – бывает хуже…»

А за что он нарвался на оскорбление? На душе стало гадко, будто он в самом деле жил за счёт проститутки. Он представил, как она является под утро, кладёт деньги на стол, – а он соглашается, принимает, тратит. Хитрит, говоря ей, ничего, мол, потерпи маленько, эти денежки меня кормят, значит, позорного или грязного в них нет… Из-за мерзкой фантазии его наполнил колотящий стыд, он сник, боясь пошевелиться.

И с чего, скажите на милость, старику приспичило ляпнуть такое? Он раскис, жалея, что не имеет привычки носить носовой платок, потому что надвигались постыдные сопли. «Ну что тебе от меня надо?» – подумал он, снова исподтишка разглядывая оскорбителя. Однако старик выглядел на удивление бесстрастным, словно не собирался никого колоть или уличать, а только проконстатировал факт. Да нет! Старик сидел паинькой и смотрел так невинно, будто совсем ничего не говорил, – и он уже опять испугался, что всё выдумал, засмущался, неизвестно для чего жалко заулыбался, потом уцепился за какую-то путаную фантастическую мысль, что, наверное, шёл сюда как раз для того, чтобы получить этой фразой плашмя: «Тебе отдаёт!» – а остальное – про внучку и Богослова – вроде бы и не в счёт.

«Вот, оскорбился, а как работают тут люди? – помогла ему отвлечься случайная мысль. – Изо дня в день видят эти лица, дышат этими запахами, мусолят дело, в которое не вкладывают ни капли любви, понимают, как обижаются на них за это отсутствие капли любви. Может быть, даже со временем, перестав стыдиться наросшего за годы равнодушия и цинизма, начинают злорадствовать оттого, что не отдают этой капли, а в действительности – от какого-то своего накопившегося отчаяния. В отместку те, несчастные, не перестают скрипеть, зудеть, грызть их, и каждым вздохом, движением демонстрируют все унылые права старости, слабости и брошенности...» Ему хотелось бежать, глотая губами воздух, он уже готов был признать себя живущим на содержании у проститутки, лишь бы скорее вырваться, но упёртый старик не брал деньги, и нужно было от них как-то избавиться.

В голове уже, конечно, промчались жуткие откровения, что ему, правда, доводилось в жизни беззастенчиво жить за чужой счёт – хоть и крайне редко, но это, безусловно, являлось

равносильным принятию «грязных денег». Ткнула резко догадка, что он, как проститутка, нарушил что-то сокровенное, позволив ей грузно и крикливо войти в свою жизнь, в свою постель, что пусть и не ел за её деньги, но кормился какой-то работой, которую она находила… Будто внезапно, мощным прожектором осветилось то, что он часто шёл в каких-то подозрительных мелочах против своей совести. А этот дедушка заставил его внутренне сжаться, почти согласиться, поверить, что он подлец и гнусный иждивенец.

Внутреннее содрогание однако на внешний ход событий не повлияло: конверт оставался в руках, и ему пришлось клянчить адрес, телефон девочки или хотя бы таинственного Богослова, на что старик, удивившись, ответил следующее:

– Не надо тебе сейчас его видеть. Адрес-то я тебе скажу, его, Богослова, да только ты его никак там не найдёшь, потому что рано! Попозже-то будет спод-руч-не-е, – почему-то иронично и даже ехидно по слогам произнёс последнее слово старик. – А на неё… ещё насмотришься, – заключил он, почти угрожающе.

***

Он всё-таки вырвался, держа новый исписанный клочок бумажки. На него косо поглядывали в коридоре, словно подозревали в диверсии или, на худой конец, в журналистских происках. Когда же он осмелился осторожно начать расспрашивать о саркастичном подопечном, то хоть не сразу, но зато против его ожиданий охотно, даже, пожалуй, с удовольствием, рассказали ему разные люди, от беззубых бабушек до прокуренных похохатывающих санитарок, что старик этот – бич для всех. Никто не мог понять, что у него на уме, но все знали, что он не «психический сумасшедший», как выразилась одна болтливая старушенция, хотя иногда хотел для чего-то притвориться таковым.

Он мог не разговаривать и не есть целыми днями, а потом вдруг, когда всем покажется, что он находится в состоянии предсмертного истощения, встрепенувшись, язвительно высказать какую-нибудь гадость, удивительно точную, острую, одним махом разъясняющую ситуацию, всю его приключившуюся обиду, «вынудившую» его голодать, и претензию, которую меньше всего хочется слышать, потому что непременно окажется, что все глубоко непоправимо виноваты. То он отказывался мыться и «заживо гнил», то пускал одинокую крупную слезу, и тоже как-то коварно, обязательно в неподходящую минуту, например, при госпроверке или благотворительной персоне – так, что всем становилось неловко, – словом, складывалось впечатление, что целью он ставил насолить каждому, подло, расчётливо подбирая для этого самый предательский момент.

Старик умел выставить любого человека перед всеми а, главное, перед собственной совестью в дурном свете, хотя ситуацию провоцировал сам же. Про девушку, навещавшую его, сплетники ничего не знали, но логично заключали, что она его внучка; ещё к нему наведывалась изредка красивая усталая довольно молодая женщина, про которую сказали только, что она не дочь. Также сообщили, что изредка приходит высокий бородатый «очень приличный» мужчина. Уже на крыльце он подумал, что, возможно, это-то и был Богослов…

***

Он заигрался с предположениями и, идя непосредственно вдоль ограды, пропустил калитку, запертую на защёлку. Пришлось обходить дом заново, недоумевая, где же затерялся выход. Раздосадованный, широко шагал он, оглядывая забор, и вдруг чуть не наткнулся на «свою» Дашу. Она стояла в нескольких шагах, но не посмотрела на него. Может быть, ему следовало к ней подойти, во всяком случае, потом он ужасно жалел, что не сделал этого – но засмущался до оцепенения и не смог. Она пряталась за кустами акации, у самой стены, на которой значились написанные мелом номера палат, устроившись под окном деда так, что ей видна была через сизое

стекло его согнутая фигура и длинный профиль с приоткрытым рыбьим ртом, сам же старик сумел бы её увидеть, лишь если бы приблизился и взглянул влево вниз.

Он застыл, пожираемый любопытством, и беззастенчиво глядел на девушку, понимая, что кощунственно напролом лезет в чужую тайну, в свою очередь боясь, что она заметит его. Вряд ли она наблюдала, как он разговаривал со стариком и пытался отдать ему деньги, скорее всего, подкралась позже, ведь пролетело изрядно времени, пока он слушал о чудаковатом старике местных поселенцев и работников. Стояла тревожно, потеряно, то робко поглядывая вверх, то опуская глаза на каменистую дорожку. Потом он заметил, что она плачет. Подумал, что она ненавидит себя, что у неё вот-вот сдадут нервы, и она бросится к деду, но вместо того, чтобы рассказать, что чувствует, станет кричать и совать снова деньги, – а, в общем, всё было не то, не так, и бесполезно было гадать, что происходило. Но, кажется, любила она сильно, отчаянно, а самого ли едкого старика, таинственного Богослова или кого-то, связанного с ними, кто знает?

Ещё он вспомнил, что когда уже выходил к лестнице, скучающая словоохотливая бабушка из соседней палаты, поймав его в коридоре, дыша в лицо смесью вчерашнего лука и накопившихся за век хронических недугов, поведала, что старик оказался бездомным после пожара. В заведение же попал благодаря каким-то влиятельным знакомым, ведь даже в этот захолустный сарай выстраивались очереди больных беспомощных людей. Ему представилось, как дедушка и внучка стоят, молча глядя на догорающий дом… Он скорее развернулся и быстро зашагал из скорбного места.

***

В действительности же, как узнал он много позже, история пожара и самой семьи, с которой столкнул его то ли нелепый случай, то ли неуместная доброта, была не только неприятной, как сам старик, а еще и «остросюжетной». Он не раз обдумывал её, когда услышал, то есть в далёком будущем.

Старик с женой жили в деревне калужской области; в молодости не смогли родить детей, и потому в среднем возрасте удочерили девятилетнюю девочку, которая скоро начала проявлять характер. Не то чтобы она росла вредная или капризная, но какая-то дурковатая и до полной крайности своевольная. Старику, воспитанному в беспрекословном жёстком послушании, где «я хочу» вообще не существовало, а было только «надо», – такое поведение стало обескураживающей новостью. Конфликтов случалось мало, так как приёмная дочка попросту убегала, чувствуя надвигающееся вразумление, и жила, беззастенчиво промышляя на чужих огородах. С очаровательной непосредственностью приходила ночевать к близким и дальним соседям, в том числе из других деревень, их же по мелочам обворовывала, изумляясь, что приёмные мать с отцом ругаются из-за принесённых вещей и отсылают с ними обратно.

– Мне от вас ничего не нужно, – честно признавалась она названым родителям, час от часу становившимся более понурыми, и вместо того, чтобы ходить в школу, пропадала неизвестно где целыми днями, а то и ночами. Когда она появлялась, то ни в чём не признавалась, но бывала мила, пела звонкие радостные песни, курила сигареты, перешивала единственное праздничное платье, мазала пса помадой, целовала прирученного ужа и все увещевания попускала мимо ушей.

Приёмный отец брался за ремень, мать бралась за голову и причитала, в результате оба, бесплодно промучившись лет пять, махнули на всё рукой. В пятнадцать лет дочка «принесла», положила на стол и бесследно скрылась. Искать её старики даже не пытались, танцуя целыми днями вокруг младенца, охая, и с закономерным испугом раздумывая, что из орущей крошки Дашеньки вырастет.

Против ожиданий, малышка поначалу кроме хлопотливой радости ничего не доставляла, и сделалась к восьми годам трогательно деловитой помощницей по дому и прилежной ученицей в

классе – сплошное загляденье, казалось бы, любуйся да радуйся. Однако то ли вследствие неудачного предыдущего опыта, то ли из-за навалившейся болезни, приёмная бабушка относилась к ней холодно, насмешливо и резко, словно ожидая, что в какой-нибудь прекрасный день внучка возьмёт да и выкинет что-нибудь этакое, «достойное своей мамаши».

Даша выкидывать ничего не стала, но однажды, уже будучи подростком, сломалась раз и навсегда, узнав от «добрых людей», что она в семье неродная. Её это так пронзило, обидело, взбудоражило, что она, действительно, начала вести себя, как чужая: замолчала, сникла, забыла и учиться, и стряпать, и наряжаться. Сама же юная мамаша появлялась два-три раза в год, пьяная, поистрёпанная, побитая жизнью, теребила дитя по волосам, хлопала по спине, что-то шептала на ухо и исчезала, ничуть не чувствуя себя виноватой. Оба старика смотрели на неё, как на врага, приёмный отец угрюмо молчал, а жена ругалась, проклинала, бралась за чайник с кипятком, выпроваживая блудную дочь.

Характер старухи вообще портился не по дням, а по часам вместе со здоровьем, разум мутился, силы иссякали. Она начала обвинять всех подряд в преступлениях и подлостях. Моложавый ещё на тот момент муж подозревался в изменах и краже несуществующего ценного сервиза, тринадцатилетняя внучка попрекалась в абортах, наркомании и проигрыше в карты семейного имущества; человечество в целом состояло из «отморозков, бандитов и шлюх», день и ночь дом дрожал от скандалов, криков, ругани. Остатки нежности изливались на двух новозаведённых кошек, которые моментально прибрали к лапам весь дом, наполнив его своими воплями, запахами, разудалыми привычками.

Дед и внучка молчали, неизвестно, что с ними происходило, но через два года они почти перестали общаться. А старуха к тому времени сделалась настоящей бедой, заболевание достигло апогея. Она подкарауливала домашних со сковородкой или ножом, принимая их за воров, открывала газ и оставляла, выливала горшок с мочой в коридоре, кричала, что все хотят её смерти. Старик, вроде бы оставаясь в здравом уме, сам вёл себя странно: то отдавал её в платный центр реабилитации, то забирал домой, но иногда на несколько суток просто запирал в комнате, оставив еду и горшок, а сам таинственно исчезал. Это несчастье длилось несколько лет.

Даша к тому времени уже зажила у «мамок», «зарабатывая» деньги и цинично принося их старикам. Дед только отворачивался, сжимая губы, старуха же рвала купюры и бросала в кошачий туалет. Однажды девочка после долгого отсутствия заявилась навеселе, в эффектном дорогом костюме, великолепном пальто, с очередным конвертом и застала догорающий дом, застывшего сгорбленного дедушку над обугленными останками старухи. К счастью, одна из соседок видела, как чудом вырвавшаяся на волю бабка волокла во двор полную канистру, а другая в то же время беседовала со стариком в магазине на окраине деревни у леса, поэтому выяснять и доказывать ничего не пришлось: трагическая картина была налицо.

Легкомысленная мамаша узнала о случившемся скоро, поскольку между ней и дочерью существовала редкая необязательная связь, повязала бантик на могиле, примчалась было в дом для престарелых, куда неизвестные влиятельные знакомые поселили приёмного отца, но оказалась изгнанной вон с презрением и шипением. У стариков не принято было упоминать о ней иначе как о «приблудной», а если случалась сентиментальная семейная беседа по душам, то всегда раздавалось: «предала», «бросила», «подкинула кутёнка», «живёт, как королева». О жизни её, впрочем, как и о характере, оставалось известно немного, даже дочери.

Даша ещё в раннем детстве поняла, что мама смотрит на мир странно, преувеличивает и искажает события, видит окружающих людей не такими, как есть, в общем, существует в своём придуманном пространстве. Она пила. Но, напиваясь, трезвела, хоть болтала и шаталась, но именно тут в ней просыпались зачатки теплоты к дочери. Пела шансон, любопытно, протяжно,

почти красиво, потому что попадала в ноты, чего не могла бы сделать на трезвую голову, так что маленькая «Даша – нельзя» даже заслушивалась. Вообще, пьяная мама была добрее трезвой, рассказывала что-то «за жизнь», роняя порой несентиментальную слезу. Но навещала своевольная барышня дочку редко, а больше, как выражались старики, «шлялась со шпаной по притонам» и вела самый неопрятный образ жизни. У неё с детства водилось множество подозрительных «дружков», которые лет с одиннадцати ввязывали в авантюры, считая «своей». Когда развесёлая компашка повзрослела, то предприятия их стали откровенно криминальными, маленькая Даша, чувствовала, что мама в опасности, но подробностей не знала. Позже видела и понимала, что происходит, тогда за мать ей было больнее, чем за себя, потому что она сознавала, что та нездорова головой, что представления о жизни у неё фантастичные и невероятные.

Отчасти это передалось и девочке, однако строгое стариковское воспитание брало своё, поэтому в мамашино безумие она не впадала. Но в найденной «работе», например, не видела ничего дурного, наоборот, считала других школьниц дурёхами, что упускают возможность легко и быстро зарабатывать, даже гордилась тем, что благодаря юности и эффектной внешности попала в доходное «приличное» место. Неприятностей поначалу происходило мало, ей по глупости и невинности «фартило», как говорили подружки, заболеть случилось лишь однажды, и это вовремя выявилось, поскольку «мамки» гоняли по врачам, а к разврату, мату, пьянству и даже битью она по юности привыкла быстро, терпела легко и равнодушно. Мамаше о своей деятельности не рассказывала. Впрочем, понимала, что даже если откроет правду, та примет безразлично, разве что напридумывает вокруг чего-то невероятного.

Она приносила и ей деньги из жалости, а та брала, в отличие от стариков, с охотой, сама предлагая версии, откуда они у дочери появляются. «Что, в казино выиграла?» «Что, в подтанцовке на концерте выступала?» «Что, на корабле снегуркой работала?» Фантазия не иссякала, а присутствовавшие при этом дружки ржали до захлёбываний, подначивая: «А что, на…, ей в казино играть, она, на…, сама скоро казино купит!» Изменить Даша ничего не могла, потому что мать всё устраивало: она жила в подобных компаниях, искренне не желая ничего другого. Доводилось даже видеть, как спьяну её оскорбляли, привязывали, унижали, однако она относилась к этому, как к шутке: смеялась, кусалась, выла, каталась по полу, танцевала стриптиз, соглашалась на самые тошнотворные действа, радуясь мерзостям. Конечно, мамаша не брезговала никакими средствами для добычи денег, больше же всего наловчилась на карманных кражах, попрошайничествах или участии в перепродаже награбленного дружками. Даша знала, что мать рано или поздно попадёт за решётку, но понимала, что той даже нравится роль куклы в подобных шайках.

***

Много позже, когда он уже подробнее узнал историю жизни Даши, про стариков ею было сказано коротко и невнятно. Потому он, как часто бывало, многое сам нафантазировал про отношения бабушки, деда и внучки. А после ему уже казалось это правдой, будто бы она и в самом деле признавалась ему в чём-то сокровенном.

В итоге картина у него в голове нарисовалась следующая. С бабушкой не ладилось с рождения, а у повзрослевшей Даши изначально доверительные отношения со стариком стали напряжённые. В детстве она ужасалась, что дед без капли жалости тычет ей в глаза «материным позором», хоть и видит, что та повреждена головой. Позже – не могла простить, что беззвучно и презрительно, одними белёсыми глазами, смеётся в ответ на «грязные деньги», но от этого ещё настырнее и развязнее продолжала являться, словно поставив себе целью шокировать и его, и соседей.

Когда она изредка оставалась со стариком с глазу на глаз, то потерянно мялась, бледнела, робела, не то чтобы боялась его, но смущалась, смолкала или вдруг выговаривала что-то резкое, неожиданное, вычурное, ругала себя, что «вообще сюда пришла», клялась, что больше не явится никогда, и вскоре снова возникала, будто её против воли, как пылинку, приносило ветром.

Старик неизвестно отчего вызывал в ней священный трепет. Она любила его как самого близкого человека и при этом ненавидела будто врага-предателя, но не за то, что он знал её насквозь, а как раз за то, что так любила. Несмотря на деревенскую грубоватость, в нём был некий аристократизм, самолюбивая утончённость и бьющее через край чувство собственного достоинства; как выяснилось, он ещё и происходил из какого-то европейского именитого древнего рода, не то графского, не то баронского.

Возможно, через воспитание его черты характера отчасти передались и ей, и от столкновения двух зародившихся в итоге сумасшедших гордостей они при встрече готовы были друг друга извести, измучить взаимным молчаливым высокомерием, а когда расставались, напротив, будто находили на расстоянии общий язык и общались мысленно с любовью. И будто она интересовала старика очень, страшно, но он это скрывал действительно умело, поэтому остальные ничего не подозревали. С инфантильной обидой будто бы думал дед о том, что ни разу, не смотря на свои слёзы, всплески, она, повзрослев, не была с ним откровенна, а отгораживалась, пряталась. Но при встрече не подавал виду, не ждал искренности, а продолжал смеяться отстранённо, неслышно, без улыбки, свысока, одними глазами, отчего она недоумевала, терялась и невесть для чего, краснея, совала ему «поганые» деньги, а тот глядел ещё ироничнее, с непонятным показным торжеством.

Вот в такую он поверил странную свою фантазию, которую навеял на него услышанный однажды рассказ, и уже не отличал правду от вымысла.

5

Наконец ему открыли дверь, когда он уже мечтал её выломать, швырнуть деньги в неизвестность и скрыться. Звонок не работал, он принялся торопливо, настойчиво стучать, и было ему неловко, тоскливо стучать в чужую дверь. А потом его не впускали, расспрашивая, что ему нужно от Богослова, да кто он такой, и клацал замок, а у него сдавали нервы. Хотелось скорее отделаться, мирно вернуться к письмам и недоеденному завтраку. Заодно вспоминалась зарешёченная башня монастыря, наверное из-за того, что это был четырнадцатый этаж четырнадцатиэтажного же дома, и он чуть не задохнулся, поднимаясь вверх по лестнице, потому что в лифтах из-за клаустрофобии не ездил, хотя даже если бы и решился, не смог бы, так как в доме отключили электричество.

На него из темноты чёрными проворными глазами смотрел худенький молодой человек лет восемнадцати, ниже его ростом, с тёмными кроткими кудрями и будто в противоположность им бело-серым, как пасмурное апрельское небо, лицом.

– Это вы Богослов?! – накинулся он, даже забыл привычно растеряться, заблудиться глазами в еле различимом рисунке обоев, так хотелось скорее закончить это.

Тот отпрянул:

– Я? – и недоумённо рассмеялся. – Да если бы я был Богослов, всё бы давно кончилось!

– Да? – он уже не удивлялся, поняв, что его сегодня решили свести с ума, и его дело – только не поддаваться.

– А что вам нужно? – молодой человек явно отличался горячим темпераментом.

– Вот эти деньги – для него.

– Какие деньги? – встрепенулся юноша. Он именно как-то при любой новой фразе вспыхивал, возгорался, словно его каждый раз будили, тряся за плечо. – А его тут не будет. И матери не будет. Да вы проходите, у нас свет отключили.

В комнате пахло лекарствами, и было неряшливо. Разные вещи: предметы одежды, компакт-диски и сувениры, инструменты и фотографии, хозяйственные мелочи, из тех, что обычно распихивают по ящикам – авось, пригодятся, – лежали кое-как по полу, мебели, углам. Стопки книг, кипы бумаг валялись на ковре, и приходилось передвигаться с осторожностью, чтобы не споткнуться или нечаянно не наступить, но это, по-видимому, нисколько не беспокоило юношу.

– А как зовут вашего святого? – ни с того ни с сего осведомился молодой человек и, смеясь на его растерянность, пояснил. – Вот это как раз Богослов нас научил: спрашиваем мы, говорит, «как вас зовут», «какое у вас имя», а разве это правильно? Никому даже в голову не приходит корректная постановка вопроса, мы же должны при знакомстве вежливо узнавать: «как зовут вашего святого», чтобы по поводу имён не заблуждаться, – и он безостановочно продолжал тараторить. – Моего – Елисей. Только не называйте меня, пожалуйста, «королевич Елисей», потому что меня, как подростка Достоевского, помните? – того все называли «князь Долгорукий», а меня все допекают – «королевич Елисей»! Хоть бы один умный нашёлся и назвал «пророк Елисей!» Нет, всё королевич! А у нас тут хоромы, точно, царские, – насмешливо указал он рукой на старенькую потёртую и полинявшую мебель. – Миллионером, как тот, я стать не хочу, хочу только не быть уродом, который в тягость. Так вам что? Чаю, может? Вы, наверное, про нас знаете, раз сюда пришли? А мы вас ждём с мамой. Я имею в виду, кто к Богослову, того, значит, мы всегда ждем. Это он никого не ждёт, ему всё равно, наверное, – и молодой человек по-доброму, но как-то нервно рассмеялся.

– Я принёс деньги, – наконец прорвался он сквозь неиссякаемый поток. – Они от девочки… от девушки… наверное, вы её знаете. Кажется, её зовут Даша.

– Какая Даша? – оторопел юноша. – Какая девушка?

Он принялся долго и путано объяснять, стараясь избежать упоминания о роде занятий девушки, как попали к нему деньги, как он посетил немощного подозрительного старика и как хочет, что важнее всего, завершить поскорее это дело, к которому, к счастью или к сожалению, никакого отношения не имеет! Молодой человек изумлялся, и по его виду легко было заключить, что он ничегошеньки не понимает. Потом он стал расспрашивать подробнее. Наконец, ничего не оставалось, как поведать всю страшную правду от начала до конца, упомянув и о «профессии», и о «встрече» в песочнице, и о том, как старик оскорбил его, и даже вспомнив зачем-то пророка Захарию. На просьбу Елисея описать девушку, он замялся, сообразив, что из-за синяков постеснялся рассматривать её, пробормотал только, что у неё «огромные» волосы и «хорошие» ноги.

– А я-то думал, вы какой-нибудь наш родственник, – задумчиво протянул Елисей, словно отнюдь ещё не уверился, что он не родственник, и про себя, наоборот, высчитывал возможную степень родства. Честно говоря, ему и самому уже мерещилось, что он и раньше знал этих троих людей: и пучеглазого деда, и юношу с девушкой, – от этого что-то праздничное в новизне общения казалось сейчас мелькнувшим среди повседневной скуки напоминанием о всегда существовавших между ними далёких «семейных» связях. Но очень уж он устал, настойчиво тянуло домой, в родимую «берложку», или, на худой конец, к ней, в её жаркую прокуренную машину с тонированными стёклами и бугристыми сиденьями. С новыми же знакомыми, непременно он должен оказаться навеки соединённым скрытыми узами, вековыми тайнами, – иронизировал он про себя. – «Обязательно отыщется звездообразная опознавательная родинка на

мизинце, пелёнка с серебряными инициалами… Особенно приветствовалось бы потёртое лохматое завещание». Он вспомнил, как слушал в раннем детстве волшебные сказки, которые изредка монотонно читали воспитатели, и мечтал, что тоже окажется благородным похищенным в младенчестве принцем и в конце концов обретёт родителей-королей или хотя бы именитых придворных. – А, теперь я понял, зачем вы пришли, – отвлёк его от «чудесных» мыслей юноша. – Ведь это я вам должен вдоль и поперёк, так много должен, что, действительно, нужно мне быть миллионером, чтобы рассчитаться, – сказал он и грустно улыбнулся.

– Что вы имеете в виду? – он решил, что Елисей его с кем-то спутал.

– Что? А, да вы, конечно, сейчас не понимаете. Это и хорошо. Вы не думайте, я не шучу, я задолжал многим. Но не виноват же я, что болен. Хотя, может, и виноват. Но мне вам совершенно нечем отдать. И, кажется, этой девочке я очень много должен, если я правильно понимаю, кто она. «Просто Даша – нельзя», – теперь понятно, что нельзя, – она проститутка, оказывается… Получается, что она наивная, ужас, какая. Ой, как же жалко её, – схватился он за голову. – Я знаю, что должен ей много отдать, но все же ей самой нужно первый шаг сделать. Что она ко мне не идёт за помощью – очень ошибается! Но ни ей, ни вам, я не могу отдать, у меня совсем нет.

Елисей говорил так убедительно, что он вдруг почти поверил. Попробовал сказанное отнести к себе, и вместо того, чтобы усмехнуться немыслимому бреду из-за того, что, действительно же, он был посторонним, чужим человеком, почувствовал, что юноша говорит странную правду, только какими-то аллегориями или символами, которых он не понимает.

– Я бы пошел работать, – продолжал тот, – но я и так еле жив. Я и совсем не хочу жить. Только жду, когда уже умру. Мама и другие почему-то Богослова обвиняют в моей болезни, а это просто смешно, ответственность на него перекладывают, какая глупость. Просто так надо и всё. И я даже радуюсь, что болен, – горячим шёпотом продолжал он доверительно, сверля его юркими блестящими глазами. Кому-то нужно быть сильным, а кому-то – слабым. Я только боюсь, что когда умру… в общем за маму. Кто знает, почему одни болеют, а другие нет? А мне, наверное, за то случилась эта болезнь, что я жизнь не любил. Вот Богослова понимаю, службу в храме понимаю, но саму жизнь никогда понять не мог! Будто это скучная однообразная игра для шизофреников. Я такой злой всегда был! Так ничего и не понял! Уже умираю, а до сих пор злой и не понимаю! А значит, самый большой дурак, потому что не помудреть перед смертью может только гибнущий или полный кретин. Это я и есть.

Он молчал, не представляя, что можно ответить на такой сумбур, лишь прошептал что-то вроде того, что «когда успокаиваешься, всё само встает на свои места».

– Это я знаю, – снова затараторил Елисей. – Но ведь успокоение это сам не обретёшь, а только по действию… ну нет, не благодати, куда там… Понимания! А про это самое понимание Богослов как-то так сказал необычно, – мол, его верный признак, что оно коснулась тебя хотя бы чуть-чуть, не когда восторг, умиление или ещё что – это всё обманчиво. А вот такой: человек оглядывается в прошлое, – умный, солидный человек, который всегда казался целеустремлённым, ответственным, жил с пользой для себя, для других, многого достиг, в профессии, в других занятиях, и главное – то, что он делал, было от любви, – и ошибки, и открытия, и нужная работа его, и семья, ну словом, он видит всё то, что он считал своим призванием, видит, сколько он отдавал, как горел, на что силы тратил. И вот, он на это смотрит не то, что равнодушно, или тихо, или умилённо, всё не то, – а так невероятно легко, просто смотрит, словно это совсем другой человек делал, незнакомый ему, то есть оно не хорошо и не плохо, и не то, что зря или не зря, а только будто не здесь, не его, и кто угодно всем этим занимался, но не он. И ему от этого очень спокойно, радостно, светло, что не он делал. Вот это всё добро, трудную работу, сложные задачи и поиски, ну и если даже зло совершил какое-нибудь. То самое, что он считал талантом от Бога,

мечтой достигнутой, выражением любви, своим предназначением, жизнью! И вдруг оно чужое. Непонятное совершенно. Это именно такой должен быть человек, который всегда заботился, чтобы не зря прожить, который привык каждую минуту считать. И вдруг спокойно совсем думает, и не важно, объективно это или нет, что всё, всё могло быть совершенно иначе, потому что ему тогда ясно видится, что суть – одна, а внешнее воплощение этой сути возможно любое, вплоть до противоположного, и это абсолютно всё равно, потому что ничего от этого не изменилось бы! Совсем, совсем, совсем… – и Елисей тихо, словно эхом, увлечённо повторял это «совсем». – На самом-то деле неизвестно, вероятно даже, что он не то что до противоположного, а даже в самых незначительных мелочах ничего не мог бы изменить и по-другому пережить, но ему должно казаться, будто ему вот сейчас дали краем глаза свою настоящую жизнь увидеть, и она такая другая-другая, и главное сам он, человек этот, такой другой-другой… А всё что вокруг – как бы прошлое, и оно уже сразу искажённое, чужое, не то. Ведь вот говорят, что там, ну, потом, нам каждый вздох напомнят, каждую мысль, каждый поступок. А Богослов как-то по-своему это… По его – так получается, что не тем добрым больше всего очистится, исправится, что считал своим, а другим, случайным вроде бы. Он, допустим, врачом работал, хирургом, всю жизнь лечил, спасал людей, делал сложные операции, много-много лет, и вот это – пустяки, будто неважно. А «засчитается» ему, как это ни смешно, то, что он однажды какому-нибудь малознакомому аспиранту при встрече первый улыбнулся, руку подал и поздоровался, просто потому, что был в хорошем настроении! Поздоровался и тут же забыл. И вот в этом он даже больше прав был! А что всю жизнь оперировал и спасал – окажется чем-то само собой разумеющимся, что он не мог не делать, как не мог не дышать! Или он, этот доктор, всегда, например, подавал милостыню. Взял, допустим, себе за правило: первому нищему на пути все монеты, что есть в кошельке – отдаёт. И так каждый день! Честно, от души. И вот это – хорошо, но ерунда! А важнее окажется, что один раз в жизни перебрал нечаянно на свадьбе друга, и по пути домой грохнулся в переходе, заплакал, не зная отчего, и его самого за нищего приняли, пожалели от сердца, может даже не подали ни рубля, только пожалели. Случайно, ошибочно! И в этом он вдруг выиграет! Это окажется чем-то значимым. В общем, как-то всё иначе там – нелогично, неформально – и возможность единственно ценная, точнее, бесценная, откроется из той случайности, безделицы, на которую в жизни бы сам внимания не обратил! Увидишь, что всё трудное меньше нужно было, – лишь бы не сидеть без дела. Получается, таскать всю жизнь вёдра воды из одной реки в другую, чтобы по пути один раз, не заметив того, уронить на засохший цветок каплю! Странно это… Но я не знаю! – вдруг резко стих Елисей, он замолкал тоже внезапно, словно на него разом обрушивалась тишина, и он не понимал, как ней бороться. – Это я сам так увидел. Я часто, когда мне объясняют, передумываю по-своему. Нет, он имел в виду, что в таких живых, дарованных каплях можно что-то обрести. И что таких вот капель накопить сложно, и страшно – не знаешь, когда упадет… У Богослова-то всё правильно, это у меня – ересь. А он же учился. Вот тоже – предназначение…

А он – так совсем не понял. Попытался даже оглянуться назад и ничего похожего на предназначение или цель там не обнаружил. Видимо, история была не про него. Последовало меланхолическое молчание, сопровождающееся непременным своим атрибутом – театрально суровым тиканьем часов, а потом Елисей снова встрепенулся и затараторил:

– Я раньше всё мечтал жить как-то особенно. А потом оказалось – у меня рак, хоть это вовсе не Богослов виноват, как они думают. И получается – мечты зря, всё рухнуло.

Он испугался, хотя уже подозревал именно рак, наверное, потому что это самое первое, что приходит в голову, когда говорят о смертельном заболевании. А рассказ напомнил ему, как девочка рассуждала про художника на войне, которого в одночасье лишили веры в искусство, и он отвлёкся ненадолго от очередного сумбурного монолога.

– Мама, конечно, за меня боится, а я теперь только радуюсь, – снова вернул его к рассказу Елисей, и он раздосадовался на себя, что прослушал несколько фраз, в которых тот объяснил, как произошёл этот перелом от разочарования к радости. – Но маму вам видеть нельзя, – неожиданно перескочил юноша, – её никому видеть нельзя. Я и сам её почти не вижу. Вот только, похоже, к старику она ходит, и зря, зря! Вам он наговорил, что вы на счёт проститутки живете, а что он ей скажет?! Вот и девочка эта несчастная, – снова перепрыгнул он, теперь уже смущённо. – И ведь если бы я не болел, всё могло быть иначе. Нет, не потому что у нас какая-то связь, – она не знает меня совсем. А оттого что все мы друг друга заражаем своими болезнями, – когда один болен, то и другой, даже кто не знает его, будет болен, так друг на друга и навешиваем – замкнутый круг. А мне теперь всё равно! Я виноват за неё, но я и не виноват! И я ничем помочь не могу! – с каким-то злорадством выдохнул он. – Если бы вы знали, что вы сегодня мне открыли! Легче, когда не знаешь, а теперь совсем гадко! А Богослов не спохватится, да и странно было бы! – И Елисей замолчал, обессилев, завалившись на спинку стула, напряжённо зажмурившись, словно, сдерживаясь, чтобы не заплакать.

Он мялся, топтался, никогда не случалось, чтобы с ним так откровенничали после десяти минут знакомства. Понятно ничего не стало, только – что он, не желая того, раскрыл больному юноше что-то плохое, подло-постыдное, а тот чем-то связан и с девушкой, и со стариком, и ему, конечно, совсем не следовало узнавать ни про «профессию», ни про эти деньги. «Неужели она «зарабатывает» ему на лечение? – мелькнула мысль. – Нет, глупость, они, кажется, едва знакомы, он же вспомнить её не мог». И зачем он вывалил этому неизвестному Елисею на расспросы всю подноготную? Опять стало тягостно на душе, он почувствовал себя негодяем, потому что привнёс смятение туда, где и до того было неспокойно. Он даже не обратил внимания на странные разговоры о матери, которую «никому видеть нельзя», и с не меньшим отчаянием, чем Елисей, думал, как же поступить дальше. Хоть это было и неловко, но оставалось только осторожно интересоваться, где все-таки можно увидеть пресловутого Богослова, кто это вообще, и как, кстати, «зовут его святого»?

– Сейчас, – встрепенулся Елисей и, мигом вскочив со стула, побежал рыться в каких-то бумагах на столе и под столом. – А, вот! Вот его статья, это он в прошлом году издал, – Елисей выудил из огромного вороха растрёпанный неопрятный файл. – Это про старообрядцев. Увлёкся недавно старообрядчеством. Ему даже профессора советовали вернуться к экклисиологии, а лучше к апофатическому богословию, или разбирать мало исследованные тринитарные споры, он, знаете, какую работу про великих капподокийцев ещё в семинарии сделал, особенно про вот это их учение о единосущии, а потом ещё про византийцев – об ипостасях, потом ещё про кафолическое стяжание Духа как антиномию диалектики внутриличностного, в общем – ужас что, а потом окончательно упёрся в антропологию, и ни в какую. – Все эти непроизносимые слова Елисей тоже тараторил без остановки. – Вот… Середина девятнадцатого. Мне тут нравится про странничество. Были такие раскольники, ну, значит, отступники, из беспоповцев, которые нигде не имели ничего своего, всю жизнь проводили в бегах! Их так и называли бегунами. А принимали в специальных домах, в которых прорывали подземные ходы, чтобы, если что, они могли сбежать, – это делал каждый, кто разделял их веру, а сам бегать не хотел. Существовали даже целые бегунские деревни. И вот все они верили, что креститься можно только под дождём или из родниковой воды, чтобы не входить в речную воду, которая соприкасалась с землёй, потому что она осквернена!.. Вы же, наверное, хотели бы его послушать?! – спросил Елисей, будто никак не мог уразуметь, что он ни малейшего отношения к Богослову не имеет. – Его все приходят слушать. Только он редко когда говорит то, что другие хотят, – надо быть к этому готовым. Оттого у него и аудитории бывают неподходящие, разношерстные. И все с открытыми ртами, он как завернёт одно, другое, –

вроде и не за тем пришли, а уже от него оторваться не могут, хоть он и провоцирует постоянно. Они, впрочем, не понимают. Мы бы его днём и ночью слушали, да где уж… Вот, возьмите, почитайте.

На реферат по старообрядчеству он сегодня меньше всего рассчитывал и уже почти раздражённо стал объяснять, что как невероятно, безумно его ни интересовали религиозные проблемы девятнадцатого века и странничества, но сегодня он желал бы без всяких лекций, бумаг, свитков объясниться с Богословом лично и совсем на другие темы. На это Елисей чуть в оборок не упал.

– Да вы что же, его самого хотите видеть?! – он так поразился, что даже чуть подпрыгнул, будто речь шла, по крайней мере, об аудиенции у новозеландского премьер-министра. И на его недоумённый кивок воскликнул. – Да ведь никто не знает, когда и с кем он захочет говорить! Мы-то его ждём всегда, каждый час, каждую минуту, а он так: явится, глазами окинет, скажет что-нибудь про Триады Паламы, и исчезает! И со всеми он так, со всеми! Я уж читал Паламу, читал… – как-то горько притих юноша и, не закончив, махнул рукой.

– Всё-таки, я думаю, со мной он согласится поговорить, – впервые в жизни проявил он наглую твердость, хотя, напугавшись рассказов о мистическом Богослове, совсем не был уверен в сказанном. – Где я могу его найти?

– Как где? На Кипре! – ответил Елисей так удивлённо, словно абсолютно любой богослов может находиться только на Кипре, а про то, что «их» Богослов – на Кипре уж, конечно, знает весь мир, терпеливо годами ожидая, когда же он соизволит вернуться.

И он понял, что теперь уже точно настало время встать и уйти. Да не тут-то было, потому что Елисей бросился совать ему назад «мерзкие деньги», чуть не рыдая и заново объясняя, что Богослова «совсем, вообще» не предвидится.

Он уже проклинал себя, что его дёрнуло разболтаться! Будь он сдержаннее, можно было бы как-нибудь деликатно отдать их Елисею под благовидным предлогом на лечение, а теперь и намекать на это бессмысленно. Объяснения, что на Кипр он при всём желании попасть не сможет, ни к чему не привели – Елисей слушать не захотел и только умолял его «почаще заходить». В общем, снова оказался он со злополучным конвертом на улице, поняв, что конца и края этому делу не предвидится.

***

Постояв немного у обклеенного объявлениями подъезда и посоображав, он пришел к выводу, что про эти деньги у него уже никто никогда не спросит. «Девочка постыдится, – уверил он себя, когда вспомнил её, затаившуюся и плачущую у стены, – старик и Елисей слишком погружены в свои болезни, скорби и мысли». Ну а если вдруг какой-нибудь дотошный проныра и сыщется (это обычно происходит спустя тридцать лет, когда воспоминания уже заросли мхами и сединами), то он с чистой совестью ответит ему, что делал всё, как только мог хорошо, – этакая умница, – тщательно, усердно, но оказался в тупике, и ему пришлось, разведя руками, остановиться. Поэтому быстро нашлось элементарное и гуманное решение – всучить конверт первому встречному нищему и навсегда забыть эту мрачноватую и местами забавную историю.

Вначале он ещё немного посомневался, следует ли поступать так импульсивно, и решил, что, пожалуй, совсем уж первому встречному не стоит отдавать – нужно хоть в глаза ему взглянуть, чтобы убедиться, нуждается ли он, действительно, так сильно. Но, как назло, ни одного нищего за всю дорогу не случилось.

Он уже окончательно и бесповоротно поклялся отдать деньги любому бомжу, пьянице или цыганке, но и они, словно сговорившись, поисчезали с глаз долой, будто боясь оскверниться от двусмысленной милостыни. Впрочем, мистическое обстоятельство отчасти объяснялось тем, что

ему везло с транспортом: едва выйдя на шоссе, он заскочил в автобус до метро, из метро прямо прыгнул в отходящую электричку, а из электрички, решив шикануть, и не идти до дома пятнадцать минут пешком, – в маршрутку. Так, шутя про себя, что, пожалуй, теперь «непристойные деньги» доведут и до Кипра, он вернулся домой.

6

И случилось ему погибнуть. Дома ждала она. Неожиданно и с удивлением обнаружив, что искренне соскучился и именно к ней где-то в глубине души стремился весь день, он бросился было принять её в объятия, и вначале не понял, почему она затеяла скандал. Потом выяснилось, что она приехала к нему болеть – пойманный вирус сопровождался высокой температурой, хрипом, расстройством желудка и потерей ободка для волос. Вот этого он не выносил, поэтому забился в дальний угол потёртого дивана, сгорбился и жалобно сник.

Не помогло. Его гоняли за шипучими таблетками и микстурами, потом гоняли снова – менять лекарства на другие лекарства, потом заставляли готовить в сырой от пара кухне густое неповоротливое рагу или плов – он сам не понял и не съел – потом его изваляли в нахлынувшей страсти, сопровождавшейся телячьим рёвом и сморканиями, и наконец, когда он надеялся что теперь-то удастся хоть сколько-нибудь поспать, вдруг затеялась беседа по душам.

Нет, что он полное ничтожество, слизь, плесень – это он уже давно знал, но, что он, оказывается, должен «однажды повести себя по-мужски» и пойти на некое сомнительное предприятие по отлову рыбы сетями где-то в бурливых водах далёкой Волги, чтобы «хоть раз подарить ей золотую цепочку», потому что ей давно «людям на глаза показаться стыдно» – явилось для него полной неожиданностью.

Ему опять стало её жаль. Очень. Она какая-то была ужасно несчастная, голос из-за болезни стал медвежьим, неловкость и неповоротливость вместе со слабостью делали её похожей на ворочаемую на трясущейся телеге бычью тушу. Ему впервые за несколько лет захотелось почему-то её помыть, всю, с головы до ног, потереть мочалкой с душистой пеной, а вот ехать с сетями и браконьерами на мокрую холодную Волгу совсем не хотелось.

Потом, наконец, он спал. Или ему казалось, что он спит. Ему снилось, что он беглец-раскольник. Он бежал из девятнадцатого века в двадцатый, из двадцатого в двадцать первый, потом возвращался назад на многие столетия и бросался в ноги к пророку Захарии, но понимал, что нигде не спрячется от тех, кто его преследует. Он, оборванный, заросший, дикий, мылся под дождём, и снова бежал, как сумасшедший, зная, что его спасение в одном этом беге. Для него делали подземные ходы, уводившие в лес, его укрывали в подвалах, где он боялся коснуться земли, чтобы не оскверниться, и оттого спал, лежа на воздухе, но чувствовал, что те, кто гонятся за ним, всегда его видят, он ощущал их дыхание внутри самого себя, будто они проросли и наводнили его той самой мутной скверной водой. И понимая, что от самого себя не убежать, он всё-таки снова бежал, прятался в пещерах, забирался на деревья, зная, что в одном этом беге смысл его существования, свыше данная ему задача, хотя давно уже не помнил, что за учение проповедовал своим образом жизни, какие истины возглашал, к чему призывал, и кто научил его этому. Он думал, что только в беге он становится чистым, что человек призван именно к этому бегу и к непрестанному продолжению очищения, которое приходит с потом, мозолями и ранами, он падал, задыхался и, боясь, что умирает, мучился оттого, что умирает не в бегу, не в воздухе, не под струёй воды, – а затем снова поднимался и из последних сил бежал дальше, всегда чувствуя, что вот-вот, – и его догонят, и запретят купаться под дождём, трястись зимой от холода, слепнуть, глядя на солнце, любить тех случайных добрых людей, которые принимают его, что отберут само дыхание, зрение, кровь, пульс. Он помнил ещё, что беглецам положено непременно всегда

молиться и просить Его укрытия, прибежища, но никогда не мог найти или придумать слова, которые нужно Ему говорить, только чувствовал, что эти слова всегда рядом, затерялись где-то между слезами, одышкой и сердцебиением, и снова бежал, так и не вырвав, не выхватив ни одного звука, вскрика, шепота. Бежал…

***

В окно колотило солнце, пришлось просыпаться. Тут-то он и погиб. В непонятной тревоге, ещё не скинув с себя впечатлений и настроений сна, пошёл утром, которое явно не оказалось «мудренее» вечера, и, будто под гипнозом, накупил на «грязные деньги» всякой золотой чепухи в ювелирном магазине.

Он стал так зол, когда сделал это, когда вдруг разом очнулся, словно вынырнул из-под воды и осознал, что натворил, как никогда за тридцать с лишним лет не бывал зол, и даже хотел – чтобы вышло совсем, как положено у извергов – бросить камнем в невинного бездомного пса по дороге назад. То есть это он так про себя подумал, что захотел, на деле же грустно пса погладил. Но он твёрдо решил «откупиться» от неё цепочками, изгнать её навсегда, как только она выздоровеет, и сменить замки в квартире. Словом, он бестолково и мерзко поступил.

Потом, не тогда, а ещё очень, очень нескоро, он однажды встал в церкви на исповедь и всё равно не мог думать про свой жуткий «золотой» поступок, а представлял, что находится среди сплошных убийц, воров и проституток. Он рассматривал синий с птичками платочек впередистоящей бабушки, и думал, что, наверное, она отравила свою семью поганками. А вот этот молодой человек, конечно, крупный вор-рецидивист, грабивший инвалидов и детей. Скромный приличный старичок с аккуратной круглой лысиной беззастенчиво киллерствует всю сознательную пенсионную жизнь. А в том, что вот эта наивная пятнадцатилетняя девочка с малиновой прядью в щуплой косичке – отъявленная блудница, он вообще нисколько не сомневался, он же познакомился с юной красоткой лёгкого поведения. Но нарочитые самовнушения не сработали: он не смог пересилить стыд, развернулся и ушёл. Очень бы он удивился, узнав, что стоявшая за ним молоденькая несколько раз кашлянувшая женщина, которой он не видел, не кто иная как Даша-нельзя, и что, когда он выскочил, она тоже, не достояв, выскользнула тихо за ним; и не вспомнил, как говорил ему Елисей про случайные «живые» капли...

А услышал то, чего Елисей вовсе не рассказывал, и не тогда, у ювелирного, а тоже, наверное, когда в той очереди на исповедь стоял, или ещё позже, словом, нафантазировал другое, своё. «Вот, когда нам хорошо, мы живём, как в тумане, будто это не мы живём, а что-то, что выше нас, – словно говорил ему Елисей, потому что именно он мог бы так сказать, – а на самом деле, кажется, будто мы где-то далеко-далеко, где очень хорошо, как сон, как дымка. И так не хочется оттуда возвращаться, потому что, если нет этой дымки, то холодно, нет желания видеть настоящее, и главное, такие мы беззащитные, брошенные... И вот мы думаем, что когда станем с земным прощаться, отлучаться, мы отмучаемся и навсегда уже перейдем туда, за туманную завесу, где тепло, мирно, где всё не наше, а лучше. А если наоборот?! Если тогда совсем выбросят в холод, если тогда мы только и будем каждый наш холодный не согретый любовью поступок, каждый скучный день заново пересматривать и уже противоположно, в сплошном ледяном мраке, без капли надежды, без защитного покрова, а в такой мёртвой реальности? Ведь мы не знаем ничего, только надеемся на лучшее, а как на самом деле? Нам же кажется, что мы не боимся смерти, верим в хорошее, иначе невозможно стало бы жить. Но зачем-то же в нас вложено бороться за жизнь до последнего, и если кому случится оказаться на волосок от смерти, то наверняка он по-животному испугается, что бы он ни думал раньше! Или он уже святой! Вот схиигумен Иоанн, – будто бы перескочил Елисей, – когда Валаамский монастырь бомбили, не

спускался в бомбоубежище, а так и сидел под взрывами, и это не подвиг был, не усилие, у него эти врожденные инстинкты самосохранения, наверное, переродились в другое уже, высшее. Но это у святых. А нам как понять, где иллюзия благополучного исхода, а где действительно настоящее? Или всё обман и прелесть, и вообще бесполезно думать, а там уж просто как выйдет?

И будто Елисей продолжал уже про другое, снова перепрыгнув: «Мне кажется, что тот, кто естественной, обычной смертью умирает, то есть в старости, а не так, как я, должен в этой старости, не специально, конечно, а случайно, встретиться со своим другом молодости. Таким, с которым он шёл когда-то давно на приключения, авантюры, делился любовными похождениями, пил, гулял, строил великие планы, играл в карты, деньги одалживал, в бизнесе кидал, однажды спасал от смерти, потом опять пил, гулял, уводил женщину, ну и, в конце концов, они устали, отвлеклись и забыли друг о друге. И вот они встречаются в глубокой старости, спустя много лет, и при этом наверняка вдалеке звучит саксофон, а под окном падает снег, даже если ещё рано, если осень только началась, неважно, пусть хлопья всё равно летят, и обязательно синий фонарь должен гореть, чтобы снег казался серебристым. И вот они встретились, и если по-настоящему готовятся умереть, то они уже совсем другие, они уже во всем покаялись, они уже успокоились, они уже сами всё себе простили, а сложнее этого, кажется, ничего не бывает, и они уже мудрые, тихие, умиротворённые, они уже ничего не хотят, всё выплакали, над всем посмеялись, всё потеряли, всё построили и разрушили, во всём разочаровались, всё высказали, всё передумали, всё перетерпели, и просто, ясно, смотрят друг на друга и не вспоминают ничего, не философствуют, не смущаются, не спорят, а так, тихо, просто о погоде говорят, и им совсем не скучно, им хорошо, легко, даже весело. Странно, да, но ведь *так* почти никогда не бывает. А почему? Когда только *так* должно быть. Вот те старики, что в том доме, они разве так?» – это все Елисей ему как бы сказал, а он как бы услышал.

***

Но эта исповедь случилась, а точнее, так и не случилась из-за того, что он сбежал, потом, много позже. А пока он стал дальше предаваться скотству. Думал, что когда войдет в квартиру с побрякушками и её увидит, то навсегда возненавидит за это теперь уже «грязное золото», в которое превратились «грязные деньги». А вместо того, когда посмотрел на её толстое лицо, на неуклюжие пальцы и воловью шею с жировиком, то опять настолько пожалел, что чуть не расхныкался, и ему захотелось весь этот помпезный ювелирный магазин скупить, лишь бы она на пять минут почувствовала, что счастлива.

Она от цепочек ошалела совершенно, он никогда не думал, что выражение «квадратные глаза» не образное, а буквальное, – они у неё именно обрели четыре угла, и она даже материлась как-то невнимательно, лишь бы не молчать. Она ведь привыкла, что его нужно гнать метлой, бить палкой, чтобы он себе-то заработал хотя бы на кормёжку, а тут, на тебе, золотые россыпи!

Сразу же обвинила, что он украл из ювелирного магазина, хотя и не представляла, чтобы он на такое решился, требовала предъявить чеки, которые он, конечно, выбросил, допытывалась, откуда деньги, – а он угрюмо молчал, шмыгая носом, – нервно утверждала, что ей совсем не хотелось золота, это она так, мол, шутила, в общем, он и сам понимал, что сотворил ерунду, которая не нужна ни ему, ни ей, и что ему просто необходимо было отделаться поскорее от «гнусных» денег, чтобы забыть эту загадочную печальную историю и странных дедушку с внучкой… В итоге они сидели на диване, опасливо косясь на золото, и, зайдя в глупый тупик, боялись неизвестно чего.

Выгнать её он, оказывается, не то, что не мог, а даже не хотел. После «золотых потрясений», она наоборот сделалась как-то роднее, и он начал даже некоторое облегчение и успокоение находить при общении с ней.

Общение сводилось к тому, что всё требовалось делать неукоснительно, как она того желает: вместе смотреть сериалы, ругать правительство, чиновников, подруг, детей, собак, журналистов, всем вокруг возмущаться, невероятно много есть, – он такого ужасного совершать не умел, приходилось учиться.

***

Так ничего и не изменив, он через неделю, которая показалось годом, поехал на Волгу, – деваться от её укоров и громогласных приказаний было некуда. Компания браконьеров, которые сбились в небольшую группу, набралась из тех же мест. Диковатые здоровенные загорелые парни лет в среднем тридцати – тридцати пяти, которые жгли костры, пили водку и всевозможные от неё производные, создаваемые самостоятельно путём неизвестных науке химических опытов, не брились и носили грубые грязные свитера с толстыми воротниками. А руководила всем брючная женщина, жена одного из них, пузатого и усатого, – дама с низким голосом, прямыми слабо-жёлтыми волосами и претенциозным именем Альбина, «что-то среднее между альбатросом и кабиной», – по привычке выдумывал он. Уловы они выгодно сбывали как раз благодаря женщине, гуляли ночами до рассвета, в общем, жили этакими пьяными вольными беззаботными разбойниками, воюющими с речной стихией, окружённые лесами, двумя лабрадорами-ретриверами, и не заботились о завтрашнем дне.

Его они возненавидели сразу, особенно женщина, так как он ни по каким параметрам в компанию не вписывался. Стали изводить, потому что «чужих» в любом коллективе всегда изводят, – в профессии ли, или как у него, «в неблагополучном детстве», или в каких-то случайных рядах – «чужих». Вначале его ещё пытались чему-то научить. Они ходили на моторках, и он с ними; боязливо смотрел, пытаясь понять, как они ставят сети, по их указу что-то держал, подавал. Сети были длиннющие, каждая около ста метров, особенно напугали его капроновые «режаки», с такими маленькими ячейками, что в них попадались самые крохотные рыбки, которым предстояло ещё вырасти в десятки раз. Однако лихие парни не гнушались ничем: «всё в дело пойдет, в хозяйстве сгодится», – и бросали рыбёшек-«младенцев» рядом с крупными лещами, сазанами, судаками и другими красавцами, которым он не знал названия.

Частенько им случалось вынимать сети, о которых попросту забыли или не нашли в прошлые разы, с болтающейся в них здоровенной рыбой, которая уже сгнила или протухла, а его заставляли счищать жутких мертвецов, отчего его рвало тут же прямо в воду. В ужас привели снасти – длинные веревки с прикреплёнными к ним на коротких поводцах металлическими остро заточенными крюками с зазубринами и без. Этими снастями они в определённых местах устилали дно так, что рыба не могла увернуться, затем вносили в навигатор координаты выставленных сетей и снастей. Мощные крюки часто распарывали рыбу вдоль и поперёк, и она, разорванная, окровавленная, срывалась с них и разлагалась в воде. Ему показывали, как эти снасти изготавливаются, а он только грубо поранил ладонь и залился отчаянными неудержимыми слезами, надеясь, что они не заметят, но они, конечно, заметили, заставили его пить водку и её же лить на руку.

Он доставал крюки с израненной рыбой, с болью и отвращением смотрел на распотрошенного язя или разрезанную стерлядь, крюки становились в воде ржавыми или грязными, и он понимал, что если даже рыбе посчастливится сорваться и уплыть, она всё равно погибнет от рваных ран и инфекций. Он содрогался их рассказам о том, как когда-то они действовали совсем варварскими способами: засыпали в реку хлор и ниже по течению вылавливали сетями плотные косяки.

– Если наедет инспектор, мент прижмёт или какой-нибудь рыбнадзорник, трави, что сам рыбу спасаешь, типа рыбачил и якорем сети протралил, – главное: сети по любому «не твои», и ты

сам по себе, а снасти, типа, видел, как другие ставили во время нереста, и возмущайся, козлы, типа, эти браки, убивать их надо, – и пусть менты попробуют что-то доказать!

Рыб они заставляли его убивать прямо в лодке. Ему было это страшно, потому что вспоминался узкий рот и выпученные глаза старика, представлялось, что рыбе больно, что она сейчас, как в сказке, взмолится: «отпусти, не убивай меня», и он тогда поседеет, а кроме того, понимал, что вообще-то их всех могут посадить. И ещё он почему-то много думал о Елисее, и часто ему казалось, что всё это делает Елисей вместо него, потому что сам он не смог бы. И вообще он, кажется, по Елисею скучал, хотел даже зайти к нему по возвращении, поинтересоваться, что же такого Елисей ему якобы задолжал. А она звонила по нескольку раз в день, насмешливо желая успехов и подкалывая.

***

Так, «перекантовался» он дней двенадцать, ночуя «на хате» со снастями, баклажками, самопальными инструментами и прочей браконьерской утварью, которые якобы сторожил, вздрагивая при каждом шорохе и скрипе и представляя, как его придут «брать». Потом они его выгнали сами, потому что толку от него было мало, а соплей и в буквальном, и в переносном смысле хватало. Ему дали пакет с судаком, немного денег на дорогу, и он отчалил, решив, что браконьерить – это, наверное, тоже «призвание». «Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса», – грустно, но облегчённо думал он, и зуб на зуб не попадая, скакал по мокрым кочкам, окружённым лужами после недавнего ливня, на вокзал, домой.

С вокзала он позвонил ей, расхныкался, а когда сообщил, что его выгнали, она разоралась, сказала, приправляя речь остреньким матцом, что он ничтожество, слизняк, баба, бездарь, раздолбай, велела ей на глаза не показываться, а оставаться на Волге, сидеть и ждать, пока она всё с ребятами уладит. Хриплая Альбина была её давней знакомой, и она, оказывается, немало усилий потратила, чтобы его «пристроить». Но он точно уже решил, что незаконно убивать рыбу – это «не его», и взял билет домой. Потом подумал о чём-то поэтическом и приобрёл бутылку водки. А потом ещё подумал и совсем уж для неизвестных целей купил у живописной старухи с торчащими из ушей волосами литровую банку чёрной смородины, которую терпеть не мог.

И вдруг его на вокзале схватили за локоть, сердце ухнуло, в глазах потемнело, он решил, что его остановили люди в форме, чтобы за незаконное расхищение Волги отвезти куда следует. Но это оказался один из не сложившихся дружков-браконьеров.

– Насилу догнал, – ухмыльнулся он. – В Москву?

Он объяснил, что живет в Подмосковье.

– Слышь, надо мне пару дней в Москве переваландаться, я у тебя малёк поживу? – и они вместе направились в зал ожидания.

7

Возражать он не умел. Новоявленный дружок в поезде трещал, колёса тарабанили, полка подрагивала, чашка на столе дребезжала, а он разболевался, чихал, температурил, убеждался, что всё больнее глотать, представлял своё лиловое распухшее горло. Он-то привык, что если подкатывает грипп или ангина, так нужно падать в койку, пить чай с малиновым вареньем, кутаться в одеяло. Его же поили водкой – ни носочков тебе толстеньких, ни варенья. Пить он катастрофически не умел, и с «полстакана» падал, подкошенный мертвецким сном, или ёжился, вращал глазами, куксился, к тому же с детских лет считал естественным, что никто им не интересуется, но тут пришлось еле ворочая языком и напрягая казавшееся металлическим горло, излагать свою нескладную скучную биографию, – а ему кроме голубей и похвастаться-то было нечем. Поезд тащился заунывно, будто сказочный старик-странник с большим коробом и

несмолкающей шарманкой, каждая минута тянулась долго, и он всё ждал, когда неугомонный парень заснёт, оставив его в покое.

Один раз в этом переезде он испытал приступ страха, но могло быть хуже, – к счастью, они ехали в дешёвеньком неаккуратном плацкарте, а не в закрытом купе. И страх посетил дурной: ему чудились мёртвые рыбы, всё куда-то проваливалось, люди, разговоры, вагонные полки, застеленные хрустящими простынями, столик с газетой и бутылью минералки… И делалось чёрно, – а вокруг раздувшиеся рыбы – разлагающиеся, склизкие, холодные, невыразительно серые. Они смотрели на него ничего не выражающими глазами, и видели его, хотя уже умерли, и им было безразлично, что они его видят, безразлично, что они мёртвые, а он не знал, куда от них скрыться. И опять у него пропадало сердце и мысли, и рядом уже не появлялся спасительный Захария, а только огромные мёртвые рыбы, и его тошнило.

Наотрез он отказался жевать вяленую рыбу, которую прихватил браконьер, а мешок с последним «трофеем», что ему дали с собой, выбросил ещё на вокзале. Горло щипало, текло из носа, денег осталось мало, он чувствовал себя безвольной игрушкой в чьих-то руках, то ли навязавшегося другана, то ли своих кошмаров, то ли всего поезда. Ночью не спал, «брак» не переставал болтать, он не понимал его рассказов, только заметил, что б*о*льшая половина слов относится к матерным или скверным, за что их обоих отругала щекастая соседка с боковушки, потом напившийся матершинник звал в тамбур покурить и спеть, и наконец захрапел неистово.

Проворочавшись несколько часов, ранним утром он сообразил, что пора бежать, потому что в поезде его уже укачивало, а дикого «дружка», которого невольно пришлось получше узнать, он не имел ни малейшего желания принимать у себя. И вообще, неизвестно, чем тёмное дело кончится, вдруг этот трепач захочет его ввязать в очередную браконьерскую или криминальную авантюру, тут ещё и она насядет, – вдвоём они его так прижмут, что некуда будет деться. А он-то только успокоился, что отделался от разбойничьей компании! «Нет, мосты надо жечь, – решил он, – а этот пусть едет, куда хочет».

Сложилось всё удачно. Друг, не проспавшись, зевая и шатаясь, вышел курить в окно у туалета, а поезд в это время остановился на какой-то маленькой станции. Тогда он схватил сумку в охапку и выскочил. И побежал, как заяц, сам не зная куда.

***

Это уже был не сон. Оказывается, и наяву бывает так, что бежишь, как в тумане, по неизвестной дороге, не зная, куда она тебя приведет. И, оказывается, нестрашно, что ты заблудился, что вокруг неизвестные дома или поля, или пыльное шоссе с гудящими машинами, и обязательно мелкий моросящий дождик, серая, тёплая, полусонная погода, потому что иногда нужно просто идти одному, без причины и цели в слепое никуда.

Но он недалеко ушёл. Вскоре остановилась, чуть взвизгнув, и подморгнув фарами, тихая белая машина, и он честно рассказал, что не знает сам, куда так торопится, что ему всё безразлично, что он устал…

А потом его везли в тёмном монотонно жужжащем салоне на упругом бархатистом бежевом сиденье и, кажется, долго, впрочем, он не понял, потому что улетучился или провалился из-за бессонной ночи, сам того не ожидая и не хотя на какое-то время, а очнулся окончательно уже там… В Японии. До конца он так и не вспомнил, как туда попал, потому что с водителем вроде бы речь шла о недорогой гостинице. Но, кажется, он ещё сам потом бродил по мокрым, стучащим серыми каплями улицам. А потом зашёл в Японию.

В Японии было тепло, красиво и тихо, каждый кубик воздуха изливался добротой. Его там все любили. Стены струились прозрачно-золотистым светом. Отовсюду смотрели лики. Он быстро нашел святого, которому это волшебно-живое пространство было посвящено. Его звали Николай

Японский. Из-за него-то тут эта необыкновенно простая ласковая деревянная Япония и выстроилась, потому что он родился неподалёку.

Он замер перед иконой. Нет, конечно, всё это он прочитал уже позже. Но и перед ликом он тоже «прочёл», не то со стекла, не то с отражения горящей свечи, длинную уводящую в позапрошлый век драматичную историю, ухватив мельком вспыхивающие разрозненные детали, пережив еле уловимые тонкости запахов, звуков, движений. Но сначала с ним случилось ужасное: на секунду заметив «в рукаве» образа своё отражение, пухлощекое, бородатое, совершенно здесь постороннее, он так растерялся, что отпрянул и даже раскашлялся от смущения, поняв, что все возможные приличия нарушил. Потом оказался уже сбоку, странно и непривычно себя ощущая, будто зависая в приятной невесомости, хотя на самом деле неподвижно стоял перед святым, а тот смотрел на него издалека, строго и грустно.

Сначала ему показалось, что святой печален от безграничного одиночества. Возможно, он прочувствовал микроскопические отрывки его жизни... Потом уже, когда читал о нём, то лучше понял, что тогда ощутил. Что поразил его святой, наверное, терпением бесконечным и беспрерывным трудом. И главное, смирением от того, что нет отдачи. Когда ты, неизвестный никому священник, работаешь часами, сутками, неделями без отдыха, проходят месяцы, потом годы, а результат не виден и обещает появиться лишь через десятки лет, да и то призрачно, – лишь заманивает надеждой, искренне предупреждая, что могут труды пропасть зря. Потому что сложно дарить подарок людям, которые не знают, зачем он нужен, не понимают, как его брать, что с ним делать. И чтобы как-то пробиться, достучаться до них, нужно сначала учить японский.

Потом, позже, он представлял, как совсем молодой священник Николай, ещё только приехавший в Японию в качестве настоятеля церкви при русском консульстве, сосредоточенно разглядывал иероглиф «тэ», который походил на ёлку с отпиленной макушкой и обозначал руку... И не подозревал, что когда пройдут годы, он начнёт переводить и библейские, и богослужебные тексты, и молитвы в эти самые иероглифы на язык «бунго», официальный книжный и письменный язык знати и дворянства, сформированный благодаря китайской лексике и грамматике, причём, переводить с китайского католического текста, и не только переводить, а выбирать самые благородные из иероглифов, чтобы тексты сделались изящны, утончены, умны настолько, что даже японцам будет сложно их воспринимать. Не знал, что на протяжении целых тридцати лет станет помогать ему в этом Павел Накаи, ведущий специалист по китайской и японской филологии, профессор и учёный, что вынужден он будет корпеть над текстом долгими часами и думать, как перевести «помилуй», и выбирать для этого слова значение не помилования преступника, но нежности и жалости матери к ребёнку – «аварема». И ужасаться несоответствиям смыслов в китайском источнике, который иногда своим буквализмом менял значение до противоположного, иногда же бесцеремонно приукрашал тексты, внося туда то, чего там не существовало вовсе. Не думал, что придётся с самого начала всё старательно проверять и сутками трудиться над книгами, потому что, как сам сказал он: «Времена Франциска Ксаверия, бегавшего по улицам с колокольчиком и сзывавшего таким путём слушателей, прошли».

Воображалось, как он, Николай Японский, будущий святой, смотрел пока вопрошающе на эту деревообразную «руку», и она его за собой утаскивала в древнейшую японскую культуру и историю, хотела, чтобы он забыл про всё остальное и влился, попытался постичь мир самураев, бонз, кабуки, мандолин, сакур, кимоно… И он чуть на это не решился, потому что это казалось заманчивым, потому что так можно было до краёв наполнить жизнь, купаться в этом, как в прохладном Японском море, знать, что есть куда дальше плыть, что будет это интересно, ново, завораживающе. Но нет, он отказался от научного пути и востоковедения. И остался совсем один. Возможно, оказывается, не в первые века, а уже в конце девятнадцатого, – такое служение, когда

миссионер в чужой стране один, и вынужден учить чужой язык, принимать чужую культуру, чтобы подарить родное и единственно важное – тем, кто считает, что в этом не нуждается.

Сложный путь священника, кажется, всё больше завораживал, он «впитывал» его, стоя перед иконой, а позже, читая в электричке житие, вспоминал свои ощущения и заново переживал их. «Наверное, миссионерские цели молодой Николай поставил сразу, когда только приехал в Японию в качестве настоятеля консульской церкви, – размышлял он потом. – Но пришлось потратить целых восемь лет на обучение в школе Кимура Кэнсая, чтобы постичь дух народа, прежде чем сделать первые неуверенные шаги…» Представлялось, как святитель знакомился с синтоистскими и буддистскими проповедниками, посещал их кумирни и храмы. Как японцы травили новоявленного пастыря, считая агитатором, сеющим на японской почве измену и симпатию к чужой стране, а русские принимали за сбежавшего политического деятеля или шпиона, передающего Японии запрещённую информацию о России. Как его угнетало, когда называли охваченным манией оригиналом, что почти равно сумасшествию. Где-то он принимался как гость, пусть даже уважаемый, – но гостя знакомят со своей культурой, перенимают же у него что-то только в качестве забавы, не относясь серьёзно. Где-то была развита ксенофобия и насилие, там его хотели убить, как убивали других иностранцев, – в стране местами царила смута, антисегунские настроения усиливались, христианство воспринималось, как злодейская секта. И как ему мечталось бросить всё, оттого что в России он успехов достиг бы быстрее, чем в Японии, а главное, там чувствовалось бы, что он нужен, что его ценят, а не гонят с обеих сторон. Это уже потом, когда характер закалился, он стал человеком железным, непоколебимым, ледяным, жёстким, недоверчивым и очень уважаемым, непреклонным, готовым карать и воспитывать строго, наученным сдержанности горьким опытом. Лишь к концу жизни получил он мимолётную радость, на которую надеялся. «А ведь каждому хочется немедленно увидеть результат своих трудов, – размышлял он. – Год потерпеть, два… Но восемь лет учиться чужим наукам, чтобы только начать сеять то, за что на Родине уже мог бы собирать богатые плоды! Ждать годами, пока найдётся первый, – не десятый, не сотый, – а первый человек, который услышит и примет его слово...»

И это казалось самым непостижимым. Очень странно, страшно быть первым русским православным, как Николай, который приезжает миссионером в Японию, пытаясь проповедовать свою веру. Но ещё страннее и страшнее быть первым японцем, который этому чуждому учению следует, а после сам начинает к нему приводить других людей. И это был не легковнушаемый юноша, а человек вполне состоявшийся. В тот момент его звали Такума Савабе.

«Как может это быть?» – поражался он. Жил да был японец, в своем японском мире. Ребёнком читал про величественного и прекрасного бога-прародителя по имени Идзанаги, умывавшегося кристально-чистой водой из небесного ручья, представлял, как однажды несколько хрустальных капель упали из лучистого глаза Идзанаги и, о чудо, из них тут же родилась белоснежная Аматэрасу Омиками, которая так сверкала и радовалась, что стала богиней-солнцем, освещающей и согревающей повелительницей Небесных полей Такамагахара, где обитали божественные предки. Он вырос на подобных мифах, которые преподносились, как священные.

После, уже будучи студентом, отдавая предпочтение философии и искусству фехтования кен-до, он нахватался из буддизма, засилье которого наблюдалось долгие годы, что Аматэрасу Омиками то же самое, что Будда Вайрочана, один из пяти будд мудрости, будда неизмеримого света, выражающее дхармакаю – бесформенное, непостижимое, абсолютное проявление духовной сущности, сущность мироздания. И уже ему казалось, что он понял что-то о смысле жизни, что ему есть во что верить, за что бороться.

Вложенный в каждую клеточку накопившийся веками кодекс чести бусидо великой Яматы он хранил бережно и достойно, жёстко сдерживал пыл, вспоминая впитанный с детства путь самурая, который есть смерть. Приучал себя созерцать неизбежность смерти ежедневно, оставляя тело и ум в покое, представлял, как его пронзают стрелами, разрубают, расстреливают, учился становиться бесстрастным, считать себя уже мёртвым, готовым в любой момент совершить сэппуку. И ему удавалась эта холодность; он, мастер боя на мечах, долго странствовавший по Японии и зарабатывавший уроками фехтования, проводил занятия по боевым искусствам с сыном русского консула. Но при этом ненавидел любого иностранца, так как состоял в тайной организации, члены которой безраздельно были преданы императору и считали злом любое заграничное влияние, тем более православное, которое могло потревожить культ дивной Аматэрасу. Так он тренировал волю.

И не только врождённый и воспитанный годами самурайский дух наполнял смыслом его существование. В юности, сбежав в Хакодате, он женился на дочери синтоистского жреца древней кумирни, принял имя Такума Савабе и унаследовал жреческий сан нового отца. Жрецы поддерживали родовые традиции, у каждого существовало своё направление с особыми обрядами по выполняемой миссии – жрецы промысла, аграрной магии, гадатели, заклинатели... И не утрачены были мистические тайны приведения в транс масс людей, многие жрецы владели ими, сообщаясь с неведомыми страшными силами. Так постепенно он стал уважаем в народе, имел доход, гордился отечеством, религией прародителей, воспитывая в тех же традициях маленького сына, с ненавистью смотря на иностранцев, которые пришли «выглядывать землю».

И вот, от макушки до кончиков пальцев наполненный верой предков, вроде бы определивший свой жизненный путь, этот самый Такума стал первым учеником Николая Японского, а спустя годы первым местным православным священником! «Как в нём тот невероятный переворот совершился? – недоумевал он потом, обдумывая житие. – Откуда эта привязанность взялась неистовая, жертвенная?» Он, рискуя беспредельно, под страхом смертной казни приходил слушать Николая, изучать религию христианства, оставаясь жрецом древней кумирни. Тогда запрещалось даже листать Евангелие, и он втайне вместо жреческого служебника читал Новый Завет в своем «мия», постукивая в барабан, и никто не догадался об этом, такое «кощунство» ни одному японцу не представилось бы возможным.

И поразительным ему показалось не только то, что вот этим первым он стать не побоялся. А ещё то, что так жарко предан стал своему другу и учителю, что шёл за ним до конца. Такуму считали предателем. Вчерашние друзья преследовали за отступничество от веры, в тюрьму сажали, а жена сошла с ума и сожгла его дом. Он лишился почти всего. Хорошо, когда есть мощный покровитель, самурайский господин, ради которого жизнь отдать – великая честь. Но когда рядом только бедный учитель, чужой на твоей земле, пришелец или враг, которого все гонят, и вот за него ты тоже готов умереть, это уже неизмеримо несравнимо сложнее. Как и то, что ты принимаешь первую хиротонию на японской земле, что кажется варварством и дикостью для твоих братьев.

Его стали звать Павел. Трудно даже это одно представить, что тому, кто родился Ямамото, потом назвался Такумой, захотелось стать Павлом, отдать жизнь своему новому имени, день и ночь работать, не получая за это ничего. И как часто труды казались тщетны, ведь повести за собой два-три десятка японцев – было немыслимо, невозможно много! Да, он ещё был достаточно молод, доверчив, мягок, гибок, но всё же… решился на это один из всех. Нет, позже к ним и другие присоединились: доктор Сакаи Токуреи, которого рукоположили в диакона Иоанна в Хакодате, и новые крещёные японцы: Феодосий Насагама, Урано Иаков, но первым – стал он, который вначале не то, что слушать не хотел Николая, а собирался его убить.

И почему-то он, Павел, ему очень мягким увиделся, ведомым, тихим, нежным. Другом, который много плакал, когда шёл за Николаем, другом, который к нему относился, как верный пёс, который смотрит молча, любит до умопомрачения, хочет и готов жизнь отдать, но не знает как. А когда хозяин умирает, потому что в таких случаях всегда хозяин первым умирает, собака себя не может убить и потому только тихо лежит, скулит, от еды отказывается. Вот он и пережил учителя всего на один год. Он ему почему-то показался чуть наивным, с еле заметной скорбью на сердце, и при всей своей преданности далёким от пронзительной тревожной русской боли, какая сковывает, доводит до отчаяния, да она и не нужна была ему, он, наверное, умел просто ко всему относиться – будто фонарик в руке держал, которым дорогу освещал, главное, чтобы только свет не гас. Радостного, чуть ироничного, необычайно человечного, и такого лёгкого, очень удивлённого представил, потому что мудр тот, кто удивляется и надеется. И он надеялся, и узрел впереди то, чего другие не могли, «Павел всегда стал видеть цель и идти к ней, и привёл за собой десятки людей», – читал он. А это много, очень много…

А он вот никакой цели не имел, всегда без цели жил, одним каким-то размышлением о пустяках. Он вспомнил почему-то, что у старика тоже сгорел дом, подожжённый женой. А нёс ли тот в руке такой «фонарик», шёл ли доверчиво с кружочком света вперед, кто знает? И подумал почему-то, что и Павел мог, оказавшись больным и беспомощным, попасть в такое место, как угодил старик…

***

А потом… Видимо, это случилось так. Хотя детали не очень важны. Он стоял в пустой церкви, пропитанный нахлынувшим на него японским одиночеством. И в то же время ему словно представлялась большая толпа народа в храме. И он как бы между прочим взял маленький церковный ящичек для пожертвований. Он совершенно не собирался этого делать. Но почему-то очень спокойно это получилось.

Самое поразительное, что он не думал, не высчитывал, не пугался, а просто взял, будто у всех на виду. То есть он представил, что вокруг полно людей, а он спокойно берёт у них на глазах, потому что он якобы должен куда-то ящичек отнести. Он даже сам поверил, что он ничего такого, – а только имеет полное право его взять. На самом же деле рядом ни души, – он моментально засунул ящичек к себе в сумку и выскочил. Ящик был маленький, и он очень уверенно шёл по улице, вроде бы так надо, и что-то весело ухало внутри, оттого что никто не заметил, и его не заподозрят.

Минут через пятнадцать, когда он уже в чём-то ехал, кажется, в автобусе, он поймал себя на том, что чересчур настойчиво старается не думать. Так как он нечаянно догадывался, что если вдруг решит сейчас о чём-нибудь подумать то, пожалуй, умрёт от страха. И лишь позже постепенно позволил себе начать потихоньку удивляться: что именно он, а не кто-то другой, совершил нечто, ну, не станем уточнять что, и это вышло само собой, – он же не планировал, – так получилось, случайно, он никогда ничего подобного не замышлял… И непостижимое дурное ликование наполнило его, что «волшебство» произошло – а он ни при чём, а что внутри ящика – ему. Так, наверное, можно незаметно, нечаянно и убить, и тоже охватит странное чудовищное ликование. То есть вообще, что он что-то не то сделал, он очень хорошо понимал, но знал, что об этом нельзя думать, – главное не думать.

Эйфория долго не длилась. Он уже стал осознавать, что он вообще-то, ну… взял и украл… и постепенно приходить в ярость. Ах, ну ему же сказали, что он живёт за счёт проститутки. «Значит, и красть можно», – зло думал он. Почему одно вытекало из другого, логически казалось необъяснимо, но самому ему было понятно: «Вы сказали, что я подлец – ну так я подлецом и буду!» Он разъярился и себе не принадлежал. Сначала ещё оставалось важное дело – он

выискивал, где бы посмотреть содержимое «ларца». «Лёгкая нажива, какую глотают мёртвые рыбы, нет, от об этом как раз не надо… А о том лучше, что в общественных местах стоят видеокамеры, – с перепугу вспомнил он, – значит, туда лучше не соваться. А может, в храме тоже была камера, нет, кажется, не было, там вообще ничего и никого кроме святых… Куда же идти?» – и снова в голове всё путалось.

В итоге, место, как вспоминал он потом, вроде бы нашлось в случайном подъезде. Он поразмышлял, нет ли видеокамеры и в подъезде, взломал ящик, хотя это ему далось сложнее, чем его вынести, потому что маленький замочек не поддавался, и проще оказалось выдавить крышку. Оставить ящичек на лестнице он побоялся и закинул его обратно в сумку, а монеты и несколько купюр запихнул в карман. Затем пришлось отыскивать станцию, до неё нужно было ещё ехать, так как выяснилось, что он находился в каком-то посёлке с названием Мирный. Наконец добрался до железной дороги, мало что соображая.

То, что случилось, он осознал только в поезде: ему снился кошмар – ночь, темнота, и ужасный детский плач. Он открывал глаза и, как в буром тумане, видел перед собой старушку, – представлялось, что эта старушка в платочке приходит в церковь и кладёт в ящичек свои сбережения, свои пенсионные копеечки, делится последним. Он вдруг, будто впервые в жизни, почувствовал, что он высокий, довольно сильный мужчина, рыбу хоть и не научился сетями ловить, но старушку эту мог бы на руках нести, и само собой откуда-то пришло в голову японское хокку:

Ко мне на заре в сновиденье
Пришла моя мать… Не гони её
Криком своим, кукушка.

8

– Какая следующая остановка? – спросила ни о чём не подозревающая старушонка.

Он поднял на неё глаза от брошюры, подумал и, молча, пожал плечами. Да, так, стало быть, он вор, который ограбил храм. И у него в сумке лежал взломанный церковный ящичек. Такой жёлтый, красивый, с крестом. Он уставился на потрёпанную серо-зелёную сумку. Потом открыл её, думая, что уж лучше узнать о себе сразу всё, и пусть старушка увидит и поймёт, кто он на самом деле.

Но ящика не было. Он ещё раз без всякого облегчения перевернул вещи внутри, которых брал в путешествие немного: чуть белья, запасной свитер и джинсы, некоторая бытовая чепуха, – банку смородины и водку он оставил в поезде под полкой, – и застегнул молнию. Снова взял книжечку с житием Николая Японского, которую купил в храме, посмотрел на строгий лик святителя.

Только что он побывал в гостях, в некоем посёлке Мирный, у него, отдавшего жизнь православному просвещению Японии. Только что находился в дружеской тёплой компании святых, праведников русских и японских, и каких-то других, греческих, наверное, какие всегда бывают в церквах – он совсем не разбирался в образах – и, видимо, после этого в каком-то забытьи украл ящик с пожертвованиями. «Ведь Николай Японский как раз для этого трудился и страдал, – чтобы потом кто попало приходил и его обкрадывал», – вздохнул он. Вспомнил, как стоял, застыв перед иконой и трепетал, как купил книжицу и, едва выйдя на улицу, начал читать житие, как его поразила история про японского жреца и самурая, как в автобусе вспомнился Дашин старик и его хлёсткие слова.

Так он, читая, доехал до станции, сел в поезд, потом ему приснился детский плач, и он очнулся. Но то, что он украл ящик, ему не приснилось, вот в чём была загвоздка. Снился плач и

хокку про кукушку, но про воровство был не сон! Он точно помнил, что крал, и точно помнил, что взламывал, а небольшие украденные деньги, вероятно, потом потратил – то ли хот-дог купил, то ли шаурму…

Он смотрел на строгий жёсткий портрет Николая Японского и преступление своё видел, читал житие – и его вспоминал. В то же время он уже вычислил, точно выяснил, что сейчас именно, в этот раз, он всё-таки этого не совершал. Что случилось очередное проявление его болезни, потому что он ведь псих немного. Значит, ему это сейчас примечталось, привиделось, тем более что ящика никакого в сумке не обнаружилось. Только беда в том, что он наверняка знал, что не приснилось, что он не нафантазировал! Соответственно, присутствовало что-то во всём этом такое, чего он уловить и понять ну никак не мог.

***

Он порылся в памяти, пытаясь вспомнить, не крал ли он когда-нибудь раньше такого ящичка в церкви. И ужаснулся даже одному предположению – конечно, нет, сама мысль была кощунственна, из ряда невероятных. Нет, точно никогда не брал, ни нарочно, ни случайно.

«В детстве, может?» – он детство своё плохо и мало знал. И не любил вспоминать – слишком угнетало. Чуть мотнул головой, отвечая на внутренние допросы: нет, и в детстве такого не происходило. Ему и не случалось тогда ходить в храм. Он понял, что крещёный, потому что с самого раннего периода, когда лишь начал себя осознавать, видел на груди крестик, похоже, в детдом отдали с ним. Но о церкви представлял только, что это красивый домик с куполами, а священники к ним никогда не захаживали.

Полная ерунда выходила: он точно знает, что никогда этого не делал, но точно знает, что сделал это. Получалось, он никакого ящика не брал, даже не был уверен, что видел такой ящик в храме! Ещё раз восстановил в памяти своё стояние перед иконой и понял, что промелькнувших идей по поводу краж там не присутствовало вообще. Если о чём и думал, так только о том, что необыкновенно себя чувствует, будто в другом мире оказался, где разом и Фудзияма, и берёзовый лес, и всё это из какой-то ласковой волны растёт, которая ни на небе, ни в море. Он там переполнился благоговейным страхом, дыхание перехватывало, было хорошо и жутко. И после этого схватить ящик и бежать – даже в самом безобразном бреду казалось невозможным.

Так откуда, спрашивается, взялась эта гадость в голове, это убеждение, да нет, знание того, что он украл? Почему теперь у него, не смотря на здравые рассуждения, получается, что всё же он этот ящик самым кощунственным образом вынес и выпотрошил? И какая-то нежнейшая воздушная сакура висела прямо в небе, и ходили по облаку остроносые белые цапли, грациозно замирая и прислушиваясь к звенящей тишине, и холодно протяжно звонил колокол, а в сердце был зловонный газ, – он брал ящик тоже ниоткуда, из неизвестности, заматывал в свитер и бежал, стоя на месте. Будто он находился под гипнозом несколько дней и теперь урывками вспоминал, что по чужим внушениям делал. И навязанная вторая жизнь была не менее реальна, чем та, к которой он привык. «Нет, не может быть это правдой», – думал он, и не верил тому, что думал.

Предположил ещё, что когда-нибудь обвинял Церковь в воровстве, как это делают сердитые люди в интернете, утверждая, что священнослужители «наживаются за чужой счёт», и за это его теперь мучают болезненные фантазии. Но подобных осуждений не вспоминалось, поскольку их попросту не было.

Понимал, что это не каприз или причуда воображения, а присущая ему ненормальность. Только что же это за болезнь такая – знать, что ты сделал то, что не сделал?

Он не ёрзал, не нервничал, не проваливался в колотящую пустоту, а тихо и сёрьезно стал мучиться. Попытался как-то логически себе разъяснить, что творилось в голове и на душе. Допустим, это какая-то подсознательная аллегория. Нет, он понимал, что ограбить храм и

обокрасть проститутку – это разные вещи, и что одно такое сравнение являлось бы кощунственным. Он знал, что первое намного хуже, хотя, пожалуй, не смог бы ответить почему. Но он же именно почему-то вспомнил, что ограбил храм, причём, скорее, для развлечения, для острых ощущений, необычных эмоций.

В какой-то момент он изловил было мысль, которая похожей казалась на правду, что он «ограбил храм», – когда пришёл в ювелирный магазин покупать ей золото, так как что-то святое в себе в этот момент нарушил, то есть, грубо говоря «храм своей души» обокрал.

Сначала его эта мысль немного успокоила: вот, мол, какой он умница замечательный и как прекрасно вычислил, что у него в голове за нервное столпотворение случилось, – даже обрадовался, что навёл там порядок, по полочкам разложил. Но стоп, опять что-то не складывалось. Если так, то выходила замысловатая игра в символы, но он-то знал, что всё правда, и эта правда должна разгадываться страшно просто, без заковырок и подвохов.

«А вот представьте, – про себя заявил он старушке, – что я сейчас церковный ящичек проломленный вам показываю, говорю, украл, что вы мне на это скажете?» На секунду ему стало приятно от этой мысли. Есть восторг и упоение в цинизме. Даже чуть было не полез в сумку, но вовремя вспомнил, что «ларца» там нет. Попытался внутренне съязвить, что предприимчиво спрятал его себе в голову, чтобы никто не догадался, только неостроумно получилось. И вместо этого неожиданно для себя спросил:

– А что такое акафист? Тут в конце какой-то акафист.

– Хвалебная песнь святому, – немедленно пояснила старушка, уж она-то в этом разбиралась. – Читать надо стоя, сидя нельзя, – она явно была из таких бабушек, которые лучше всего знают, что нельзя.

– А кто эту песню сочинил? – спросил он.

Теперь пожала плечами старушка, в самом деле, дескать, кто. И даже раньше времени поднялась к выходу, потому что вопрос явно застал её врасплох. Он остался сидеть один и опять сосредоточился на краже. Секундное ликование прошло, ему снова стало противно, до боязни стыдно. Он ведь всё же вёз этот ящик и выбросить не мог, как бы ни хотелось. Спросить, что ли, у какого-нибудь священника, только странно это – спрашивать, что это значит, когда вдруг крадёшь в храме ни с того ни с сего?

Он смотрел на мелькавшие столбы, провода, облетевшие деревья, мокрых ворон, поля, лужи, и думал, что вместе с деньгами, наверное, лежало в том ящике церковное умиротворение и тишина, которые он хотел присвоить. В итоге ни к какому логическому или фантастическому выводу не пришёл, решил остановиться на недоумении и многоточии, пока оно само не разъяснится, если это, конечно, случится когда-нибудь, – просто как факт принять, что на груди или на шее, или на душе – неважно, у него висит краденный ящик с деньгами…

А позже он понял, что ящик этот и до «Японии», и до заключения в камере он тоже уже носил. Словно однажды, неизвестно когда именно, вырвался из какого-то благодушного состояния, из-под покрова, защиты, и скрывался с украденным, и боялся, и мчался, а потом уже был Захария, встреча с Дашей, мука с деньгами, – и вот, в «Японии» он на какой-то миг этот ящик с себя снял, чтобы просто узнать, «вспомнить», что он, оказывается, беспрерывно носил его, – и снова надел. Из всех мыслей это была хотя и самая непонятная, но зато и казавшаяся наиболее верной.

***

Добравшись домой, он обнаружил, что она опять рассиживалась там. Теперь он смотрел на золотую цепочку, которая уже висела у неё на шее, и думал, что, наверное, он купил её, потому

что себя любил ненавидеть, и сейчас как раз мог этой ненавистью к себе насладиться в полной мере.

Погружённый в японские переживания, о рыбаках и рыбках он давно забыл и сначала вообще не понял, что она имеет в виду, и с чего опять расшумелась, затеяв бурю. Такое с ним и раньше случалось, его легко было на пустяке подловить, а он от рассеянности невольно выходил виноватым и смущённо молчал, хотя просто ушами прохлопывал нужный момент, когда следовало вставить слово и своей правотой блеснуть.

И ему почему-то вспомнилось высказывание святителя Николая о Франциске Ксаверия, который бегал с колокольчиком. Захотелось тоже взять в руку колокольчик, и звонить, звонить, чтобы она на секунду замолчала и обратила внимание на него и услышала, заметила его, настоящего, хоть однажды. Ему представилось, как индийские дети вокруг собираются, поджарые, полуголые, белозубые, черноволосые, много-много индийских детей и хотят вырвать у него колокольчик, а он уворачивается, и они за ним гонятся, смеются, а колокольчик всё звонит. И почему он не монах иезуитского ордена?..

– Да, я ничтожество, мне на всё наплевать, – вместо этого покорно и безразлично согласился он. И уставился в акафист, который достал из сумки. «Радуйся, радуйся, радуйся», – было «иронично» написано на каждой строчке.

Но главные сюрпризы начались позже. Потому что примерно через час заявился тот самый «друган», от которого он якобы благополучно избавился. Ан нет! И объяснилось всё элементарно.

Друган этот, когда он спрыгнул с поезда, позвонил другим, с которыми они браконьерили на Волге, и через хриплую Альбину добыл её номер телефона, а там уж сладил с ней за пару минут, сказав истинную правду о том, что он договорился «несколько дней у него дома переваландаться». Поэтому, когда он шагал по Мирному, новоиспечённый товарищ благополучно к нему «в хату» завалился, где она уже его ожидала с нехитрой закуской.

К вечеру опьяневший приятель ненадолго угнал по своим тёмным делишкам, а он как раз приехал с «церковным ящиком», просветлевшим «японским» взором и акафистом. Но вскоре возвратился и браконьер, который начал с порога потешаться над его бегством.

И это оказалось ещё не всё. Она сообщила, что в его отсутствие приходила «какая-то девица, похожая на проститутку», интересовалась, где он, а потом ушла «разнесчастная». На её расспросы он молчал, разглядывая бурый линолеум. Ему очень хотелось опять сбежать, но теперь было некуда, потому что всё происходило в его квартире, а прогнать их он не мог. Тогда он уныло догадался, что осталось единственное – выпить водки и отключиться.

Но даже и водка уже кончилась. И он, ненавидя и презирая всех в мире алкоголиков, рабски отправился за ней. И вот, когда он шёл, ему так нехорошо стало от своего нелепого существования, что искренне захотелось, как в угрюмом детстве, под колеса, что ли, броситься или в реку сигануть, или с крыши прыгнуть, – настроение, дополненное моросящим слюнявым дождиком, делалось всё противнее, скучнее, непонятнее.

Раньше он в рассеянии существовал и привык думать о повседневных мелочах, о том, что видит вокруг, что знает из новостей или фильмов, – так легче казалось. Теперь же, когда откуда ни возьмись возникли Захария, Николай с Японией, Савва, – и там у них всё страшно, таинственно, невероятно по-другому, а тут всё так бесцельно, скучно, однообразно, – вот это несовпадение между «там» и «тут» его стало мучить.

И тогда он снова подумал про Елисея. Вот, наверное, почему он радуется, что скоро умрёт. «Радуйся, радуйся», – вспомнился акафист. И он решил уехать к Елисею, тот ведь просил его заходить почаще, и хоть странный был, и жутко умный, но, кажется, одинокий…

Ну и что, что неудобно, что он так поздно к нему ввалится без предупреждения! Не выгонит же Елисей его. «Ну невозможно сейчас домой вернуться и с ними водку хлестать или телевизор смотреть, – маялся он. – С ней – ещё куда ни шло, но с этим подозрительным дружбаном, который беспрерывно ругается, сплёвывает, и неизвестно, какие цели имеет, – увольте».

Вообще, такой он получился с годами застенчивый, неуклюжий, никчёмный, что друзей у него не было, он их и не стремился заводить, всё где-то плавал между землёй и небом, и водой. А тут так ему друг стал необходим, настоящий, которому можно было даже про ящик рассказать – хотя он вряд ли бы когда-нибудь решился на это, – и про Мирный, где он мир нашёл и потерял снова.

А ведь Елисею он уже про те деньги, будь они неладны, открыл… Тут, впрочем, вспомнилось, что он какую-то рану ему этим признанием нанёс, наверно, как тем рыбам, что на крюках болтались, и испугался не сделать бы хуже, и уж в любом случае о новом приходе девушки упоминать не стоит. «А для чего, спрашивается, эта Даша опять заявилась?» – озадачился он.

«Конечно, нельзя сознаваться и в покупке «грязного золота», а жаль – легче стало бы», – невыносимо хотелось поделиться своей позорной историей. Получалось, стыдно и неловко ехать к Елисею, но тянуло к нему, да и домой возвращаться казалось отвратительно, а больше идти было некуда, приближалась ночь. Он дождался электрички и, утомлённый нервными мыслями, задремал, отклонив голову на спинку сиденья в ярко освящённом пустом вагоне.

9

Елисей сначала растерянно на него смотрел, будто не узнавал, потом разочарованно протянул:

– А-а, это ты. Так я же сказал, у меня ничего нет. Нет, ты проходи, конечно, – и юноша так скучно глядел на него, что он почувствовал себя обузой. Сообразил, что Елисей ведь тоже несчастен, а ещё болен, разочарован, в голове у него тоже путаница, разве что более замысловатая и культурная, чем у него, вспомнил, что он устал, беспомощен от слабости, а главное, что ему самому нужно помочь, вместо того, чтобы досаждать, вешая своих «вороватых» тараканов.

И почему-то ему вспомнилось, как в тюрьме он задался вопросом, свободен ли пророк. И решил для разряжения обстановки спросить, свободен ли был «его» пророк Елисей? Так и брякнул – «твой».

Но Елисей вместо того, чтобы ответить, сам задал встречный вопрос:

– А как тот Варравас потом жил, которого чуть не распяли, чуть не с креста сняли? А? – и сверлил его своими нервными тёмными глазищами. – Я всё думаю, что он потом с *такой* свободой сделал? Святым он не стал. Странно, что толком о нём ничего неизвестно, – так, какой-то разбойник. А вот почему ему *такое* освобождение довелось пережить? Значит, не просто «какой-то разбойник». Про него, правда, есть версия, что он был зелотом, даже, возможно, одним из лидеров, проповедовавшим против тирании Рима, вот люди потом за него и орали, надеялись на его участие в избавлении от гнёта римского господства. Но это только версия. А так – разбойник, злодей, грабил. И на тебе! Ведь это представить невероятно, как у Достоевского (Елисей, как потом выяснилось, помешан был на Достоевском), что он уже умереть готовился, хотя, конечно, и очень надеялся до последнего, что отпустят именно его, как всякий бы надеялся, и вот он уже думает об этой казни, и да, – действительно, его. Сначала, конечно, эйфория, обморочная радость, будто всё небо разом тебя окатило своей милостью, но потом?! Как он жил после всего этого, когда узнал, вместо Кого его отпустили?

Он застыл, не заметив, что улыбается, и, поняв, что пришло то чудо, которого он в глубине души ждал.

– Я так себя чувствую часто, что моя свобода – она такая, как у Варраваса, – продолжал Елисей. – Разве после *этого* куда-то можно идти? Что-то можно делать? Что это за свобода? Проще застрелиться. Потому что, сколько ни кайся, все равно живёшь, будто из-под пепла выглядываешь. Ну, ясно, что разбойничать он дальше не пошёл, просто из соображений, что второй раз уже такого освобождения не будет. Но и святым как-то умудрился не стать, вот что поразительно. Иначе, уж конечно, об этом было бы известно. А то все только про этого Дисмаса знают, покаявшегося, а Варравас, неужели погиб, не спасся? А что он всё-таки делал? Ведь ну совершенно же невероятно после этого не стать святым! Почему Лонгин стал? Стражник, а пошёл проповедовать и погиб мученически, и ему молятся, и его почитают, а этот нет? Ну и как он жил? Может, тоже удавился, как… Или упорно дальше зелотствовал и погиб, никому неизвестный? Даже если ты разбойник, который зло творит, – и вот вместо твоей заслуженной кары, несёт её и гибнет обычный невинный человек, а не ты, и то себя будешь чувствовать самым скверным образом! А тут!… Хуже такого испытания, казалось бы, и представить нельзя! Неужели он погиб, ничего не поняв?! – и, как всегда, неожиданный перескок. – А «Елисей» означает «да спасёт Бог», и конечно, пророк – свободный. Кто может быть свободнее раба Божьего? Случается так однажды, что милоть падает, но неизвестно, конечно, когда, как. Потому что всегда может упасть, а может никогда не упасть. И в этом тоже свобода. В возможности. Вот та служанка, из «Деяний», которая пророчествовала, хоть и правду говорила, а от нечистого духа, значит, на неё какая-то фальшивая милоть упала. А разве она догадывалась, что фальшивая? – елисействовал Елисей. – Нет, конечно, наверное, радовалась, что такой у неё дар. Она, значит, не свободна была, а одержима. Но она же не знала об этом! Как больной, если ему не сказать, иногда не знает, что он болен. Он же самого себя изнутри, как данность воспринимает, он настолько привыкает к недугу, что, пожалуй, откажется ещё с ним расставаться, если боли нет! Да, да! Это я по себе знаю! Мне даже нравится, что у меня лейкоз, я к нему привык, он ведь давно у меня, и мне с ним расставаться жалко! Потому что кажется, что он часть меня! А тут такая оригинальность – предсказывание! И там ведь не написано, что на место этого нечистого духа благодать пришла, а значит, пустота какая-то, словно какой-нибудь орган отрубили. Она, наверное, очень страдала без этой своей болезни, – и видно было, что Елисей себя искренне сравнивал с этой служанкой и жалел.

Про служанку он не понял, а своей «жизнью из-под пепла», свободой никчёмности он сам так мучился, что решил: он-то уж точно от того разбойника ничем не отличается. Впрочем, он вообще мало понял, ведь «синенькую книжицу» пробежал глазами наспех, и не сложилось единой картины. С детства он читал даже много, но не запоминал ни названий, ни авторов, ни сюжетов, часто не доходил до конца, и из произведений выхватывал отрывки, иногда ошибочно связывая их между собой.

– Но, наверное, Бог его простил?.. Иначе зачем давать ещё пожить, а не забрать сразу? Значит, было что-то хорошее в этом Варраве, раз он так «влип» в эту историю? Может, потому и неизвестно о нём, чтобы мы предположили, что и не только покаявшихся Бог простит, а остальных тоже? Грешных, слабых, в общем, «отрицательных персонажей», ищущих, как полегче и побогаче устроиться, которые сами подвигов не совершают, а просто живут, не задумываясь ни о чём, принимают жертву других как должное, вот и таких Бог простит? – и Елисей вопросительно на него посмотрел, будто думал, что он непременно знает ответ. – Да, это у меня такая свобода… Мне однажды сон приснился, как наяву: будто я иду один, совсем один, по выжженной жёлтой траве. И мне кажется, что это такая пустыня, потому что конца и края не видать этой траве, и я понимаю, что рядом толпы людей, которые кричат, толкаются, а я их не вижу и не слышу, словно

в параллельном пространстве сквозь них иду. И вот я оглядываюсь, и знаю, что когда оглянусь, увижу вдали гору и на ней три креста. И я молюсь: пусть бы я уже далеко ушёл, так далеко, чтобы не увидеть эту гору. Оборачиваюсь и всё-таки вижу вдалеке, в тумане, но вижу, и снова отворачиваюсь. И вот, сколько я ни иду, я всё время один, и всё время сухая трава, и как бы долго я ни шёл, отовсюду эту гору с крестами вижу, когда оборачиваюсь. И думаю, что не видеть их можно только, если ты на них, на крестах, и еще я думаю, что уж лучше не оборачиваться, потому что страшно, они чёрными кажутся эти кресты на фоне серо-белого неба. Только всё равно не получается на них не смотреть: куда ни повернёшь – то сбоку эта гора, то вдруг впереди. Тогда я понял, что я и есть этот разбойник отпущенный. Которому некуда идти и нечего делать, потому что больной я, толку от меня никакого нет, только бегаю по врачам. И вместо того, чтобы терпеть, возмущаюсь, что они деньги дерут. А ещё хамят… – по обычаю перескочил Елисей. – Люди умирают, так перед смертью такого нахлебаются в этом центре – вот уж где расцветёт смирение пышным цветом! Но, знаешь, гадко, гадко! И без того всё им отдают, лишь бы чуть подольше пожить. Столько там цинизма, – мы ведь полутрупы, чего с нами церемониться? И, конечно, никто ни в чём не виноват, а кто угодно – чины, государство, ты сам, что у тебя денег нет. Больные-то многие одинаково говорят: лишь бы не мучиться, а умереть поскорее. Так ведь это кому что Бог даст, кому чудо даст, кому ничего, а кому денег. Это же только в «белую» кассу миллион. А чтобы в очереди на операцию пятнадцать лет не стоять, ещё ему в карман, там и теневые «цифры» у больных есть, сколько какому врачу нужно давать. У меня ощущение сложилось, что за деньги рак лечится, а без денег нет. Там за приём-то обычный нужно платить, чтобы опять же месяцами в очередях не стоять, – столько несчастных, и на них наживаются, – подло! Но, наверное, и их простят… Они же лечат. И так вкалывают, бедняги, чуть не целыми сутками. Работа у них – не позавидуешь…

На эту тему ему опять нечего было сказать, – утешать он не умел, а уж в такой ситуации и подавно. Елисей, впрочем, сегодня казался другим, вялым и апатичным. Помявшись, он по его примеру решился «перескочить», тем более что этот вопрос его давно и слишком даже серьёзно волновал:

– А эта девушка, кто она?

– А, да эта такая история, – ещё больше помрачнел Елисей. – Мне её Богослов поручил. Он собирал информацию о графе Сиверсе, знаешь, есть такой святой Сампсон, его никак канонизировать не могут, хотя к его могиле каждый день приезжают молиться и просить, – он помогает. Возможно, и не канонизируют, потому что сведения расходятся. Его в концлагере месяцами садистски мучили, к голодным крысам в подвал кидали, а он жив остался. Какие об этом документы могут быть?

Елисей немного помолчал и продолжал, теребя растрёпанную буйную голову:

– Ну так вот, дед этой девочки тоже из какого-то древнего европейского именитого рода, может, и графского, не знаю, – да только не из того, – вот Богослов, исследуя да расследуя, ошибочно на этого деда вышел, думал, то ли что он какой-то дальний родственник, то ли что какая-то информация у него есть про род Сиверсов, но оказалось, он совсем ни при чём и не слышал даже, а девочка эта, его внучка, в Богослова влюбилась. Но он вроде ни на ком жениться не собирается, может быть, и монахом станет, кто знает? Он-то сам в неё и не думал влюбляться. В общем, Богослов на Кипр вернулся, а её на меня оставил, а то она всё мучилась, плакала, придумывала что-то, я должен был ей помогать, поддерживать, постараться к церкви привести, а я вместо этого по врачам бегал. Ну, у меня с ней тоже случай вышел, история одна, даже не одна… Тут Елисей снова грустно и напряжённо помолчал. – Потом расскажу как-нибудь. А суть-то вся в том, что я о ней постепенно и думать забыл, она же мне совсем посторонняя. Не хотел же

Богослов, чтобы я на ней женился вместо него? Не в меня же она влюбилась. В общем, это моя была ответственность, но она сама должна была ко мне прийти, сама, понимаешь, сама меня искать!

Естественно, он не понял.

– Ну, у меня же всякие исследования, обследования, – не очень уверенно пояснил Елисей, словно думая, что это далеко не основная причина, почему не он должен «бегать» за девочкой, а она за ним, – всё время я куда-то езжу, анализы сдаю, теперь вот химия, облысею скоро, а что делать? А говорят, после этой химии контактов не должно быть ни с кем, на меня чихнут, я тут же и свалюсь (Ты, кстати, ничем не болеешь? А то на меня дышать нельзя, я, как оранжерейный!) – и при этом мне на такси, а то и на общественном транспорте к ним через всю Москву таскаться, там в очередях сидеть, чтобы только посмотрели пять минут. Я скорее от неврастении помру при таком лечении.

Он потоптался и не знал, говорить ли, что ещё сегодня утром у него была температура, и текло из носа, и неизвестно, заразный он сейчас или нет. Но Елисей ответа и не ждал, а продолжал о своем, о Елисеевом:

– А девочки этой я и телефон-то потерял, у неё мой должен быть, а её номер я не сохранял. А что она проститутка, Богослов понятия не имел. Она ему наплела, что она в какой-то секте, чтобы он ей помог выйти оттуда, ну, чтобы заинтересовать его. У девчонок вечно несуразные хитрости в уме, откуда они берут их только? Это она потом мне призналась, что врала. Вот он её считал какой-то потомственной графиней, словом, кем угодно, а не той, кто она на самом деле, – она ведь этому деду даже неродная. Так она переживать стала, что не графиня, – умеют себе люди создавать проблемы, – умоляла её не выдавать. Больно нужно мне выдавать, а ему – считать её графиней… А деньги эти, якобы они договорились, она будет копить на то, чтобы он для неё место в кипрской русскоязычной школе выбил, дескать, чтобы ей уехать и «сектантскую» жизнь поменять… Она ведь и школу-то не закончила, как я понимаю… Но теперь он, наверное, о ней и не помнит, а она навыдумывала себе, что он чуть ли на ней не женится, когда снова приедет, тем более, она уже с готовым евросчётом будет. А они вон, оказывается, откуда, эти деньги. Богослов-то думал – проценты с былой графской роскоши, ну там наследство, вложенное в банк, да и совсем, наверное, не думал, какое ему дело? В общем, она завралась невероятно, и больше всего самой себе, а я получаюсь теперь виноватым вдоль и поперёк! А зачем ты на её деньги жил, я так и не понял, это уж ты мне сам расскажи.

Когда он вытаращил глаза и стал махать руками, мыча что-то нечленораздельное, Елисей очень удивился:

– Старик этот зря ничего не говорит, если скажет, так и есть. Не то чтобы он ясновидец или прозорливый, нет, но он жутко расчётливый и умный, и всегда точно впечатывает, неожиданно так, – от этого сразу его никто не понимает, а потом всё оказывается правдой, и не в витиеватом каком-нибудь, а в самом прямом смысле, как он сказал. Так что ты уж лучше озадачься и подумай, как это так может у тебя выходить. Мне ведь, он, старик, диагноз-то поставил, – продолжал Елисей, делая большие наивные глаза. – Я таким ротозеем жил, всё думал что-то о высоком, о великом, вообще был сумасшедшим, в семинарию думал поступать, особенно религиозная философия меня всегда занимала, ещё и в хоре пел, и такая ерундистика в голове, не представляешь! У меня друзья тогда – сплошь готы, все разговоры о том, как хорошо умереть и как плохо жить. Ну вот, Богослов меня на землю и вернул, что ты, мол, говорит, такой слабый, башка кружится, рвёт, ничего не делал, а устаёшь, всё забываешь, рассеянный, кровь из носу постоянно, как у ребёнка, тощий? Тебе, говорит, нужно хоть кровь сдать, что-то с тобой не то, когда, мол, ты, спрашивает, последний раз у врача был? А я и не помню, мне наплевать на всё,

думал, к врачам только бабки ходят. У меня, понимаешь, температура подскакивает ни с того ни с сего, башка болит, а я наемся жаропонижающих, очухаюсь, и вроде как выздоровел. Это я ещё никому не рассказывал про температуру. А потом, когда со стариком этим познакомился, он так в упор на меня посмотрел, что ты, спрашивает, такой белый, лейкоз, что ли? Я молчу. А он в упор опять: иди и проверь. И я вдруг так испугался, ты не представляешь. И побежал. Он будто меня прошиб. Оказалось, так и есть. И такая тут волокита началась, кошмар. Лучше бы не знал, а просто помер! Уже ни на что другое времени нет: всё по больницам, да по врачам, да по анализам, да по аптекам. Когда меня облучат, если я раньше не загнусь, то оперировать будут, донорские клетки пересаживать. С таким мы ещё трудом донора нашли. Он в Белоруссии, в деревне, что ли, живёт, мамин дальний родственник, седьмая вода – у нас всюду родственники. У него коровы там, огород… Вот, оказалось, что мне лучше всего его клетки подойдут. Как все вокруг меня забегали – ужас. А я такой неблагодарный – жизнь не люблю. Потому что не понимаю, как может быть, что медсёстры хамят, а если им не давать денег, то и не подойдут. Как к больному можно не подойти, который встать не в состоянии? Что у него в голове, одни кошмары, он еле шевелится, беспомощный, как младенец, а им наплевать, – только если платил, будут повежливее. Кстати, давно пора таблетки пить, а я треплюсь, – он подскочил по обыкновению, нашёл нужные средства на столе среди пузырьков и пластинок, налил воды из бутылки, перекрестился, как-то очень серьезно сказал:

– Господи, прими за лекарство, – и проглотил таблетки.

Они помолчали. Елисей вдруг вздрогнул и посмотрел на него с испугом:

– Это, наверное, мама. Не выходи в коридор. Никто не должен на неё смотреть. А я-то думал, она не придёт, пока ты здесь. Не должна она знать, что меня кто-то навещает, мне нужно максимально изолироваться, так врачи говорят. А я им не верю. Уж с тобой-то я точно могу общаться, – и вышел. Он так и не понял, с чего тот встрепенулся, ни малейшего шороха в коридоре он не слышал. Елисей вернулся радостный. – Пришла, – таинственно сообщил он. – Хорошо, что не к старику снова.

Он напрягся, но опять ничего не услышал, ни как она разувается, ни как проходит в комнату. Будто это какой-то призрак явился с работы, а не женщина.

– А, ты удивляешься, что она беззвучно, – как-то загадочно усмехнулся. – А помнишь фильм «Полёты во сне и наяву»? Как он ездил встречать мать? Да нет, у меня-то, конечно, не тот случай, – Елисей странно смотрел, с какой-то умной иронией и серьёзностью, и, пожалуй, испытующе, он почему-то на миг страшно испугался, как будто мама точно должна оказаться мистической или выдуманной и влететь внезапно в комнату из зеркала или наддверной щели. – Я однажды одному священнику на праздник Иверской иконы подарил открытку и в ней написал «Желаю полётов во сне и наяву». Это баловство, конечно, было, так нельзя. Но он вообще ничего не сказал, может, он и фильма-то не смотрел. А заходить мама не станет, думает, я сплю, и боится мне заразы с улицы нанести.

А потом он неожиданно услышал за стенкой приглушённый звук, который его насторожил и напугал даже. Тихий короткий всхлип или стон. И опять всё смолкло.

***

Когда он лёг на состряпанное Елисеем, вполне сносное, почти удобное сооружение из кресел и диванных подушек, у него было тревожно-сосредоточенное состояние, будто он листает учебник по геометрии, потому что завтра контрольная. Представлялось, что он сам в этот учебник влез и живёт среди треугольников, кубов, параллелепипедов, углов, формул в плоском листе бумаги. Он себя непривычно и чересчур ясно чувствовал. Пропало, смылось ощущение цветущей Японии и обрусевшего самурая, и про ящик на груди он забыл, а только думал, что, наверное,

очень прозаично и тяжело было Николаю Японскому жить и работать, будто он тот врач-онколог, которого считают жестоким, а он просто непрерывно лечит больных, и ему сложно им сопереживать.

Он до этой ночи не знал, хоть сам болел часто, что жизнь бывает страшно простой, когда впереди одна цель – вылечиться. И в таком существовании дни расчерчены, как в учебнике: чёткие линии, движения, действия, и всё плоско, бело, как на листе, от одной точки прямая к другой точке, из одного кабинета – в другой кабинет, а в завершение – решение задачи, когда будет получен ясный короткий ответ. Никак он не мог от «геометрии» отделаться, единственное, что отвлекло от антипоэтического ощущения, – еле уловимый аромат из прихожей, приятный, напоминающий ночную фиалку, должно быть, от её духов.

– Она на работе постоянно, и ко мне не всегда заглядывает, поэтому я её мало вижу, – объяснял тёмным утром Елисей, пока он туго соображая, что происходит, наперекосяк застёгивал рубашку. – Только по праздникам, когда мы в церковь идём… Вот в детстве она часто была рядом. И я всё помню... Она только моя, больше никому её видеть нельзя. Она теперь проводница, иногда по несколько дней на работе. Со следующей недели поедет в ночь Москва – Хельсинки, ну, поезд «Лев Толстой» называется, может, знаешь? Она по-фински немного говорит, а разве возможно финский выучить? Такая абракадабра. Хочешь послушать литургию на финском языке? Это она мне привезла с Нового Валаама. В Финляндии православие такое же, как у нас, не такое, как в Греции, я это почувствовал. Это и не удивительно. Ну, знаешь, как… Предпразднество. Будто всё время стоишь перед закрытой дверью, лицом к ней, и это абсолютное предчувствие, во всей полноте, некая гармония предчувствия. А в Греции другое, что-то ближе к статичному хаосу очищающего огня, что ли? Когда уже какая-то часть за ту закрытую дверь проникла, и ничего там не понятно, радоваться ли или ужасаться. Ближе к покаянию, но одновременно труднее выразить, что это такое. Метан*ия* – и есть метан*ия*. Понимаешь?

Естественно, он ни слова не понял.

– Только, чур, вернуть, – и Елисей вручил ему компакт-диск.

10

Позже, спустя несколько дней, он слушал диск на стареньком, подаренным кем-то за ненужностью дивиди. Поражался певучести финского языка и таинственному «Хэрра Армахто», строгой сдержанности хора, когда нежность остаётся где-то глубоко, словно на дне колодца, как у матери, скрывающей её на людях и спокойно-прохладной с ребенком. И «уплывал» в прозрачную осеннюю Финляндию, где природа была, словно стеклянная: застывшие жёлтые тонкие высокие берёзы, у которых, казалось, очерчен каждый лист, устремлённые ввысь неподвижные сосны по берегам частых озер, земля и трава, усыпанная разной желтизны и формы листьями, многоцветные леса, неподвижные, светлые, заколдованные. Представляемая природа была прозрачна, холодна, погружена в глубокую сосредоточенность, в какую-то одну свою ясную мысль, и отдана ей целиком, без остатка, полна отрешённости, как завершённая панорама, созданная раз и навсегда художником. Появлялось ощущение, будто она находится в неизвестной, следующей реальности, параллельной, удивительной, что он может пройти сквозь стволы, и по озеру, и даже над водой или, наоборот, под ней, не чувствуя её.

Казалось, что он, идя через застывший лес, сам стал одной простой мыслью, и ледяной воздух мгновенно её обозначил, очертил грани, схватил все нюансы и тонкости, как если бы его душа проявилась причудливым тонким узором на замёрзшем стекле. И эта поразительная красота, нереальность картины вместе с отрезвляющей холодной чёткостью принесли ощущение новой неведомой до сих пор свободы. Он вдруг понял, что имел в виду Елисей, когда сказал, что

Варравас прощён. И подумал, что он, наверное, тоже прощён, независимо от того, несёт на груди украденный ящик или нет. И это было странное чувство ледяной прозрачной лёгкости и бесконечности пути, среди белёсых зеркальных озер, мёрзлой голой земли; каждый вздох словно оставался в памяти, застывал, написанный на невидимом полотне.

И он думал о счастье быть отпущенным разбойником и о дарованном чуде дышать, видеть, глотать чистый обжигающий воздух, позволять лесу, озеру проникать внутрь себя, понимая, что жизнь – это возможность, которой могло в эту минуту не быть. «Зачем распинали разбойников? Они должны все быть отпущены и помилованы, – эйфорично размышлял он, – помилованы, чтобы идти и чувствовать, хоть и не видно в широких просветах между соснами цели или конца тропы, что и разбой, и наказание, и даже помилование – это ещё рабство. А свобода – в прощении, и оно не шанс, а действительность. И если бы не распинали разбойников, не распяли бы и Господа». И эта всплывшая невесть откуда булгаковская мысль, что казни могло не быть, давала ему, Варравасу, право жить, видеть, дышать, идти, не слыша своих шагов в тишине. Может, об этом говорил Елисей, когда имел в виду случайную каплю воды? Годами совершать преступления, чтобы однажды послужить, «поработать» мыслью о возможности избежать казни?

А в чём его капля?..

***

Он вспомнил, как однажды случайно оказался в гуще яростной акции протеста, – его внутрь смело уличной толпой, а затем даже вынесло в передние ряды, где стояли самые активные и горланили в рупор. Он испугался и замер, будто на другую планету попал, не представляя, против чего или для чего они это устроили. Понял только, что выступали за какую-то свою единственную справедливость. Вот и получилось, что он невольно повыступал за чью-то чужую справедливость. И было что-то завораживающее в этой минутной нечаянной потере самого себя. Он, не желая того, даже проникся было их темпераментно-восторженной и возмущённой энергией, почувствовал себя борцом за жизненно важные права, но, к счастью, в этот же момент оказался с краю и выбрался. «Впрочем, чушь, – размышлял он, – наверное, никогда о «своей» этой капле не узнаешь».

И тут же ему пришла на ум ещё одна «капля». Как-то один случайный знакомый нашёл ему подработку в мастерской, где изготовлялись кии для бильярда. Самих киёв ему, разумеется, даже коснуться не доверили, а нужно было обзванивать потенциальных клиентов и рекламировать продукцию.

Изготавливали каждый такой кий вручную, кропотливо и неспешно. Когда ему назвали цену на один из самых скромных киёв, у него в глазах побурело, потому что обычному человеку и произнести-то такую сумму неловко, а уж набраться хамства, чтобы звонить и предлагать гладенькую деревяшку с резьбой на ручке за такие неистовые деньги, услышав про которые, любой нормальный вежливый гражданин тут же станет ненормальным и невежливым, казалось безумным. Он недоумевал, за что его так возненавидел тот знакомый, не хотел ли он часом его смерти, которая неизбежной расплатой должна была последовать за такие неприличные киевые предложения, решил скорее удрать, сказавшись больным, но по обыкновению не смел выдавить и слова.

Менеджеры, приняв его молчание за счастливое согласие, подробно начали объяснять особенности полезных внушений клиентам: мол, качественный товар дешёвым не бывает, а как много зависит от хорошего кия, вы сами знаете, а ценные породы дерева для киёв поставляются чуть ли не с Марса, – и ему казалось, что в комнате стало слышно, как он хлопает ушами, подобно чебурашке, который учится летать. Потом они предложили ему прорепетировать возможный разговор и начали изображать потенциальных клиентов. Видя его беспомощность, сами же за него

отвечали с абсолютной невозмутимостью и апломбом, его это позабавило, да и они развеселились, всё больше вживаясь в роли недоверчивых упрямых клиентов и этакого дружелюбного свойского парня-продавца, который и мёртвого уговорит.

Он отвлёкся и задумался о бильярде. Ему раз или два доводилось пробовать поучиться играть, когда случайные приятели затаскивали развлечься и выпить пива в дешёвенькое кафе, но сам он никогда бы не догадался, как одним шаром толкать другой; в итоге по подсказке загнал-таки в лузу парочку «мячей» и скорее попрощался, недоумевая, для чего нужен бильярд. «Как у людей хватает терпения годами тренироваться в этом бесполезном занятии? – озадачился он и на новоиспечённой «работе», рассеянно улыбаясь в ответ на шутки менеджера. – Почему больше всего в мире стоят самые бесполезные вещи? А вот воздух почему-то до сих пор не научились продавать, хотя без него пяти минут не протянешь».

Пока он размышлял, к ним в просторную приёмную на шум сбежалось много людей, подивившихся их веселью. Пришли и мастера, и какие-то девушки-администраторы, и сотрудники из соседних кампаний. Они тоже мало-помалу включились в игру, понеслось импровизированное соревнование на остроумие, кто кого перешутит, и ребята уже не только изображали возможный разговор с клиентом, но вспоминали реально происходившие смешные случаи из практики. Потом полились анекдоты, и вообще начался незапланированный корпоратив, где хохот не смолкал, заиграла музыка, откуда-то даже появились напитки с пирожными. А про него все забыли, в жизнерадостной толпе он сидел тише воды, ниже травы. Так он и выскользнул никем не замеченный и помчался во всю прыть. А они, наверное, спохватившись, спустя время стали искать его или ждать на следующий день, но он благополучно прихватил с собой заполненную анкету, чтобы уж точно не нашли. Вот такая «капля» вышла: не желая того, имея совсем другие цели, собрал вокруг себя полную комнату незнакомых людей, случайно подарив им хорошее настроение…

***

Но это он вспоминал потом, а пока…

– Всё дрыхнешь? – она его трясла за плечо.

Неудивительно, что, очутившись дома, он тут же уснул. Проговорив полночи с Елисеем, он, взбудораженный, проворочался в импровизированной кровати пару часов, а ранним утром тот поднял его, потому что уезжал в онкоцентр на очередные процедуры. Теперь же он грустно пошёл жевать разбухшую гречку, даже не претендуя на единственный кусок варёной колбасы, который ему оставили.

В этот самый день всё стало меняться в неожиданно лучшую сторону, – бывает, как ни странно, и такое. В их жизни внезапно появился новый человек: у незваного приятеля-браконьера обнаружился незаурядный друг.

Он не был похож ни на браконьера, ни на них – неуклюжую парочку, ни на кого-либо из его непостоянных знакомых. В гости вдруг заявился восхитительный человек, из тех, которых рекламируют. Цветущий, приятный, чистенький, опрятный, бесконечно улыбчивый – он научился жить в этом мире благополучно и искренне хотел научить этому других, потому что мало кто умеет. Но главное, тут намечалась игра без подвоха: он жил и трудился с удовольствием, на благо человечеству, открывал уже третий детский магазин, жертвовал на приюты бездомных котов, в общем, это оказался настоящий счастливчик, не притворный, который искренне радовался жизни и других заражал оптимизмом.

Он впервые повстречал такого – складного, простого, без мудрований и сложных идей, без капли хищности, насмешки, злой иронии, инстинкта быстрой наживы, – открытый, довольный, энергичный, при этом до невероятности наивный, каким только может быть человек, который как

закономерность воспринимает то, что ему везёт, и который даже предположить не может, что бывает иначе, – таким не завидуют, а только желают дальнейших приумножений доходов и процветаний. И вот этот парень, искрящийся не наигранным позитивом, возник в его квартире, где он уже перестал быть хозяином, потому что всё в свои руки взяла она, и сразу понял, как помочь:

– Ребята, езжайте работать за границу, – велел он им троим. – Вам срочно нужно сменить климат!

Их жилец, соловей-разбойник, только снисходительно хмыкнул, но для них обоих прозвучало это убедительно на фоне серого унылого неба, нудно накрапывающего дождя и угрюмой облетающей уже в начале августа березы.

Об «иностранной» работе никогда не думала даже она из-за незнания языка, а, главное, из-за того, что привыкла без особых стараний лениво, но хлебно устраиваться здесь. Отдыхать за границу она тоже не летала, к морю относилась равнодушно, не понимая, для чего тратить деньги на экзотику, когда можно купаться в подмосковной речке или бассейне. А ему море казалось недостижимой мечтой, поэтому его поэтическую хрупкую болезненную натуру картины с синими волнами, чайками, парусами и галькой, нарисовавшиеся в фантазии, поразили. Браконьер сразу наотрез отказался участвовать в подобных «детских» авантюрах, им же намечающееся «приключение» пришлось по вкусу.

***

И – сказано сделано. Пробежало чуть-чуть времени, за которое он думать забыл о мрачных историях, тюрьмах, украденных деньгах и ящиках, раковых больных, несчастных проститутках, беспомощных стариках, высоких идеях. Старался быть невероятно простым, открытым и позитивным, – всё вдруг начало получаться.

Этот недолгий период они вдвоем бегали по рекомендованным агентствам, заряженные энергией молодого человека, и пытались устроиться на заграничную работу. Дружок-браконьер усмехался и продолжал заниматься своими тёмными задачками, то пропадая неделями, то поселяясь у него в квартире снова. Они же носились по Москве, заполняли анкеты, проходили собеседования – где-то даже напрямую с «заграницей» по скайпу, и прямо-таки молниеносно нашли себе место.

Им повезло: требовалась русская пара для работы на Кипре в частном доме, хозяйкой которого была русская эмигрантка, жена состоятельного киприота и мать двоих детей, к настоящему моменту ставших уже подростками. Теперь женщина занялась бизнесом и перевезла на остров свою больную маму. Вот за этой мамой и нужен был уход, плюс масса банальнейших обязанностей по дому и саду.

Когда документы на работу были оформлены, и они шампанским с ветчиной отмечали сие событие, целуясь на радостях со щетинистым браконьером, ошеломлённые и одурманенные внезапной беготнёй и быстрым лучезарным результатом, он впервые вспомнил, что слово «Кипр» не так давно в его жизни звучало и даже вроде к чему-то обязывало.

Тут он встрепенулся и с резко всколыхнувшим его уже окутанный морской негой внутренний мирок ужасом взглянул на золотую цепочку, украшавшую её шею. Всё-таки с этим придётся до конца разбираться, и пока им делают загранпаспорта, выяснить, где и как на Кипре искать Богослова, ведь совесть навязчиво шелестела, что хоть он и посторонний человек, но имеет обязательство перед этими людьми и должен «непонятное дело» закончить, хоть его оно и не касается.

Неизвестно почему, но с новым позитивным знакомым, который стал уже почти другом, не хотелось делиться произошедшей историей, он не понял бы его терзаний, и проблему решил элементарно, – даже мерещилось, словно он услышал ответ: «Раз ты в любом случае уезжаешь, и

пока ничем этим людям помочь не можешь, то лучше забудь про них и не любопытствуй, не лезь не в своё дело, это их проблемы. А чтобы совесть успокоилась, когда заработаешь, перечисли какие-нибудь деньги церкви – это всё равно, что богослову, или в тот самый дом для престарелых». И в этой простоте, лёгкости, было что-то чуждое ему, он корил себя за то, что не умеет так жить – порывисто-деловито, когда всё элементарно удаётся и удачно складывается, а друзья вокруг радуются. Ему же, наоборот, казалось, что «эти люди», пусть и немного, но каждый по-своему ему доверились, и он ответственность несёт пред ними. Даже стыдно стало, что он забыл о них на время беготни по службам занятости. Тем не менее, новый цветущий знакомый ему, а особенно, ей, безумно нравился, такой вот человек явился, который ну не мог не нравиться.

И благодаря ему позитивные эмоции перевешивали сложные и сентиментальные мысли. Он нечаянно соприкоснулся с совсем другим кругом. Его поразило, что они, бизнесмены, бывают «такие». Что совершенно не соответствуют невесть откуда взявшемуся стереотипу о современных благополучных людях. Раньше ему они почему-то казались высокомерными, фальшивыми насквозь, с холодными циничными глазами, неспособными на милосердные мысли, помощь, интересующимися лишь бизнесом и доходом. А вместо этого он видел молодых ребят и девушек, неизменно весёлых, открытых, без отпугивающего козыряния «брендами и трендами», без снисходительного акульего взгляда, – но вполне искренних, которые много улыбались, смеялись, обладали своеобразным умным чувством юмора и вели восхитительную жизнь: разъезжали по заграницам, учились престижным неведомым ему вещам, – и он себя почувствовал древним стариком по сравнению с ними, хотя по возрасту почти их не опережал. С ними было легко, приятно, всё получалось. Страдал он лишь из-за себя, за своё неумение «вот так» легко работать, общаться, ездить на машине, радоваться, хохотать до упаду, легко знакомиться, легко прощаться, легко забывать, легко вспоминать.

Сияющий белоснежными зубами и ясными разумными глазами друг заезжал к ним, один или с приятелями, взбадривал, звонко радостно спрашивал: «Как дела?» и невозможно было ответить «да как-то…», а само собой вылетало оптимистичное прыгучее «отлично», и у него мигом пропадало ощущение, что он какой-то «неправильный», что он «не вписывается». Впрочем, понимал, что им, в сущности, нет до него дела, оттого они так любезны и безмятежны, – часто ведь возникает безграничный позитив при беседе с малознакомым человеком, с которым не предстоит долго общаться. Цветущий предприниматель со всеми был стандартно счастливый, а из-за начисто отсутствовавших внутренних мук и переживаний, даже казался со стороны прекрасным инопланетянином. Но себя «таким» он вообразить не мог. Молодые бизнесмены радостно трудились сутками и развлекались, а он сосредоточенно ничего не делал и терзался, словно был слеплен из другого вещества.

***

И вот тут-то, очень вовремя, столкнуло его с Елисеем, случайно, в зелёном московском автобусе, когда он ездил получать очередную справку для продолжительного выезда за границу. И жутко неловко ему стало перед Елисеем за свой «отпуск», за то, что он забыл о нём, единственном друге, – и не заставил себя забыть, а именно из-за рассеянности забыл по-настоящему. А тот ещё так наивно и искренне обрадовался, не то что раньше в предыдущие суетливо-нервные встречи, и бросился изливать душу, как всегда о важном, философском или религиозном, а он не понял вообще ничего, и когда тот спросил его о чём-то, уставился как баран на новые ворота. К счастью, Елисей сам и выручил:

– Да, это, конечно, сложный вопрос…

Говорить о чём-то нужно было, и тогда он поинтересовался у Елисея, знает ли он, когда у него случилась та незаметно пролитая «капля», которая жизненно важна, может ли он что-нибудь

навскидку сейчас сообразить? Тот думал долго, видимо, к себе он подобные теории был применять не мастер. А потом тихо сбивчиво начал рассказывать, и он так заслушался, что не заметил, как они оказались дома у Елисея, будто само собой разумелось, что если уж они встретились, значит, он обязан пойти к нему в гости.

И вот Елисей описал ему, как попал однажды в театр, специально поставив целью побывать там и с новыми мыслями, впечатлениями вернуться домой, чтобы что-то обдумать, принять, что-то самое главное решить.

– И я очень тогда страдал, точнее, думал, что страдаю, я вообще себя привык считать не понятым миром великим страдальцем, даже когда ещё не болел или не знал, что болею. И я мучился от каких-то противоречий, сложностей, и, естественно, меня предала первая любовь (и последняя! – как-то зло вставил он), и начались проблемы, одна другой круче: близкий друг – наркоман, разборки, поиски смысла жизни, в общем, я впутался в конфликтную, даже местами опасную историю, было мне больно, нервно, и вот я однажды пришёл в театр! Я вообще не театрал. Знаешь, некоторые святые очень резко о театре отзывались, Иоанн Кронштадтский, например, – говорили, что в театре пустота и вред. Может, оно и так, не знаю. Так вот, я попал однажды в театр на спектакль, да не просто посмотреть как зритель в зале, а ещё и пробраться за кулисы вместе с приятелем Богослова, народным артистом. Ну и вот, я его, артиста этого, упросил, чтоб он мне изнутри театр показал, и меня пропустили с ним. Я пробежался, увидел скрытый мир актеров, как они суетятся, острят, хохочут, кто текст повторяет, кто сидит серьёзный, кто болтает о ерунде, разные такие люди, – они в тот вечер давали «Три сестры» Чехова, мой знакомый играл Чебутыкина. А поскольку я тогда смысл жизни искал, то Чехова очень даже знал, то есть, я не просто так туда шёл, а именно с целью, с устремлениями, чтобы идеи, суть разобрать, готовый уже поплакать, и нарочно накануне перечитывал пьесу, и думал, совпадёт или нет постановка с моим пониманием?

Ну и, словом, походил я там и за сценой, и по гримёрным, и какие-то технические конструкции мельком поглядел, костюмы, декорации. А в целом ощущение от театра осталось, что там всё лестницы да коридоры длинные, да ещё буфет. У него особенно-то не оставалось времени мне экскурсии давать. Так вот, пора мне идти в зал, а я его умоляю, можно, мол, я из-за кулис посмотрю спектакль. Уж очень мне захотелось почему-то себя тоже актером почувствовать. Я даже мечтать стал, вот если б сейчас какой-нибудь исполнитель заболел, лучше всего, конечно, Тузенбах, а я бы как вышел, да как сыграл вместо него! Актёр этот мне сначала возражал, не положено, дескать, тут находиться, запрещено, но как-то в общем я его упросил, он только пошутил, смотри, мол, на сцену случайно не выскочи, и никому другому не мешай, когда выходят. Ну и, когда спектакль начался, привёл меня туда, поставил и оставил.

И вот это такой был удивительный для меня момент в жизни, передать невозможно, я очутился сразу между трех миров: там, за сценой актёры, на сцене актёры, но уже совсем другие – персонажи, и мир этот Чехова «Трёх сестер», и еще целый зал зрителей, который я краем глаза тоже наблюдал. Ух, и заметался же я между тремя этими мирами! Это такое фантастическое ощущение, понимаешь, меня-то ни в одном из трёх этих миров не существовало, и в то же время сразу три мира я вокруг чувствовал. Это так странно: будто без тебя сразу три великих грандиозных праздника, а ты всюду лишний, и даже для зрителей зритель. И это так на жизнь похоже, так символично, ужас просто! Когда ты спектакль из-за кулис, будто в щёлочку, подглядываешь, ты не герой, не участник, ты совершенно никто, а сопереживаешь сразу всем, и сразу со всеми, и абсолютно всем посторонний. И так меня переполнило чувство одиночества, совершенной заброшенности, – я ведь не присутствовал ни в одном из трёх миров этих, в каждом из которых люди были связаны своими какими-то отношениями, разговорами или молчаливыми

переживаниями, эмоциями, мыслями, – будто совсем земля из-под ног ушла. И я тут вдруг ещё вспомнил своих друзей, наркомана того, влюблённость без взаимности, ревность, церковь, маму, армию надвигавшуюся, ну, короче говоря, вот она, вся моя жизнь, как на ладони, и она тоже, казалось, совсем не моя, далёкая-далёкая, и я в ней был чужой, закулисный, заброшенный, потерянный. Я понял, что меня вообще нигде нет. И я даже не умер, потому что меня и в смерти нет, нигде я не числюсь. Что все эти друзья, влюблённость и даже мое отношение к церкви, и Богослов – это тоже свой театр, в котором я участия-то не принимаю! То есть жизнь-то театр, но люди не актеры, нет, а такие вот одинокие закулисники. Она вся мимо, совсем вся, даже когда мы горим чем-то, всё равно всё мимо, не нам всё, не нам! А нам совсем ничего, мы как бы совсем без прав, совсем ни с кем, даже не глядим вместе с другими на тех, у кого что-то есть.

Словом, я так этим чувством переполнился, что в антракте убежал, не стал смотреть до конца спектакль и мигом забыл свои заумные концепции про Чехова, всё меня преследовало ужасно непонятное ощущение, что сколько бы я ни бился, ни думал, ни молился, ни влюблялся – а всё не мне, будто сетью ловить воду. А кому – тоже непонятно, потому что вроде и не Богу, Ему-то зачем серенькая моя непутёвая жизнь? Пришел домой, вижу маму, и думаю, ей, что ли, это всё? Наверное, я для неё такой, закулисный, ей одной нужен. Ничего не говорю, а она улыбнулась ласково, будто меня услышала, поняла, – будто, и правда, всё, что у меня в жизни было, только для неё одной... Так странно. Она была в тот вечер отрешённая, задумчивая, тихая, а тут я подумал, что всё – ей, и почему-то сам успокоился. Сразу так, резко успокоился, будто бы она для меня всё это где-то сбережёт. Ну, в сердце своём, что ли, не знаю, – и потом, когда мне этот «закулисный я» нужен вдруг будет, не знаю для чего, но нужен, – вдруг вытащит и отдаст вместе со всей своей любовью. Невероятно, да? Я даже сейчас не очень понимаю, что тогда имел в виду, но я понял, что она меня самого для меня же сберегает. Вот у меня важнее этой капли ничего в жизни не было.

Да уж… Ему-то померещилась было лёгкая красивая жизнь под плеск волн и шорох пальм, без переживаний, размышлений и поисков, а тут… Волей-неволей ко всему прочему пришлось вспомнить собственное «безмамовое» детство.

– Кстати про искусство! – перескочил по обыкновению Елисей. – Ты не знаешь, почему людям не приходит в голову молиться за классиков? Ну, композиторов, например, писателей, художников? Вот мы читаем всю жизнь Пушкина, думаем о его героях, сочинения в школе пишем. Но почему никто не говорит при этом: «Упокой, Господи, душу раба твоего Александра»? Все помнят Раскольникова, Соню, рассуждают даже про воскрешение Лазаря, но готов поспорить, что в церковной записочке никто раба Божия Феодора и отца его, раба Божия Михаила не напишет! Поразительно, но ведь, скорее, за эту самую несуществующую Соню захочется молиться, а за Феодора неприлично даже как-то… Нам подсознательно кажется, наверное, что молитву заменяет эта самая «живая жизнь» его произведения! Или память! А разве такое говорил кто-то? А если не заменяет? Вообще тогда ужас: все, все знают, и никто не молится! Потому что это неловко и странно, и вообще так не положено! Они нам суперменами какими-то представляются, с вознёсшейся «главою непокорной», а они были на самом деле такие же люди, не святые, не праведные, некоторые довольно даже порочные! Впрочем, если подумать… – иронично добавил Елисей после небольшой паузы, – они ведь тоже вряд ли за читателей молились, когда писали…

Он только глазами стыдливо заморгал, поскольку о молитве знал так же мало, как и об имени Достоевского, но при этом, в самом деле, Раскольникова с Соней помнил, «как живых».

– А это хорошо, что ты спросил про «каплю»! – вдруг встрепенулся Елисей. – Вот не спросил бы, я бы не смог тогда отдать. Это пять копеек, но лучше пять копеек отдать, чем ничего.

– А?.. – отвлёкся и вернулся он. – Пять копеек?

– Понимаешь, есть люди, с которыми мы всегда рука об руку. Мы их любим, мы им каждый день себя отдаём. Но однажды нам Господь дарит нового друга. «Твоего» человека, нового, и он перед тобой, как младенец, он про тебя ничего не знает. И ты ему ещё ничего не отдал. А всегда есть, что отдать хорошего, чем поделиться. И вот подумай, одному каждый день, а другому совсем ничего, а он тоже – твой. И любой человек – твой, которого тебе Бог посылает, поэтому мы все миллионные должники, потому что мы ничего не умеем отдавать, и не хотим отдать даже той капли, которую можем, потому что нам и её жалко. Никто не учит, как правильно отдавать! – гневно сверкал юркими угольками Елисей.

«Так ведь что там отдавать, одна глупость?» – неуверенно подумал он.

– А я точно теперь знаю, что самое-самое важное и сокровенное, нужно не таить. Нужно как угодно, даже в самой нелепой форме и самому малознакомому дарить, если видишь, что он для тебя, потому что всякий внезапный человек – это от Бога подарок.

Он вспомнил, как на днях на него в темноте у магазина неожиданно навалился пьяница, прося денег и напугав его до смерти, и с сомнением глянул на курчавую голову Елисея.

– Мы-то всё таимся, скрываемся, потому что другой нас, видите ли, не поймёт, потому что «мысль изреченная есть ложь», а не догадываемся, что нашего-то ничего нет, ничего такого, что для нас только. Ты хоть раз попробуй отдать это «самое сокровенное», рассказать о нём, ты тут же увидишь, как ничтожно его в тебе мало! Да, это я по себе вижу! Мы все мыслители великие, святоши, глубинные делатели и гении, пока молчим! А ты один раз попробуй говорить, – тебе сказать будет почти нечего, потому что ты пуст! Это тебе казалось только, что ты высокий и непостижимый, а один раз рассказал о своём, внутреннем, тайном, – и понял, что ты дурак дураком, что ты на минуту себя подарил, а больше дарить нечего, и сбегать со стыда приходится…

Он в ту встречу так про Кипр и не сказал Елисею и отчалил, смущённо попрощавшись, впрочем, Елисей сам смутился.

11

На Кипр они всё-таки переехали. Там целый год провели в резвых хлопотах и необременительных, почти приятных из-за ласково-темпераментного климата трудах. Опьянело кружилась голова, и дух захватывало, хотя с виду жизнь текла прозаично и утомительно: выполняли скучную домашнюю работу, возились в саду, где вперемешку росли древние оливы, молодые гранаты, ярко-оранжевые кактусы и овощи с цветами, много времени проводили с больной старушкой, которая хотя и не была прикована к постели, но внимания требовала постоянного, докучала разговорами о родной земле и, как полагается больным старушкам, увлечённо рассуждала о политике, а ещё просила читать ей детективные романы, готовить по специальной «жидкой» диете, трижды в день убираться, в общем, «низкое коварство» царствовало во всей полноте (различные цитаты всплывали в его голове часто, как отдельные яркие пятна, которые он не знал, к чему или к кому отнести).

Детей-подростков он вначале побаивался, старался не встречаться с ними. Они казались взрывными, дурными, бешеными, хохотали над ним и нарочно подстраивали козни, как бывало раньше в детском доме, ходили запущенными, дикими, лохматыми, грязными даже, и его удивляло стоическое спокойствие таких приличных и высокомерных родителей при подобном резком шумном поведении детей, которые не делали успехов ни в чём, кроме хулиганства. Но хозяйка, или «мадам», как называла её она, объяснила, что к детям на Кипре отношение очень доброе и лояльное. «Воспитывать, наказывать, запрещать тут не принято, нужно, видите ли,

уважать особенности каждого возраста», – это потом раздражённо разъясняла ему она, очищая его джинсы от жвачки, которой дети зачем-то их перемазали. Впрочем, позже он привык к ним, даже подружился, и не такими уж они оказались на поверку глупыми и бездушными, как вначале представилось. Воспоминания детского дома поулеглись.

Как яростно, голодно и хищно бросились они в море, которое плескало в двух шагах от дома, – подобной фантастике они бы раньше не поверили. Вначале им невероятно нравилась сильная жара: поражая всех, они разгуливали по солнцу в раскалённые летние часы, когда в тени термометр прыгал до сорока градусов, – просто «из романтизма», потому что уж очень это было необычно, особенно при мысли, что дома сейчас не больше пятнадцати тепла. Последствия таких прогулок, разумеется, обнаружились печальнейшие: они не только до багровых ожогов обгорели, но однажды она посреди дороги повалилась в обморок, а у него периодически стало темнеть в очах – даже в комнате под ледяным кондиционером, и он хватался одной головой за голову, другой за сердце.

Но всё это считалось пустяками на фоне беззаботного счастья, которым они наслаждались. Часто знакомились с русскими туристами, которых тут было хоть пруд пруди б*о*льшую часть года, и гордились своим превосходством, свысока поглядывая на тех, кто приезжал отдохнуть всего-то на неделю – две. Они научились ужинать в ресторанах и не экономить каждую копейку. Они даже однажды «просочились» вместе в ночной клуб, но он отчаянно испугался буйного развратного веселья и в страхе сбежал, она же протанцевала всю ночь, а утром её привезли пьяную и довольную какие-то кипрские молодцы.

***

Со временем они разделились. У неё понеслась знойная темпераментная жизнь с романами, загулами, конфликтами. Она уже и тут всех называла негодяями и подонками, кому-то назойливо звонила, с кем-то бранилась, с кем-то квохтала грудным сексуальным басом, потом поругалась с «мадам» и устроилась на работу в русский магазин, – благо, их тут рассыпалось множество, – затем ушла и из магазина и вообще переехала в западную часть острова, звонила ему оттуда, кричала в трубку, что он лох и неудачник, вкалывает даром, дескать, их надули, и за работу «меса», то есть «внутри дома», тут отстёгивают в пять раз больше, а он был готов даже бесплатно трудиться, лишь бы не лишали его радости греться на коварном палящем солнышке и дышать терпким морем.

К сожалению, без неё он один всем домом со старушкой и подростками управлять не мог, «мадам» быстренько нашла ему замену – бодрых молодожёнов, прилетевших из Оренбурга. Но его благородно не выставила на улицу, как он того ожидал, а дала рекомендацию, с которой он моментально устроился в другое место, переехав из Ларнаки в Лимассол, где ему понравилось ещё больше, потому что там не было грубых подростков, а всего-то жила одна пожилая пара киприотов.

Пришлось ему поучить греческие слова, но трёх месяцев, проведённых в доме «мадам», хватило, чтобы запомнить кое-какие выражения, вообще же тут считалось допустимым объясняться и жестами, и он легко понимал своих добродушных, казавшихся подарком судьбы, старичков-хозяев. Они были резковатыми, крикливыми, у обоих от возраста сделались трескучими, несколько визгливыми голоса. Привычка громко эмоционально разговаривать его порой раздражала, но это, пожалуй, являлось единственным недостатком, в остальном же они оказались милыми, приветливыми, сердечными людьми. Их не приходилось развлекать и ублажать часами, цедя вежливые фразы, они довольствовались обслуживанием нехитрого хозяйства, и тем более их устраивал его микроскопический гонорар. Спал он в крохотной комнатке без кондиционера и телевизора, ничего не просил, ни на что не жаловался.

***

Через год экзотическое очарование ему поднадоело. Поначалу на радостях и счастьях он не думал ни о Елисее, ни о старике, ни о Даше-нельзя, ни о всей пережитой нелепой и неловко завершившейся истории, ни уж тем более о том, чтобы искать тут пресловутого Богослова, адреса которого Елисей не сообщил, так как сам не знал, равно как и кипрского номера телефона. Вообще, когда он всё-таки позвонил Елисею перед отъездом и с неуклюжими паузами виновато раскрыл правду про надвигающийся Кипр, тот молчал-молчал, – и ему застрелиться хотелось, пока тот молчал, потому что он чувствовал себя предателем, – молчал-молчал... А потом тихо так сказал:

– Ты меня прости.

– За что? – опешил он.

– Так. Я что-то про тебя выдумал себе. Конечно, поезжайте. На Кипре много святынь, помолись за меня и за… за всех, – это «за всех» он выдавил так неуверенно, будто совсем не представлял, кого именно имеет в виду. Ну, а затем на его спотыкающиеся расспросы объяснил, что информации о месте пребывания Богослова у него нет, и «может, он уже не на Кипре, а в Греции, на Кипре ведь даже семинарии нет…» На этом всё и кончилось. А потом – перелёт, море, пляжи, радость и головокружение.

И вот год промчался или чуть больше, и за это время он ни разу даже не собрался помучиться, подумать о чём-нибудь глубоком или воспарить, или сделать вид, что философствует, но вдруг он однажды вспомнил, как Елисей просил его помолиться. Пришлось признаться себе, что делать этого он не научился. Что-то мешало всегда. Странно как-то казалось говорить «в небо», и что говорить? Никого же в комнате нет, кроме него…

Нет, опять не то. Он как бы всё время помнил и носил в себе монастырь святого Саввы и обугленный обрывок, и пророка Захарию, и «мирного» Николая Японского… Он и Новый Завет опять переворошил, и молитвенник читал иногда. Читал, как книгу, и его не смущало, что он не понимает смысла, ему просто нравилось чувствовать новое – невыразимое, неуловимое, ласковое… Но это получалось не нарочно, мимоходом, тогда удавалось не спугнуть беглый отблеск радости. А если он брался специально, то тут же становился угрюмым, рассеянным, и непременно думал или об Австралии, или о садовых инструментах в сарае, или о кошках, которых тут водилось невероятно много – они были всеобщие и ничьи... И ему обязательно каждый раз вспоминался случай, когда он, уже работая здесь, в доме «мадам», полез спасать кошку.

***

Это глупое мохнатое создание прокралось в дом подкрепиться, а потом соскочило из окна второго этажа на крышу крыльца и орало, как сумасшедшее, боясь спрыгнуть вниз, и не имея в то же время возможности забраться назад в окно, потому что оно располагалось слишком высоко, а стена оказалась неумолимо каменная, белая и гладкая. О, это был бесценный опыт общения с кипрской кошкой, который он запомнил на всю жизнь! Его доброе мягкое сердце не могло вынести её душераздирающих воплей, – он бросился на помощь. Вначале пытался приманить её сметанкой, свисая по пояс из окошка, чтобы она образумилась и как-нибудь всё-таки сиганула наверх, к нему. Потом, увидев, что ей в любом случае не справиться, решил протянуть вниз из окна дружественную руку, чтобы она по ней взобралась к подоконнику. Он готовился даже понести жертвенный ущерб в виде царапин. Но она, конечно, не поняла и продолжала орать. Что оставалось ему делать?

С трудом сообразив, как открывается окно, он распахнул его настежь и слез вниз, на крышу крыльца. Он думал, что благодарное животное само бросится к нему в объятия и радостно облобызает своего вызволителя. Не тут-то было. Кошка смотрела на него злобно, подозрительно.

Едва он приблизился к ней, зашипела и резко мяукнула – гневно, даже угрожающе. Тут он в неловком ужасе заметил, что несчастная ко всему прочему, в интересном положении. Он почувствовал себя ответственным уже за спасение целого кошачьего семейства. Кто знает, быть может, где-то их сейчас поджидает худой облезлый отец и не находит себе места, беспокоясь о здоровье супруги и будущего поколения?

Он уговаривал мурку пойти к нему на ручки, задабривал её комплиментами, но упорное загадочное сердце не дрогнуло, и она продолжала ругать его во всё своё кошачье горло. Наконец он потерял терпение и пошёл на абордаж. Кошка заметалась по четырём углам огороженной крыши, не переставая грозить жестокой когтистой расправой. Он и сам был уже готов орать вместе с ней, но на беду никого не осталось в тот час дома, кроме недужной бабушки. В конце концов, он изловил животное и спас, не смотря на его яростное сопротивление – буквально зашвырнул в окно второго этажа, отерев со лба холодный пот.

На этом история не закончилась. Кошка оказалась не домашней, как и большинство местных кошек, которых на Кипре повсеместно было принято подкармливать, если они забегали во двор, но не зазывать в помещение и не оставлять жить. И теперь бестолковое животное засело в углу коридора, неодобрительно озираясь, не зная, куда двинуться дальше. Боясь, как бы оно не вздумало повести себя неаккуратно, он убеждал кошку спуститься по лестнице вниз, на улицу, но она угрюмо сидела в углу, воинственно расставив усы, и никуда уходить не собиралась.

Потратив еще минут двадцать, на то, чтобы изловить её в коридоре, он схватил её, голубушку, за шкирку и затащил в лифт, который невесть для чего существовал в трёхэтажном коттедже, поняв, что час освобождения пробил – уже, разумеется, для него, а не для кошки. Но пока лифт опускался со второго этажа на первый, хоть это и длилось несколько секунд, он пережил кульминацию события, из-за которой начисто забыл про свой страх замкнутых пространств. Кошка, оказавшись на полу закрывшегося лифта, взглянула на него с таким презрением, и возопила так выразительно, что он понял всё, что она хотела сказать, хотя она и мяукала на чистом греческом.

Он познал за эти несколько секунд, что не то что в нём самом, а, кажется, в большинстве русских людей нет столько свободолюбия и понимания своих прав, сколько сосредоточилось в одной этой кипрской кошке. В её воплях выразилось столько искреннего возмущения, что её, самодостаточную полноценную индивидуальность, посмели коснуться, посмели посягнуть на её независимость, посмели заключить в гнусную кабину, столько гневного протеста, столько свирепого требования немедленно выпустить из металлической коробки, столько угрожающей готовности до смерти бороться за свою волю, что он сжался у ряда кнопок в единый ком, готовый обороняться, и еле дотерпел мгновения, пока двери наконец открылись, и дикая красотка выскочила на улицу.

***

В общем, едва он брался за молитвослов, он вспоминал этот случай и многое другое, мысли разлетались подобно мыльным пузырям из детского пистолета в разные стороны. И дело не только в мыслях… Тут было что-то необъяснимое, – его очень тянуло туда, в светлую неизвестность, но он будто сам оттягивал момент радости, боялся его не угадать, и уже совсем отвлекался, разглядывая лежавший на диване туристический буклет, манивший «уникальными археологическими парками» и «зажигательными вечеринками на пляже», – надеялся, наверное, что как-нибудь оно «само»…

И вот он вспомнил Елисея, его тихую просьбу помолиться, засомневался, задёргался и, нервно поморгав, решил, что логично пойти в место, где хотя бы другие умеют это делать, авось, и у него получится. Церкви тут встречались на каждом углу.

Первое посещение храма сильно озадачило. Его насторожили ряды откидных деревянных кресел, каких нет в России, в то же время он понял, что стоять в проходе между ними не принято, но кресла эти однако чем-то ему не угодили, и он решил всё-таки целиком службу упорно стоять, подняв сиденье, и лишь в случае усталости опереться на подлокотники.

Да не получилось. Таинственное греческое бормотание и странное жутковатое однотонное пение привели его в совершеннейший мистический ужас. Вылетели не только мысли о Елисее, но и вообще любые мысли, и он, как в детстве, стал проваливаться в пустоту, будто загипнотизированный. Внешне это сопровождалось тем, что он упал на стул и откинул на бок голову, поддерживая её рукой, потому что она стала свинцовой. В итоге он не то что не простоял, а буквально пролежал всю службу, не поднимаясь даже тогда, когда поднимались все как один киприоты, с шумом и грохотом хлопая деревянными сиденьями.

Ушёл оттуда, когда всё завершилось, обессиленный, напуганный, жалкий, мистифицированный, и только одна мысль крутилась, когда он брёл на тряпичных ногах: «Всё забыл, всё забыл, а всё же есть, всё есть!..» И он механически жевал зёрна с орехами из бумажного пакетика, который дали ему на выходе после службы. И понимал, что просто необходимо прямо сейчас, сию секунду, позвонить Елисею!

Сия секунда мучила его два дня, и он никак не решался, не зная, что нужно говорить Елисею, о чём спрашивать, хотя наперёд пребывал в уверенности, что Елисей сам затараторит и собьёт его с толку, и всё станет легко, хотя и непонятно, нужно будет только слушать и радоваться, а потом обдумывать наедине с собой. Он два дня готовился, размышляя об ужасах и чудесах, наконец, записал в блокнот кое-какие вопросы, чтобы не забыть от смущения, и позвонил.

***

– Елисей… умер, – сказала в трубку женщина. – А кто его спрашивает?

Потом был разговор с большими паузами. Это оказалась мама Елисея, та самая, которую он не видел, а только слышал. И теперь он её слышал. Голос звучал так красиво, с отрешённой тихостью и безразличной усталостью.

Он мало что понял. Елисею делали операцию, пересаживали донорские клетки, для этого приезжал родственник из Белоруси. Потом этот же родственник пригласил его под Полоцк, и Елисей жил на природе у небольших цветущих прудов и сосен, помогал в Свято-Евфросиньевском монастыре. А однажды ему стало плохо, его увезли в больницу, сначала в минскую, затем в московскую. И он там умер. Сложные слова и медицинские термины, которые говорила мама Елисея, он не запомнил. Только записал, где его могила, она оказалась в Подмосковье, и… молчал, молчал... Она тоже сказала, чтобы он о Елисее молился. И тоже молчала. Так ни на чём разговор и закончился.

И он сидел, глядя в пол, и опять долго молчал. Плакал, конечно. И удивлялся. Удивлялся и не верил, что Елисей умер. Разве мог умереть тот, кто так верит? Он читал необыкновенные истории, как верующие люди молились и исцелялись от рака, и от чего угодно. У него странно про исцеления отложилось в голове, – он не думал об этом, но словно всегда уверен был, что те, кто верят, ходят в церковь, говорят о прекрасном, как Елисей, – с ними происходят чудеса, и они обязательно выздоравливают, даже если врачи бессильны. А тут и медицина-то обещала ему восстановление, – Елисей упоминал, что у него лёгкая форма, не запущенная, что и совсем она излечивается, и уж во всяком случае, жизнь продлевают на десятилетия, а чтобы так, за год… Он, впрочем, признавался, что жить не хочет, но мало ли как абсурдно мы порой думаем. Нет, Елисей позже уже – захотел. Он даже рассказал ему той ночью, как однажды в обморок упал, и когда приходил в себя вспомнил, что что-то кошмарное там видел.

– Где, там? – спросил он.

– Ну, там… после, – пояснил Елисей. – Там как-то… холодно. Нет, совсем неинтересно умирать…

Впрочем, кошмарами с ним лучше было не делиться, своих хватало. Он почувствовал при последнем том разговоре, что Елисей был серьезным, тихим, и уже хотел жить, мечтал победить болезнь, и уж точно верил, что сможет, он-то умел верить. Да ещё так. Необычно. И вдруг всё кончилось. Странно. Невероятно. Чудо, оказывается, в том, что он умер. Грустное чудо… И такое внезапное. И ни разу не связался с ним, ничего не сказал, ни до операции, ни после, ни из полоцкого монастыря. А ведь, наверное, сколько он там нового пережил и передумал в монастыре, как только он, Елисей, умел переживать и передумывать.

Умер… А ему-то казалось, что Елисей всегда будет рядом, в любую минуту позвони, и он начнёт что-то торопливо объяснять в своей Елисеевой манере, захлёбываясь, перескакивая с одного на другое… Он испугался собственного громкого всхлипа, и мысли снова потерялись. В голове стоял звон, весна и какой-то полёт стрижа, и он потом уже рыдал в подушку, долго, и ужасно болела голова, и не мог слова сказать перепуганным старикам-киприотам, которые ничего не понимали, но утешали его, поили водой, гладили по голове и плечам. Наконец он выдавил: «θάνατος, θάνατος, πέθανε…»[1], и они закивали головами, и ласково говорили с ним и между собой, указывая ему на маленькую икону Панагии, которая висела над столиком без рамки, а после вышли, похлопав его по спине, и оставив сидеть сгорбленным, с распухшим носом и глазами.

Потом он лежал, зарывшись в покрывало, разбитый, уплывал в полусне, и ему очень хотелось увидеть Елисея. Он пытался представить себе его лицо и не мог, а только почему-то воображались лошади, много разных лошадей, всех мастей, на каком-то воздушном зелёно-голубом поле, он знал, что Елисей близко и тоже видит лошадей, и что Елисею, наверное, страшно нравятся эти лошади, но говорить с ним было нельзя, он только вдали слышал голос его матери, такой, как дуновение, неуловимый, задумчиво-отрешённый, печальный, необъяснимый, ласковый… А потом вместо лошадей появились лодки в хрустальном переливавшемся светло-медовыми оттенками утреннем море, и неведомые цветы росли прямо из пены, и Елисей опять был где-то рядом и уже говорил, но не торопливо и возбуждённо, а так удивлённо-удивлённо и почти спокойно, и не вслух говорил, а мысленно, и он его не ушами слышал, а тоже мысленно или внутри сердца. И Елисей сразу знал все его вопросы, поэтому ему не нужно было спрашивать, его слова раздавались ясно, просто. «Теперь я понял, что всегда спал, и только тут проснулся. Нам кажется, мы просыпаемся, когда приходим в церковь, когда мы молимся, когда ездим к святыням, когда чувствуем помощь и хоть какие-то грехи побеждаем, – в общем, когда коснётся нас любовь, – но всё это ещё сон, светлый, ласковый, восторженный, а настоящее пробуждение то, что смертью называют. И ни с чем другим смерть не сравнишь, как с пробуждением.

И это другое пробуждение, новое. Резкое, внезапное. Я испугался, ужасно испугался, когда проснулся. Потому что всё стало по-новому, будто в ледяную воду, как в солнечной монастырской купальне ранней весной, – и туда, назад, в привычное, тёплое, дороги уже нет. А сам-то думал, что совсем не буду бояться смерти в миг умирания. Знаешь отчего? Оттого, что мне казалось, будто бы я её заранее отрепетировал».

И тут Елисей вдруг затараторил, как прежде, и они уже были не в лодках, а за столиком в открытом кафе, каких много на Кипре, вокруг царило оживление, доносился смех, разговоры на чужом языке, и они ожидали, что им принесут завтрак, а Елисей, как раньше, буравил его чёрными глазищами и говорил… «Это со мной случай произошёл: попал в путешествие по святым местам Италии, и вот когда мы подъезжали к домику Пресвятой Богородицы в Лоретто, там один

[1] (гр.) Смерть, смерть, умер…

из любимых моих её образов «Прибавление ума», я вдруг решил почему-то, что сейчас умру. Не знаю отчего, но только такое чувство овладело, что это обязательно сейчас будет. И я волновался в предвкушении, нервничал, молился неистово, пока мы на коленях обходили вокруг статуи, пока акафист читали. И мне становилось всё спокойнее. Наконец паломники из группы разбрелись, а я решил: вот, теперь, теперь настал момент. И я упал на колени, уткнувшись лбом в пол, справа, у коричневатой кирпичной стены, чтобы не мешать никому, словно положил голову на плаху, и думал, что сейчас всё случится.

И вот в тот момент, когда я совсем себя в этом убедил, я вообще перестал волноваться, я титанически сделался спокоен и только поражался своему спокойствию. Думал, что буду испытывать животный ужас перед смертью или восторженное ожидание рая, или увижу жутких демонов, или вспомню тысячи грехов, забытых на исповеди. Нет, я не томился и, кажется, мог пробыть целую вечность в ожидании, но только, почувствовав, что неудобно, наконец поднялся, не запланировано, нечаянно вроде бы, без смущения, а тихо, и в изумлении отошёл, поражённый, что вот сейчас, всерьёз собирался умереть и ничуть не боялся, наоборот, глотнул невероятной тишины».

И снова всё поменялось – теперь он уже один шёл по загадочному полупрозрачному лесу, будто пытался догнать Елисея и не мог, а только слушал… «На самом деле случилось не так, как в Лоретто. Вдруг случилось, я не думал о смерти, но тут – дёрнули, и я пробудился. Врасплох… Но, главное, мне тогда мой духовный отец помог, не понимаю как, но он всё знал, он всегда со мной, рядом, и тут сразу оказался почему-то…» – и проникновенный, задумчивый голос Елисея сливался с шорохом налетевших белых листьев и синих мотыльков, и шумом птичьих крыльев, и всё чуть покачивалось, и дышалось так легко…

12

Проснулся он ночью, с температурой, выпил воды, встал на колени, да как начал молиться! Он тут все глупости немедленно забыл, что не умеет. Как-то сразу заумел. Самое примечательное было, что он понятия не имел, о чём молился, – то есть в целом, он молился о Елисее, и чтобы ему там было хорошо, – но слова и мысли при этом лились такие бессвязные, что получалось как бы обо всём сразу, но зато вокруг одного какого-то главного стержня, который он в себе чувствовал.

И ему стало горячо, слёзы выплескивались потоком, и он откуда-то знал, что именно так нужно молиться. Было это непостижимо и ясно одновременно, и явилось в этом такое облегчение, словно он впервые снял с себя нудный расплывшийся давивший груз, который то ли нёс всегда, то ли почувствовал с того дня, как очутился в камере…

На другой день он, несмотря на задержавшуюся температуру, решил отправиться сразу по всем святым местам, которые только есть на Кипре, чтобы везде предаваться благочестивому образу жизни и трудам во благо монастырям и монахам. Чтобы понять, куда лучше идти, он позвонил «мадам», то есть своей бывшей русской хозяйке, сбивчиво рассказал, что у него умер друг.

– Лучший, – тихо прибавил он.

Русская дама, как выяснилось, совсем не была религиозна, с трудом вспомнила Киккос и посоветовала ему расспросить прихожан русского храма на Кипре, который, по счастью, оказался в Лимассоле, где он в настоящее время проживал. Туда-то он, не раздумывая, и отправился, забыв о работе и о добрых стариках-киприотах.

Смотрели на него в этой необычайно приветливой церкви, находящейся на отшибе города, дружелюбно, но… как-то странно. Тем более что он наотрез отказался принять участие в одной из многочисленных паломнических экскурсий, которые периодически проводились из города

Лимассол для русских туристов, а заявил, что пойдёт сразу по всем святым местам один, пешком, по лесам и горам, и будет ночевать на голой земле. И умываться дождём.

– Как средневековые странники, – добавил он для убедительности.

– На такой… подвиг вам лучше взять благословение у священника, – глядя на него недоумёнными мерцающими в тихом церковном освещении глазами, с сомнением произнесла женщина, которая чистила подсвечники. И он сбежал. Потому что не представлял себе, как может живой человек подойти к священнику, и что значит «взять благословение».

Но в целом поход в храм ободрил. Он уверил себя, что Елисей с ним и всё видит, перестал плакать, встряхнулся, надел чистую одежду, после чего настроение улучшилось. Решив брать пример со свободолюбивой кипрской кошки и во чтобы то ни стало воплотить свой горделивый замысел, он купил большую красивую карту острова и подробный путеводитель для русских туристов с описанием достопримечательностей. В этой-то самой книжечке он и прочитал о православных святынях Кипра, – их обнаружилось так много, что глаза разбегались без оглядки.

Но он не растерялся. То есть он очень растерялся, но, главное, моментально понял, куда следует отправиться. Потому что сразу среди множества святынь, мощей, икон, нашел одну, свою.

Он её узнал: все другие казались чужими, а эта – его. Она была такая… как та тусклая мерцающая лампочка, которая светила ему из коридора в камеру, когда он мучился тюремными кошмарами. Одна существующая во вселенной надежда. На освобождение. Он ещё даже не прочитал о ней ничего, только увидел, и сразу догадался, что именно эта икона Панагии, – как тут все называли Богородицу, – для него и даже отчасти про него, потому что единственно таким должно быть на Земле воплощение его сокровенной тайны, его любви, и нужно идти к ней, в горный монастырь, и больше ни о чём не думать.

Это он как-то сразу понял, только лишь взглянул на неё. А когда прочитал о ней и о монастыре, у него дыхание перехватило, потому что это был… нож. Икона так называлась «нож», или «Μαχαίρι» по-гречески. Или в другом варианте «Махериотисса» – что-то вроде «ножевая». И он вспомнил тот непостижимый момент, в монастыре святого Саввы, когда хотел оглянуться и осознал, что сзади отсечение… «Теперь наконец всё сошлось…» – уверился он и заново стал вникать в короткое описание.

Странное название возникло в честь обретения иконы в пещере. По преданию, она была написана апостолом Лукой, и в этом на Кипре, никто не сомневался, – он даже вспомнил, как ещё в доме «мадам» какой-то гость рассказывал про этот монастырь и апостола Луку, но он тогда урывками слышал, так как сервировал стол. После долгих перипетий в период иконоборчества образ из Константинополя перевёз неизвестный отшельник, который укрыл его в лесной пещере. Спустя три столетия, в двенадцатом веке, двум монахам, Неофитосу и Игнатиосу, Господь в видении открыл путь к иконе, и когда они подошли к пещере, густые заросли мешали пробраться внутрь. Однако рядом чудесным образом оказался нож. Они порубили кусты и нашли святыню. Сам этот нож тоже находился в монастыре…

Повосторгавшись, он поступил импульсивно. Проснувшись следующим утром свеженьким, полным энергии, он подмёл пол, съел яичницу и сказал старикам-киприотам:

– Πάω στο μοναστήρι του Μαχαιρά. Συγχωρέστε με,[1] – и беспардонно пошёл одеваться в дорогу.

Старики переглянулись, развели руками, о чём-то поговорили, эмоционально жестикулируя, и дали ему, дурачине, денег в дорогу. Пытались ещё расспросить, когда он вернётся назад, но он сделал вид, что не понял. Они, впрочем, успокоились, заметив, что он совсем не взял с собой вещей, это ведь значило, что он возвратится скоро. Принесли ему

[1] (гр.) Иду в монастырь Махерас. Простите меня.

просторную кофту крупной вязки, убеждая, что вечером, дескать, в горах «κρύο».[1] Он от их щедрой наивности смутился, так как в глубине души подозревал, что уходит навсегда, но деньги и кофту беззастенчиво взял, поблагодарил, перекрестился, вспомнив, что он теперь таинственный скиталец и пилигрим, и отправился.

***

До конца Лимассола он честно дошёл пешком. Устал невероятно, потому что идти при сорокоградусной температуре вдоль пыльного раскалённого шоссе оказалось… некомфортно. Разжаренный, томный, безучастный к роскошной претенциозной пальме, к которой он для передыха прислонился, обливаясь потом, решил, он, обмахиваясь рекламным журналом, пообедать в дешёвом кафе на краю города. Плюхнувшись за столик и наевшись, растерял остатки романтического настроения, желания сносить тяготы с невзгодами и мучиться за грехи. Это он ещё утром, пока был бодр, сообразил, что непременно должен мучиться за грехи, – мелькнуло в голове что-то давно случайно прочитанное. Он заныл. Поесть – поел, а вставать и идти дальше не хотелось, хотя жара уже отпустила, вечерело. Он сидел и допивал третий стакан сока, не решаясь ползти дальше, даже подумывая дождаться автобуса и с позором вернуться.

Но потом вспомнил про икону и даже не стал доставать путеводитель, чтобы лишний раз посмотреть на неё, так захотелось попасть скорее в монастырь. Поскольку из-за усталости он порядком оробел и сник духом, идти пешком и питаться дождём как-то резко передумалось, пришлось ловить машину. Далеко не сразу нашёлся желающий довезти до монастыря, потому что он располагался не близко, а денег достойных у него не водилось. Но согласился в конце концов один строгий пожилой водитель, который докинул его до гор. Дальше он выпрыгнул из автомобиля, поблагодарил и отказался ехать вверх, так как его уже укачало, а горный серпантин мог привести к неопрятным последствиям. К храму он решил честно взобраться сам, идя вдоль дороги, ориентируясь по указателям.

Солнце садилось. Ему представилось, что вечер проплывает мимо на бумажном кораблике. За время, пока красовался закат и порхали недолгие сумерки, высоко он не поднялся. Его опьянил горный воздух, очаровали кедровые леса и открывающиеся распростёртые зеленые равнины. Он глазел, дышал соснами и беззвучным великолепием, решил не торопиться – заночевать на мягких сухих иглах…

Это оказалась не лучшая ночь в его жизни. Мягкие сухие иглы были не так дружелюбны, как он ожидал, и впивались во всё, что только у него имелось. Кофта стариков сильно пригодилась, потому что ночью сделалось не то чтобы свежо, а не по-детски холодно. Летали и ползали вокруг него и по нему всевозможные насекомые. Вкусные пряные запахи редких трав и шуршащего суховатого мха в темноте стали надоедливо резкими. Что-то потрескивало, земля, несмотря на сосново-кедровое покалывающее покрывало, была твёрдой, деревья шумели не успокоительно, а тоскливо. В иной ситуации, он бы, пожалуй, нафантазировал и испугался до потери пульса жутких теней, пролетающих чёрных птиц, кровавых лун, но слишком много приходилось прилагать попечений о жалкой своей, ничтожной, ноющей плоти, чтобы тратить силы ещё и на страхи, и в конце концов эту самую плоть он уговорил уснуть ненадолго, а «с первым лучом солнца», приплясывая, бросился снова в гору.

На дороге, петлявшей и кружившей, он быстренько взбодрился, немного даже заулыбался и тихонько запел, радостно поглядывая на теплевшую утреннюю кипрскую природу. Мохнатые кедры тянули к нему лапы, тёмные кипарисы, удивительные ели с мелким редкими иглами, какие-то широколистные чудесные красавцы, которым он не знал имени, восхищали грациозностью, то и дело открывались с высоты изумительные масштабные виды.

[1] (гр.) холодно

Горы, как им и положено, были великолепны. Необыкновенными узорами росли на них пушистые деревья, которые издалека казались круглыми, похожими на барашков или свернувшихся ежей; дороги и тропинки украшали землю изгибами, его воображению рисовалось в этих узорах то морщинистое лицо, то бурливые водопады, то древняя война и чёрными шипами сыплющиеся стрелы, то цирковые жонглеры и акробаты, застывшие в полёте, то свитки, исписанные таинственными иероглифами… Всё это дышало, переливалось, было добрым, невинно чистым, доверчиво простым… Нежность уже щекотала его глаза и сердце, и он только замирал в ожидании момента заветной радости.

Вскоре он оказался на смотровой площадке, где стояла деревянная лавочка, и сразу увидел монастырь. Он узнал его не по фотографиям, а по тому, что таким только и мог быть «его» монастырь: небольшим, затаившимся в зелёных горах, крытым красной черепицей, с маленьким шестиугольным куполом храма, небольшой трёхуровневой колокольней, откуда сейчас же донёсся строгий мерный однотонно-скучноватый звон, и красиво выступающими из каменной стены здания белыми пристройками с окошками под самой крышей.

***

И вот добрался! Он прямиком пошёл к иконе, хотя не знал дороги и даже не подумал кого-то спрашивать. Нет, он просто ринулся вперед, замирая от волнения, будто сразу наверняка знал, куда идёт, на какое-то мгновение вспомнил о Елисее, тут же забыл и… безошибочно пришел туда, в храм. К «своей» Панагии.

Позже его удивило, что он не только не свернул никуда, но и не обратил внимания на точную, только более крупную копию иконы, которая находилась в притворе церкви, недалеко от входа. Нет, он пролетел мимо и сразу бросился вперед, к солее, направо, и… увидел. Её.

Конечно, он узнал её, хотя она выглядела не как на картинке в буклете, а помещалась в золотистой ризе, с бордовой занавеской. Всё смотрелось не так, как в рекламном описании, а прозрачно, стеклянно, таинственно, сверкающе… И он застыл, как мёртвый, – поверить не мог, что это с ним произошло, да ещё так стремительно, ураганно, неистово.

Позже, спустя несколько часов, он думал, что всего два дня назад его интересовало только море, местные лакомства и пляжи, а сейчас, или даже раньше, вчера, может быть, он уже навсегда решил забыть целиком свою жизнь, бросить всё, что у него было, даже голубей и тех маленьких деловитых птичек, которых он и тут навострился прикармливать, – и только оставаться здесь, у иконы. Но это он потом думал, а когда увидел её и подошёл, то просто замер, затаив дыхание, будто весь куда-то вылился, испарился, превратился в воздух и существовал отдельно от тела.

В храме шла служба, слева трое монахов читали, пели, клали поклоны, а он… стоял, стоял, как вкопанный, не заметив, когда успел опуститься на колени. И его… такой сладкой чистой болью пронзило. Что-то объяснить самому себе, понять, разобрать казалось невозможным уже никогда. Он не двигался и ни о чём не думал, а только беззвучно плакал, чувствуя, как слёзы вырываются из сердца, словно в нём родник прорвался, живой, прозрачный, тёплый, и бил всё сильнее, свободнее, сначала тоненькой струйкой, а потом шире, охватывая больше и больше пространства. Слёзы стекали по щекам, лились на рубашку, на грудь, на пол падали, и это освобождало.

Затем монахи закончили петь, положили по три поклона и удалились, а он всё не шевелился. Лишь когда в храме никого, кроме него, не осталось, и наступило звенящее солнечное беззвучие, решился, наконец, подойти к Ней. И подошёл. И прижался лбом к её руке. И опять его насквозь пронзило. И он опять долго стоял, как мёртвый, забывшись, ни о чём не думая.

Потом он услышал шум, понял, что кто-то вошёл в церковь, и снова занял прежнее место, пока приехавшая группа паломников пела молитвы и прикладывалась по очереди к иконе. А он

так чувствовал, будто Она только его, будто они не понимают, не знают чего-то главного, что он один знал. Паломники долго ещё молились, затем появилась другая группа и третья, а он так и не уходил, – стоял рядом, время от времени поднимая на Неё полные слёз глаза.

Потом, нескоро, снова стало тихо, все понемногу разошлись, а он опять приблизился к Ней. Взял нож, который висел за занавеской, прижал его к глазам, ко лбу. Хотелось тихо радостно исчезнуть от нового неиспытанного прежде беззвучного пронзительного счастья, от этой единственно настоящей, непостижимой любви. И он успевал ухватить лишь обрывки мыслей, которые появлялись, о чуде, страдании, о каком-то столпотворении, о смерти, о необъятности, и больше всего о благодарности за то, что с ним всё это происходит. Наконец, он поймал себя на ощущении, что не должен тут больше оставаться. Потрясение казалось слишком сильным, острым, болезненным, – удар «ножа» он почувствовал во всей полноте, и нужно было остыть, обдумать что-то главное, чтобы вернуться и заново это пережить.

Он ещё долго сидел у храма, ничего не соображая, потом стал хватать за руку проходившего монаха, забормотал сначала по-русски, причём сам не разобрал слов, которые произносил, потом уж по-гречески, отрывисто и умоляюще, заглядывая монаху в глаза:

– Μπορώ να βοηθήσω; Τι μπορώ να κάνω για σάς; [1]

Монах хоть и не сразу, но понял, что он ищет послушания, и направил его к другому монаху, и затем они, добродушно посмеиваясь, видимо, привычные к странностям гостей, отправили его к оливам на садовые работы.

13

И он зажил в монастыре.

Он постоянно пребывал в какой-то томной горячке и сонной лихорадке. Даже когда он совсем отдавался молитвенной тихости или ночному монастырскому беззвучию, то не переставал удивляться, как внутри всё кипит, меняется, ему казалась, что каждый день, даже каждый час он перевоплощается в кого-то до неузнаваемости. Он пытался постичь тысячи вещей, которых раньше не чувствовал; он смотрел, как ведут себя другие, и старался вести себя так же, часто не понимая вовсе, чем они занимаются. Он, чего там скрывать, наделал много ошибок и потом стыдился, впрочем, ему прощалось всё. Он уже в первый день решил, что останется тут навсегда, и только однажды съездит в Москву, чтобы продать квартиру и отдать всё, что имеет, потому что только так можно, только так нужно.

Он жадно ловил каждую минуту, чтобы постигать что-то сокровенное, читал те немногие святоотеческие книги, которые нашлись тут на русском языке. Потом, с удивлением заметив, что греческие буквы похожи на русские, довольно быстро научился читать и по-гречески, робко спрашивая помощи у других трудников, впрочем, только читать, потому что значения слов, конечно, не знал. Но он и тут не растерялся, и, схватив два Новых Завета, один на русском, а другой на греческом, стал сличать слова, и по капле, по капле, кое-что да понял, кое-что да выучил, и Евангелие наконец-то разобрал.

Говорил он, впрочем, совсем никудышно и неверно, способностей к изучению языков у него явно не доставало, и если бы в его руках оказалось качественное пособие для русских по греческому, он не понял бы грамматику даже с учителем, не то, что самостоятельно. Поэтому объяснялся маленькими фразами и отдельными словами, которые успел запомнить, работая у визгливых добродушных стариков. Возможностей общаться здесь не хватало, в монастыре люди стремились к безмолвию. Вот только церковные службы и молитвы были на слуху, но они звучали сложно…

[1] Могу я помочь? Что я могу для вас сделать?

Из-за языкового барьера он порой чувствовал себя не в своей тарелке. Относились к нему спокойно, уважительно, даже ласково, но довольно равнодушно. Бойкий старик, работавший в лавке, частенько над ним подшучивал, – не обидно, по-дружески. Никто ни о чём не спрашивал, а ему хотелось поделиться переживаниями, мыслями, новыми странными ощущениями, вот если бы Елисей оказался рядом… Теперь он, вспоминая его порывистые откровения, лучше понимал, что с ним происходило, что он имел в виду, не всё, но кое-что. И ему тоже теперь хотелось произнести какой-нибудь пламенный монолог, восторженно перепрыгивая с одного на другое, хотя, наверное, он бы растерялся и ничего не смог выразить.

Тогда он снова шёл в церковь и рассказывал обо всем Ей. Непременно поклонившись святым Мидосу, Неофитосу, Игнатиусу и Прокопису – основоположникам монастыря, он долго простаивал перед иконой на коленях и всем делился, внутренне, конечно. Например, о том говорил, что ему странно многое в греческой церкви: и пение казалось жутковатым – по-прежнему повергало в телесную слабость и хаотичную пустоту на грани беспричинного рыдания, и приезжавшие кипрские паломники отличались от русских, – так формально, например, некоторые крестились, даже не поднимая руки ко лбу, а лишь слабо помахивая кистью на уровне груди, будто пыль стряхивали с одежды, и женщины молились с непокрытой головой, во время службы разговаривали, а иногда преспокойно расхаживали по солее рядом со священником.

Кресла он по-прежнему хотел куда-нибудь вынести из церкви, хотя обойтись без них не мог – простояв минут двадцать, начинал сползать, слабея от ревущего исона. Монахи казались ему грубоватыми, очень строгими, хотя никто ни разу его не упрекнул, даже когда он сам понимал, что совершает ошибку. Больше всего он полюбил длинный канон, написанный на Афоне и исполняемый специально перед иконой Махериотисса, старательно кое-что заучил наизусть и тихонько подпевал, не зная значения слов. Греческий язык ему нравился до трепета, вдохновлял, но в лучшем случае он долго что-то вызубривал, подчас не понимая того, что запоминает. Это было красиво и словно расчищало в голове свежее пространство, неизведанное, исцеляющее, и он каждый день становился другим, обновлённым, что ли?.. Другим.

Однажды ему позвонила она. Долго хохотала, объявила его сумасшедшим, говорила, что это его «королевич Елисей» сбил с толку. Велела, чтобы, когда он бросит глупости и вернётся к «нормальной здоровой» жизни, пусть приезжает к ней, а то, она, видите ли, соскучилась. Обещала сама его навестить в монастыре и устроить там оргию, и он бросал телефон, пугаясь и потея от её кощунственных шуток. А она снова звонила и снова хохотала, называла его дураком, слабоумным, и в нём, несмотря на отвращение, подло шевелились самые что ни на есть естественные желания и пробуждались уснувшие инстинкты, ему было гадко и от себя, и от неё.

В конце концов, он отключил телефон, но эти звонки навели его на мысль, что он великий грешник, а на исповедь ни разу в жизни не ходил. Он уже начитался, что монах должен не только поведать о своих грехах и каждую мелочь вспомнить с самого рождения, но ещё и каждую мысль пересказывать, чтобы духовный наставник, которого у него тут, естественно, не было, сам за него решил, являлась ли мысль правильной или лукавой. Его, конечно, брали сильные сомнения по этому поводу, ведь мыслей пробегали миллионы, а священников мало, и времени пересказать всю эту околесицу попросту не нашлось бы, да и монахи вроде спокойно и сосредоточенно предавались послушаниям, а не бегали каждую минуту шептать игумену на ухо помыслы. Неужели они умели ни о чём не думать и только всегда молиться? Вот бы ему так научиться, мечтал он, делал мужественное усилие и не мог от напряжения вспомнить «Отче наш».

В результате первая в его судьбе исповедь была греческой и забавной. Он долго думал, как бы выразить бесконечные свои грехи за всю жизнь в нескольких словах, и придумал. Подошёл к священнику, поклонился, как другие, и сказал:

– Φονιάς, κλέφτης και ληστής. Μετανοώ.[1]

Священник чуть улыбнулся, так как про него уже все тут знали, что он чудак, но тут же строго посмотрел на него из-за толстых очков, выдержал паузу и спросил серьёзно и тихо:

– Τίποτα άλλο; [2]

Он пожал плечами и виновато улыбнулся. Ещё чуть подождав, священник наложил на него епитрахиль. И он в этот момент почувствовал себя кипрской кошкой, которую как личность уважают все, даже священники, как бы глупо и неправильно она себя ни вела. Потом уже, когда он отошёл к деревянному креслу, стало чудовищно неловко. Потому что он бы очень-очень хотел исповедать по-настоящему грехи, все до единого, а из его исповеди получился неуклюжий фарс, и, наверное, его хоть и уважают как личность, но уже окончательно теперь будут считать сумасшедшим. Однако по-русски тут никто из священников не понимал, а на греческом он пока не говорил. Значит, придётся исповедоваться дома, когда он вернётся продавать квартиру…

***

Домой он попал куда быстрее, чем ожидал. Он планировал провести в монастыре по меньшей мере год или больше, но через три месяца приехала забрать его она. Когда он её увидел, душа убежала в пятки, потому что он заподозрил, что она непременно захочет устроить тут что-то неприличное и безобразное, как грозилась по телефону. Но оказалось иначе: у неё умерла мать, и ей срочно нужно было вернуться в Москву, а его она умоляла (он никогда раньше не видел её умоляющей!) лететь вместе с ней и помогать устраивать похороны, поминки, потому что сама она этого «не вынесет». Тут уж, конечно, отказать было нельзя, и он отправился «выносить» вместе с ней, хоть ужасно не хотелось.

Надо заметить, он вообще впервые услышал о том, что у неё была мать. Это его удивило до бестактности, и он обрушил на её крашеную голову град вопросов. У него самого не было матери, только *Та*, на иконе, и он поэтому думал, что мать – самое святое, дорогое, неприкосновенное... Он знал, как Елисей относился к своей матери, тоже почти как к святой, даже показывать её другим боялся почему-то, и ещё он слышал по телефону её голос, такой проникновенный, не от мира сего. Из этого он, видимо, подсознательно заключил, что мать даётся только самым достойным, искренним, устремлённым к духовному познанию людям, таким, как Елисей, а «обычным», как он, как она, мать и не светит. Однако же вот, получается, была...

– Почему ты мне о ней никогда не рассказывала? – нескромно допрашивал он.

– А зачем? – хмыкнула она. – Я с ней редко виделась, она меня не понимала.

«Разве бывает, чтобы мать не понимала?» – наивно изумился он, но больше не стал выпытывать.

И вот они моментально, на другое же утро, умчались в Москву. В самолёте, к счастью, сидели отдельно, и он миллион мыслей успел передумать. Он рассудил, что за три этих месяца в монастыре вырос до «нового человека». Что он набрался мужества и сделался свободной личностью, не хуже кипрской кошки. Что он изменит всю жизнь, и то, что по воле судьбы, а, точнее, по воле Божией, он летит в Москву гораздо раньше, чем собирался, безусловно, к лучшему, – тем скорее он покончит навсегда с прошлой никчёмностью и станет другим: прекрасным, умным, решительным, преданным безраздельно молитве, смиренным трудам и аскетическим подвигам.

Он ей ничего не сообщил о том, что собирается продать квартиру, и никому другому, решил провернуть всё сам, примчаться в монастырь, а там уж будь что будет. А будет всё хорошо, – жгуче надеялся он, – потому что даже если игумен сразу не благословит, Она, Махериотисса,

---

[1] (гр.) Убийца, вор и разбойник. Каюсь.
[2] (гр.) Больше ничего?

готова его принять, и как-нибудь всё устроит. А пока, за то время, что он проведёт в Москве, он съездит на могилу к Елисею, он исповедуется сто раз и расскажет обо всём батюшкам, и пусть они считают его сумасшедшим или каким угодно. Он совершит ещё другие великие дела! Он утешит её, как добрый брат, но даже и не подумает больше идти у неё на поводу, он навестит ещё больного Дашиного старика в приюте и оставит ему «проклятые» украденные деньги, которые на него обрушатся после продажи квартиры, в общем, он будет теперь только хорошим и не будет плохим, и ни единого греха не допустит, и всех полюбит, и весь мир увидит по-новому, и ещё на радостях взорвёт что-нибудь, потому что у него огромное желание возникло всё взорвать в прошлой жизни, забыть её, как ночной кошмар, и дожить свои оставшиеся тридцать-пятьдесят лет в трудах, постах и молитвах там, у «своей» иконы…

В «миру» всё казалось чужим. Хотя он уже и подустал от однообразия монастырской жизни, и даже немного обрадовался возможности «развеяться», но вскоре потянуло обратно. Душа сникла и тосковала, будто там, на горе, осталось невидимое солнце, которое её согревало, ласкало, оберегало, питало и освещало. Но он старательно успокаивал мятущееся сердце здравым рассуждением, что дела уладит быстро и скоро вернётся, а «эмоции» только помешают действовать. Постепенно отвлёкся, стало отпускать.

***

Потом он с неподобающим любопытством рассматривал крохотную сухую старушку с ввалившимися щеками, белыми редкими ресницами, бородавкой на щеке, длинными седыми кудрявыми бровями, окоченевшую, одетую строго, серо, в светлом платочке, лежащую в маленьком гробике, и не мог поверить, что вот это – её родная мать. Ему не по себе сделалось не оттого, что она мёртвая, а оттого, что совсем не похожа, – будто чужой человек лежит, а она плачет, показывает потрескавшиеся чёрно-белые фотографии в обляпанном альбоме, обнимается с какими-то другими выцветшими белыми старушками, которые тоже плачут. Он представить себе никогда бы не мог, что она может быть такой: сентиментальной, слезливой – и его накрыла наконец передавшись от них, жалость к этой неизвестной тоненькой бабушке-былинке.

Он почувствовал, что она потеряла человека, который, оказывается, тихо, незримо сопутствовал ей всю жизнь, к которому она привыкла, которого любила... Досадно сделалось, горько, что это так случается – скорбно, тоскливо, неловко… И ещё он подумал, что тоже когда-нибудь окажется лежащим в гробу, высохшим, жилистым, дряхлым, и всем станет не по себе, и захотят поскорее уже избавиться от него вместе с этим гробом, и кто-то начнёт о нём плакать, (хотя кому, собственно, нужно о нём плакать?) а потом тело его будет гнить, разлагаться в земле, и в этом тоже есть что-то стыдное, неправильное…

***

Он испытал несказанное облегчение, когда похороны и поминки закончились. Поспешил вернуться в свою холостяцкую «хижину» и остолбенел: его дом превратился в разбойничий притон! Оказывается, уезжая, она заблаговременно вручила ключи от его квартиры тому самому браконьеру, от которого он сбежал из поезда в «Японию», а тот в свою очередь бессовестно сдавал её своим криминальным дружкам-проходимцам и вместе с ними пил, гулял, даже, о ужас, водил непристойных женщин.

– Должен же был остаться кто-то оплачивать твою квартиру в наше отсутствие, – логично объяснила она по телефону. И вот он совершил первый подвиг «обновлённого человека»: попросту разогнал эту шайку-лейку, пригрозив привести отряд полиции. При них достал телефон и набрал 112. Тогда они зашевелились и нехотя стали собирать вещи, а спустя несколько часов съехали, пообещав напоследок в ярких подробных выражениях его искалечить. Она поминутно звонила на мобильный, бранила похабно и яростно, забыв об уважении к памяти покойной мамы,

грозила, что завтра же поселит их обратно, и сделала бы даже это сегодня, но не может после затянувшихся поминок садиться за руль. На это он брутально ответствовал, что и её выгонит тоже, и вообще между ними всё кончено. Он так вдохновенно, жёстко и властно даже разговаривал, что она оторопела и немного язык прикусила, очень немного, но всё-таки прикусила, – это была победа, уже вторая! И ему понравилось побеждать.

***

Он ещё не растратил страстного бунтарского желания взорвать всё вокруг и внутри себя, уничтожить до последнего волоса прошлое, поджечь что-нибудь и, порывисто дыша, отправился навестить свой детский дом. И подложить туда бомбу. И поднять на воздух всех: и извергов-воспитателей, и жестоких детей, и само это концлагерное здание, где он столько мучился. Раньше, до Кипра, он при любом воспоминании о детстве вздрагивал, сжимался и переводил мысль на что угодно, хоть на атомную войну, только бы переключиться, убежать от пережитого. Потому что теперь он знал, что это было такое – это было начало ада, где делают всё для деградации и уничтожения личности. И вот теперь он, дотла забыв о необходимости прощать, пошёл мстить. Он представлял, что несёт большую-большую бомбу в большом-большом чёрном, нет, для оригинальности – красном портфеле. Представлял, как представит, оказавшись на месте, что её подкладывает. Нет, кидает с атлетической силой в окно и бросается на землю, закрывая голову руками. И как здание взрывается, улетает вверх, рассыпается, и всем наконец становится хорошо.

Разумеется, случилось не так. Доехав, он бродил, шаркая, вокруг грубо выбеленного, пахнувшего нищей кухней старенького двухэтажного здания, этой своей первой тюрьмы, и страдал, и это было бесслёзное, тупое, нудное страдание, хуже нытья живота, противнее не проходящей мигрени и подавленной сердечной боли. А потом он компанию мальчишек увидел, взмыленных, озверевших, глупых и ужасно несчастных. Они матерились, договаривались украсть какую-то водку, и кто-то должен был стоять на шухере, а кто-то один отвлекать в магазине продавцов, и курили вонючую дрянь, сплёвывая, и на него косились презрительно, – вот оно, его детство. Оно было, оно есть, оно будет у сотен тысяч других. Он и взрывать забыл – стоял, разглядывая за оградой знакомое дерево, и вспоминал, как когда-то рассказывал ему свои секреты. Например, о том, что про бросивших его родителей он категорически запретил себе думать и что-либо узнавать про них…

А потом, расхаживая вдоль неровно выкрашенного и местами исписанного ругательствами забора, размышлял о том, что никогда не сможет забыть этого, и, наверное, на том свете тоже не сможет, так и не перестанет мучиться воспоминаниями и мыслью, что кому-то другому приходится сейчас здесь жить. И жаль было этих людей ужасно, потому что они тоже ничего этого забыть не смогут, даже потом, когда уже всё кончится и пройдут годы, и даже если они поедут на Кипр, в Махерас, всё равно не смогут забыть, а как бы этого хотелось. Как хочется это забыть, не чтобы не было, ладно уж, если нужно страдать, ну пусть, было так было, но чтобы не помнить, чтобы никогда ни на секунду не вспоминать. Вычеркнуть, вытравить! И хорошо, и не было, не было! Нет, было, было…

И он, разбухший, отупевший, снова больной, решил добежать сейчас до церкви, чтобы избавиться от картин прошлого и не думать про этих несчастных, которые, кстати сказать, и тут его успели освистать и обозвать. Надо же, столько лет прошло – ничего не изменилось. И не изменится…

***

В церкви он уже научился находиться – бояться было нечего. Он, жалкий, печальный протиснулся в дверь, взял свечей, встал тихонько и, чтобы отвлечься, принялся глазеть на священника. Священник служил статный, молодцеватый, крепкий, широкоскулый, прямо Илья-

Муромец, только лицо удивительно неподвижное, как у человека, у которого сильно что-то болит, но он вынужден терпеть. Затем он переключился на своё утомление, тяжёлую голову и ноющую спину, ему уже не хватало греческого деревянного кресла, чтобы отдохнуть. Служба тянулась неимоверно долго, в два раза дольше, чем на Кипре, к солее тут никто из прихожан не шёл, и он сообразил, что в России не принято прихожанам на неё подниматься. Он, впрочем, гордился женщинами и бабушками, которые не разговаривали и не шумели, старательно крестились и низко кланялись, и абсолютно все были в платочках!

Славянский язык и манера исполнения его изумили: распевы с непривычки казались нарочито красивыми, хор – величественным, изумительно торжественным, странно спокойным, более внешним, что ли, чем греческий, – совсем не сокрушённым, не заставлявшим окунаться в ужасе в свои грехи и абсурдный хаос жизни или погружаться в предстояние на Суде. И тоскливо не хватало греческого низкого басового исона, который поначалу так мучил его на Кипре, и однообразной звуковой нити с неожиданными переходами с повышениями и понижениями. А где же «кратимы», где «тирирэм тэ тирирэм», где «а-нэ-на, нэ-нэ-ни, ни-нэ-на…», расслаблявшие и радостно сосредотачивающие внимание на неизбежной вечности? Ясно – теперь нужно привыкать к родной, славянской службе, а вернее сказать, знакомиться с ней, он ведь её не знал…

Была суббота, шла вечерняя исповедь. И он решил броситься в омут с головой, без подготовки сказать всё, что скажется. Стоя в неровной, несколько напряжённой и взволнованной, как ему почудилось, очереди с исписанными листочками или без, он нарочно заставлял себя не думать, в чём будет сейчас признаваться, чтобы оно само собой выплеснулось – то главное, что наболело, накопилось.

Но не получилось. На него напал испуг. Он, подрагивая, как от сырого ветра, подошёл к сделавшему ему короткий приглашающий жест священнику и понял, что слова не может молвить, не знает, о чём говорить. Но говорить-то было нужно...

– Прямо вот всё-всё исповедовать? – спросил он, чтобы растянуть время.

– Начните о том, что больше всего мучает, – подбодрил добродушный длинноусый батюшка.

Ну… ну… и он стал рассказывать тихо, сбивчиво, глядя в пол, что он украл в церкви у Николая Японского ящичек с деньгами и долго, долго носил его на груди, наверное, ещё до того, как украл… И в тюрьме он тоже сидел один раз, а ещё у него вроде бы случайно, но по особому приглашению была дома ночью школьница-проститутка, а ещё он разбойник, потому что всегда смотрит на мир из-под пепла и одинаково видит в накатывающем на него хрустальном разноцветно-осеннем финском лесу прощение, и чувствует за своими плечами Голгофу с тремя крестами, а ещё, прямо сегодня, он готовился взорвать детский дом, вместе с детьми и воспитателями, неся в красном портфеле бомбу… Тут он впервые поднял глаза на священника. И осёкся.

– Вы ограбили храм Божий? – пытаясь казаться спокойным, спросил слегка посеревший иерей.

– Наверное, и убил тоже, – потупив очи, сообщил он.

– Кого?

– Не знаю, то ли себя, то ли весь мир, то ли свою женщину, которая не моя, потому что я с ней навсегда покончил…

– И сколько вы находились в заключении?

– Часа три, но мне было очень плохо.

– Знаете, – после паузы сказал батюшка, – вы ко мне подойдите попозже… После службы. Мы с вами… поговорим.

Что было делать? Он достоял, переминаясь с ноги на ногу, до самого конца, недоумевая, почему священник странно на него смотрел. На других он так странно не смотрел, неужели они утаивали от него свои грехи и не рассказывали прямо всё, как есть?..

– Так, давайте по порядку, – приступил к нему, потирая затекшую шею, священник, и он только сейчас заметил, что тот уже далеко не молод, даже почти стар, и утомлён донельзя. – У вас в тюрьме была церковь? Был батюшка?

– Нет, там был только пророк Захария, – устремив под купол честные расширенные зрачки, робко ответствовал он. – И все эти три часа он мне помогал.

Священник молча на него уставился. И он почувствовал, что снова оказался не прав. Наверное, священники представлялись ему априори понимающими каждую мысль, каждое слово, каждый поступок, и в голову не приходило, что им тоже нужно что-то объяснять. Он думал, что они знают душу каждого и не будут ничего переспрашивать, уточнять, а мигом уразумеют всё и пожалеют, и поплачут вместе с ним. Ну, теперь он уже успел догадаться, что это не так, и что седоусому иерею нужно, «как нормальному», тоже всё разжёвывать. Тогда он, путаясь, стал мямлить, что это «не совсем по-настоящему», а скорее, помыслы, которые он сам не может себе разъяснить, ну или не помыслы, а что-то воздушное, или не воздушное, а как бы внутри него...

– Так что ж вы мне, – раздражённо начал священник, и хоть не закончил, но он ясно понял: «голову морочите?!» – и продолжил, уже спокойно. – Говорите то, чем вы на деле согрешили, а потом уже – чем в мыслях.

– В мыслях – это то же самое, – твёрдо возразил он, будто был самый умный. – Это даже ещё более по-настоящему. Ещё грешнее, чем в реальности.

– Ладно. Рассказывайте о том, что вы на самом деле совершили.

Ну… он никак не мог объяснить, что он «на самом деле взорвал и ограбил» и подумал, что значит, нужно подробно описать всю ту историю про Дашу-нельзя.

– Ну… Мне отдала деньги несовершеннолетняя проститутка для богослова, а я на них накупил золота, – весь покраснев, умирая от стыда, прошептал он.

Священник с сомнением оглядел его потёртую одежду, старенькие ботинки и вынес вердикт:

– Вы не волнуйтесь.

– Ещё я сегодня жёстко и агрессивно разогнал целую шайку разбойников: я один их всех выгнал из притона, который они устроили.

– Очень хорошо, – уже ласково сказал батюшка, внимательно заглядывая в его глаза, которые беспокойно бродили по тёмному иконостасу. – Идите пока домой. Выспитесь, а завтра на свежую голову, или когда вам будет удобно, подумайте и вспомните, что вы, действительно, сделали, не в фантазиях, а по-настоящему, понимаете?

– Я всё по-настоящему сделал, – страшно правдиво заморгал он. Но видел, что священник его откровениям почему-то ему не верит. Может, это был неправильный священник?

Дома он поуспокоился, помолился, уже не стесняясь и не робея, перед маленькой копией Махериотиссы, привезённой из монастыря, а потом уселся думать, что ж он всё-таки сказал не так. И тут только сообразил, что «вообще всё сказал не так», что совершенно огорошил бедного священника, и удивительно, как тот не набил ему морду. Сделалось катастрофически стыдно. И он решил завтра же утром подробно объяснить на исповеди, как было, про эту историю с золотом, – даже небольшой план на бумажечке расписал, чтобы во всей «красоте» рассказать о своём тяжком, и, главное, как хотел того батюшка, «настоящем, содеянном» грехе, и порепетировал шёпотом, как он станет описывать.

14

Вот это-то и было то самое утро, о котором ранее говорилось: он, переминаясь с ноги на ногу, жался в очереди на исповедь, покусывал губы, волновался, с ужасом посматривал на других прихожан, думая, кого ограбили или убили они, и хотят ли в этом каяться. Чем ближе подходил он к аналою с крестом и Евангелием, тем страшнее становилось, потому что уж очень казалось кощунственным, подлым то, что он совершил, и невозможно было признаться в этом другому человеку, пусть даже священнику. О том, что это таинство, и что «Христос невидимо стоит», он позабыл, а тем более не заметил, что за ним в очереди находилась и от него же пряталась, неловко и опасливо крестясь, Даша-нельзя, узнав его и наблюдая за ним. И что она за ним же вышла, когда он, сгорая от стыда, так и сбежал с исповеди, не сказав ни слова.

Он шёл, пиная ногами во дворах сугробы, нарочно забираясь в них по самые колени, чтобы ему было что пинать, и ненавидел себя. Он знал, что кается по-настоящему, что всё бы отдал, лишь бы этой истории с покупкой золота не случилось, но не мог рассказать об этом, потому что никто никогда бы так не поступил из тех, кто молится в церкви, – никогда бы такого не совершили эти горящие верой и трепетом старушки, обмотанные платочками, эти грустноватые пугливые женщины, эти задумчивые отрешённые бородатые мужчины, только он один был преступником, вором и злым истеричным неудачником. Даша-нельзя с удивлением следила за ним, ей не пришлось скрываться за углами домов или рядом машин, потому что он нёсся, как безумный или пьяный, шатаясь из стороны в сторону, и ничего вокруг не видел. Наконец она у пристанционного аптечного киоска, чуть не потеряв его в шумной суете, поняв, что он сейчас сядет в поезд и уедет домой, решила показаться ему на глаза и показалась.

***

Вот он обрадовался!..

Он боялся, что она призрак, что она ему мерещится, но она, смеясь, гладила его по плечу, много радостно говорила, как старому другу. Тогда он схватил её за обе руки, не слушая весёлых кокетливых препирательств, потащил в привокзальное кафе и, заказав ей какой-то сомнительный сэндвич, который, увлекшись, сгоряча съел сам же, тоже стал безостановочно тараторить и исповедоваться так, как хотел того, по-настоящему!

Он всё-всё ей жарко поведал. Как не мог уговорить забрать деньги скрюченного жёлчного старика, как искал мистического Богослова и вместо него познакомился с Елисеем, как хотел эти деньги отдать нищим, и как истратил их на золото для бывшей своей женщины, как убежал потом на Кипр... Даша-нельзя хохотала и жалела его. И он умолял простить, и клялся, что как только продаст квартиру, тут же вернет ей всю сумму сполна, и даже больше – за моральный ущерб, а она отказывалась и снова смеялась, и заигрывала с ним.

А он сначала и не заметил ничего, ему казалось, что она сочувствует, понимает, потому что он ей одной, прямо как у Достоевского, которого он, видимо, из-за Елисея сейчас вспомнил и удивился, что так свежа в голове та сцена, где Раскольников рассказывает «ей, одной ей, потому что её давно выбрал, ещё тогда…», так вот, он так же ей одной открылся и думал, что она готова идти с ним на каторгу, и потому всё до последней капли души излил.

– Ты меня прощаешь? – спрашивал он, робко заглядывая ей в глаза своими, круглыми, бесконечно грустными. А она смеялась и ворковала:

– Я уже давно забыла, а ты всё помнишь, это же такие мелочи.

– Не может быть, чтобы ты забыла, скажи только, что ты простила.

И она говорила «да», и он сваливался со стула от счастья и смущения, но по Достоевскому у него всё равно не получилось, потому что, когда он выговорился, выплакался, съел бутерброд, и выпил чаю, то вдруг поразился, оторопел. Внезапно стало казаться, что его кто-то разыгрывает,

насмехается над ним, и подсунули вместо Даши фальшивку, другую девушку, потому что это была не та пьяная избитая школьница, которая разоткровенничалась с ним той ночью, и тем более, не та несчастная, стоящая в тени кустов под окнами дедушки. Сейчас неожиданно появилась восхитительная, роскошная женщина, весёлая, увлекающая за собой в чарующую легкомысленную неизвестность.

Он вообще вёл себя стеснительно с любыми женщинами, считал, что красавицы существуют только для мужчин, бесподобных, как монстры, которые ездят в сияющих автомобилиусах, а тут вдруг живая «принцесса» и шутница сидела напротив и, о ужас, ни больше не меньше, соблазняла его, дразнила, играла, и ему было это даже не стыдно, а невероятно приятно. И он тоже постепенно раззадорился, и они уже забыли про золото, про его откровения и прощение и вместе хохотали над какой-то малоприличной чепухой и глуповатыми, но страшно смешными анекдотами и прочими пустяками, о которых теперь болтали. И она гладила его по руке, и он вдруг понял, что именно сейчас Даша-нельзя – настоящая. Не те два раза, что он видел её, а сейчас! Что почти всегда она такая – без чего-то хитрого и замысловатого, поскольку упрощённо и прозаично ко всему относится, «богатая» самым циничным и грубым опытом, а те, предыдущие две встречи, скорее, были исключениями.

– Пойдем к тебе, – сверкнув зубками, чирикнула она и вспорхнула из-за столика.

– Зачем? – тупо спросил он, чувствуя, что ему что-то уж очень хочется, чтобы она поехала к нему, и что он очень даже хорошо знает зачем. Впрочем, всё это было не только физиологично. Она такая перед глазами кружилась… необыкновенная, всё тот же животрепещущий мотылек, похорошевший, расцветший новыми узорами на крылышках, нарядная, светящаяся лучистая, фея из другого мира. Пусть даже из резкого, жестокого, циничного, где ничему не удивляются, где никто не заступается, где грязь привычна, и неизбежны интриги, разборки, бесчинства и дебоши, – но это, тёмное, теневое, умело пряталось, а набрасывалось что-то завораживающее, увлекающее в авантюру, в остросюжетную неизвестность. Заманивала и сумочка, расшитая стеклянными бусинами, и серо-голубая шубка, нежная, пушистая, как она сама, и танцующие большие грустные ресницы, из-за которых задорный, профессионально маскирующий ледяную жёсткость взгляд приобретал умилительную прелесть, и белые сапожки, делающие её похожей на снегурочку, и вся она осыпала его ласками, ароматами, чудесами и радостями, – а если бы молчала, так точно сошла бы за невинную сказочную принцессу.

– Затем! – откровенно призналась Даша-нельзя. И это их спасло. Всё-таки она была хорошей, что так прямо сказала. Потому что если бы она ерунду какую-нибудь понесла, вроде «чашечки кофе», он бы не смог отказаться. А когда она так в лицо полоснула, он даже немного опомнился. И неожиданно для себя врезал ей:

– А как же… Богослов?

– А что… Богослов? – помолчав, моментально сбросив все улыбки, уже зло спросила она.

– Ты ведь его… любишь, – без обиняков сообщил он.

И тут, конечно, она после театральной паузы дала с размаху ему пощёчину и пошла к выходу, постукивая каблучками. В общем, всё, как полагается. Но на этом дело не кончилось, потому что она вернулась и резко, уже без всякого жеманства спросила:

– Что тебе рассказал Елисей?

– Елисей… умер.

– Я знаю. Я спрашиваю, что он тебе рассказал?!

– Всё. Наверное, всё.

– И как я его невинности лишила, тоже? – и она надсадно расхохоталась.

Да уж. Этого он совсем не хотел знать, Елисей ведь в его глазах был почти святым.

– Нет, – после маленькой паузы ответил он. – Но он рассказал, как ты… как жалела, что ты не графиня, как хотела всё изменить и уехать на Кипр учиться и для того передавала деньги старику, потому что это через него ты познакомилась с Богословом, и у старика была связь с Богословом. Потому что, хотя он и не имеет отношения к роду Сиверсов, но Богослов его за что-то полюбил, мне это Елисей рассказывал…

– Да ему плевать на всех! – яростно зашипела Даша-нельзя.

– Кому?

– Богослову! И больше всех на деда!

– Не знаю, может быть. Я только знаю, что старик всё видел. И понимал, что Богослов тебя не любит, поэтому не хотел отдавать ему деньги, говорил, что твоя любовь надуманная, и он знал, что на самом деле ты просто хочешь всё изменить. А я только вернулся оттуда, с Кипра, и там, действительно, можно изменить всё! У меня там изменилась вся жизнь. И никакой Богослов для этого не нужен! Там столько святых мест, – он, кажется, за свою жизнь столько не говорил, сколько сегодня, – там всё меняется! – Он при этом совершенно не подумал, что в России тоже сколько угодно святых мест, где тоже всё может измениться, и пламенно продолжал, – хочешь, поедем со мной, я куплю тебе билет на самолет и помогу устроиться, и ты увидишь, что сама можешь изменить всю жизнь, без Богослова! – да, он прямо на глазах начинал вершить добрые дела. Сейчас, сейчас он протянет ей руку помощи и спасет её! Но она, как та неблагодарная кошка, руки не приняла и спасаться не пожелала, а в свою очередь огорошила его:

– Я сама только недавно вернулась с Кипра! И с Богословом я там встречалась!

– Как? – опешил он. Они посмотрели друг другу в глаза и молча вернулись за столик. Оказалось, в то самое время, когда он трудился в монастыре, она тоже была рядом, на Кипре, да ещё и сама нашла Богослова.

– Он в это время только начал там работать, лекции заумные читать, какие-то встречи проводить. А до того отдыхал, бездельничал. А я не собираюсь становиться умной, и никакая школа мне не нужна! Я приехала и рассказала ему о себе всё, всё, что я делаю! Потому что мне не стыдно, никогда этого не было стыдно! А он и так уже знал, от деда. Ему всё равно, хоть я святая, хоть публичная, – он и говорить со мной не хочет. Он сам по себе. Я чужая ему. Он мне лекцию прочитал нравственную, даже не удивился ничему, рассказал, как можно жить и как нельзя, и велел, чтобы я шла в церковь. А что мне там делать? Я сегодня в церковь зашла, но потому что у меня мать недавно умерла.

– Как? – снова поразился он. – И у тебя тоже?

– От передозировки. Связалась с наркошами, подсела сама, хорошо хоть в зону не угодила. А, впрочем, может, и угодила, ничего не знаю, я в её дела не лезла, как и она в мои. Ну и вот… нет её. На днях сказали, а прошло уже три месяца. Даже не объяснили толком, где её закопали, поди найди. А мне всё равно, она меня не воспитывала.

Но он видел, что ей далеко не всё равно.

– А про Елисея я пошутила, я с ним не спала, я вообще с ним была еле знакома. У меня с ним вышла такая история… – и она угрюмо замолчала. Он вспомнил, что Елисей так же, мрачно, с каким-то безнадёжным сожалением говорил, что у него с ней «вышла история».

– Какая же… история? – смущённо поинтересовался он, понимая, что допрашивать некрасиво, но уж очень любопытничал.

– Такая… что Елисей всегда был. А меня никогда не помнил, – она снова замолчала. Тогда он почувствовал себя на месте вчерашнего священника, которому он честно объяснял, что он убийца и разбойник. Значит, это всё-таки был правильный священник…

Во время паузы он заказал ещё чаю. Потом она пыталась объяснить. Он не всё понимал, но суть уловил. Оказалось, до знакомства с Богословом судьба несколько раз коротко сводила её с Елисеем. Когда она взахлёб надрывисто рассказывала, он опять увидел её по-новому, уже в «четвертом образе». Но, наверное, любой человек меняется, если говорит о своём далёком прошлом:

– Ещё в раннем детстве, когда я жила в деревне у деда с бабкой, и бабка ещё не впала в маразм, тогда Елисей, тоже совсем маленький, однажды приезжал на лето в деревню со своей матерью, – сняли часть дома по соседству. У тех соседей была скотина – коровы, козы, и мы покупали у них молоко. И вот я помню, как однажды пришла с бабкой за молоком, а там стоит мальчик, и я ничего не помню, а только, как он меня молоком поил. Мы с ним не дружили, всего один раз виделись, когда он меня поил молоком, и это было совсем по-другому, не как обычная жизнь. Мы стояли в сенях, у окна, и он такой, в синенькой рубашке, черноглазый, как цыган, даёт мне это молоко так, будто это в сказке, будто я шла, десять деревянных башмачков стоптала, сто гор перелетела, сто морей переплыла, и прямо к принцу, выпью сейчас и тоже стану принцессой. Я это помню как через какую-то дымку или воду, расплывчато, будто это не я была, а картина художника, не знаю, как объяснить, – странно, чем больше она рассказывала, тем больше ему казалось, что это говорит Елисей. – Это точно был он, хоть он ни имени своего не сказал, ничего, но я знаю, что он! А вскоре соседи переехали из деревни, и он больше не появлялся. А потом мы ещё катались с Елисеем на лошадях, в Подмосковье у реки, тоже детьми, но уже старше, и тоже один раз, – мы не разговаривали, но я его сразу узнала, что это тот тонкий чёрный мальчик, с волшебным молоком. Ему досталась белая лошадь, а мне пятнистая. И это было так красиво, мимолётно, моя лошадь шла за его лошадью, будто его лошадь вела мою за собой, это тоже казалось картиной, не по-настоящему, как если бы мы по реке шли. И это был он, на коне, хотя вроде мог быть кто угодно, но так необыкновенно могло получиться только с ним. Потом был ещё третий случай, мы уже стали подростками, и эта встреча оказалась самой необычной: был праздник, и я смотрела, как в поле запускают воздушные шары, огромные, разноцветные, как экзотические птицы, и когда их полетело в небо сразу несколько, таких гигантских, ярких, синих, красных, фиолетовых, оранжевых, – в одном из них я увидела Елисея, они поднимались плавно от земли, и я снова ясно увидела, что это был он, и он тоже меня заметил, он тоже на меня смотрел. И вот тогда я подумала, что должна держать его, – уже в каком-то тихом исступлении горячо шептала она, – я должна была его спрятать и носить всегда с собой, как он носил свою маму, и маму его я тоже видела, там, на шаре, то есть, я не видела, но поняла, что она была с ним, и они поднимались всё выше, выше, а потом… совсем улетели. Не знаю, куда они делись. И мне потом хотелось думать только о Елисее и искать его, и бежать за ним, но мне стало так стыдно, потому что я была чужая, деревенская, с больной бабкой и бездомной мамашей, а он такой… на шаре. И я заставляла себя о нём не думать, и… потом уже стала думать совсем о другом и… сделала одну мерзкую глупость. А после этого, не сразу, но потом… пошла работать по объявлению в газете… массажисткой.

– Ничего, – начал он ласково и печально, – ничего…

Но она перебила и продолжала:

– И к Богослову только он один меня мог привести, Елисей. Только он мог нас соединить. Дед никогда никого соединить не смог бы. Нет, всё должно было получиться через Елисея, и теперь уже никогда не получится. Потому что нет во мне того, к чему только Елисей мог привести.

Он ждал, пока она продолжит, глядя, как она теребит край шарфа, опустив голову и закрыв глаза, чтобы не плакать. Но она молчала. И он почему-то вспомнил, как впервые в жизни увидел ландыш.

Это осталось одним из самых ярких воспоминаний детства. Их вывезли в лес на отдых. Оглушённый немыслимым звоном и ароматом леса, трав, цветов, полей, он отстранился от всех, диковато озирался, а потом бесстрашно пошёл дальше и дальше в чащу от группы, не боясь заблудиться. Каково же было его потрясение, когда вдруг он обнаружил среди грубоватых листьев, которые его раздражали своей бесхитростностью, тонкую веточку крохотных белоснежных колокольчиков, которые к тому же пахли так сладко, волшебно и скромно, словно вобрали в себя всю красоту лесного свежего утра и попытались выразить её единственно возможным таинственным пронзительно-нежным образом. Очарованный этим чудом, он упал перед ландышем на колени и… заплакал, сам не зная отчего. Он думал тогда, что такое испытывают только однажды в жизни, что невозможно, чтобы каждое из этих простоватых растений выпустило похожую серебристо-небесную благоухающую веточку, он осторожно целовал ландыш и ужасался, думая, что может разлюбить его уже скоро, насытившись его трепетной доверчивой простотой. Так и случилось, постепенно он отвлёкся, а после уже не пошёл к тому месту, решив, что недостоин такового созерцания. Но часто потом он возвращался к одной мысли и с одинаковым по остроте отчаянием думал: кому цветёт ландыш? Там, в далёких лесах, в неведомых тёмных травах, где никто не ходит, кому он подарит восторг, умиление?.. Теперь он посмотрел на Дашу, на её белое подрагивающее лицо, и снова подумал: кому цветёт ландыш? Она вздохнула и рассказывала, всхлипывая еле слышно:

– И вот появился Богослов, и я… мечтала всегда с ним быть. Но ему было всё равно. Я сказала ему, что я в секте, просила помочь мне, а он… увидел, что я влюбилась, и решил отделаться. Сказал, что мне Елисей поможет, и отвёл к нему. Я его сразу узнала. И сразу поняла, что теперь всё должно в жизни измениться. Потому что если прилетел мальчик на шаре, и появился человек, которому я хотела отдать жизнь, то теперь всё станет по-другому. Это должно было быть, если бы я послушала Елисея. Я сама виновата.

– Что же случилось? – спросил он, потому что она ушла в себя и опять надолго замолчала, будто забыв, что он рядом и слушает. Она очнулась и неожиданно отвлеклась:

– Мне так иногда кажется, будто я лежу на воде, и нет берега нигде, только море, пенистое, ласковое, тёплое, а берега нет. И не знаешь, появится ли он когда-нибудь. Вроде хорошо, потому что не тонешь, и думать ни о чём не надо, а только странно, что берега нет…

Потом она начала рассказывать, как Богослов советовал ей уехать «от сектантов» подальше – в другую страну, на остров, советовал недорогую авиакомпанию, обещал помочь, если она найдёт денег, и… Торопился отвязаться, отделаться от её разговоров, говорил, что ему некогда, бестактно бросал трубку, и однажды «передал» её Елисею на какой-то автобусной остановке, назначив им там встречу; как она сразу узнала «мальчика на шаре», но он «всё молчал», глядя вдаль на шоссе, не едет ли маршрутка, а на неё даже не смотрел, думая о своём, и она решила уйти, гордо, не прощаясь, но тут-то он встрепенулся и попросил, чтобы она не смущалась, потому что он везёт её в «раковый корпус».

Дальше она с белыми, снежными, полными ужаса глазами, говорила, как Елисей провёл её по этажам, и она видела несчастных «онкологических»: перебинтованных, облысевших, с опухолями, без конечностей, на инвалидных колясках, страдающих, стонущих, и какие у них взгляды были, колючие, равнодушные, больные, и Елисей взбешённо, судорожно говорил, что их никто не жалеет, а всем они только в тягость, и от них устали, а люди мучаются годами, и живут от одной операции до другой. И нужно быть милосердной, помочь хотя бы одному, а не

заниматься сектантской ересью и ерундой, а потом Елисей забыл о ней и пошёл по своим делам и врачам, а она бежала, путаясь в длинных коридорах, и всюду преследовали ужасные запахи страдания, страха, смерти, лекарств, и тишина, и сердцебиение. Нет, она не научилась милосердию, нет, она не хотела этого видеть и знать, она завтра пошла на свою «работу» и сама напилась до звездочек, хотя делать этого было категорически нельзя, да еще и нахамила клиенту, впрочем, в тот раз ей всё сошло с рук.

– Если бы я была милосердной, сострадательной, – хрипло признавалась она, – если бы пошла работать хоть санитаркой, хоть уборщицей, хоть посудомойкой туда, я осталась бы с Богословом, понимаешь?! – нет, он ничего не понимал, думая, что она совсем запуталась и, кажется, замечталась похлеще него, но сочувственно кивал. – Он не смог бы тогда от меня отказаться. Он слишком гордый, он тогда не отказался бы, тут математика, расчёт, как мой дед всегда рассчитывает, и оттого многим он кажется будто волшебником, а он просто всё вычисляет точно – не человек, а калькулятор. И я тоже просчитала, вымерила, что я должна была идти в этот ужас, и я могла это сделать, потому что я жестокая, я уже ко всему привыкла, я и хуже кошмары видела, даже сама в них участвовала, – что мне орущие от мук больные, – но я не пошла за Елисеем! Я должна была идти помочь хотя бы ему или им, другим, ведь через него Богослов тут же узнал бы обо всём, я должна была бегать за Елисеем и расковыривать в себе рану жалости, но я этого не сделала – наверно, из гордости или из лени. А мне ничто не мешало! И если бы я шла за Елисеем, куда он меня вёл, туда, в обитель боли, и куда мне хотелось даже самой идти, потому что там – правда, Богослов тогда женился бы на мне любой! И неважно, что он меня бы не любил, он вообще, наверное, не умеет людей любить, а только любит, как в кино, понимаешь, любит то, что хорошо, то, что нужно любить, положено, – и он не виноват, он действительно такой. А мне всё равно, что не любит, мне бы хватило того, что он рядом! Теперь поздно. Без Елисея ничего невозможно. Он не умер, он живой, он всегда будет живой, но теперь мне некуда за ним идти, не в могилу же.

Ну вот. А он-то думал, что умеет исповедоваться. Что у него сегодня наконец-то получилось. А вот, оказывается, как это делается.

– И мне не жалко было даже Елисея – ни единой минуты. И людей этих мне тоже не жалко, потому что я жестокая, мне страшно, больно за них даже, но не жалко. Я не умею быть доброй. Я, наверно, могла бы стать доброй для Богослова, но ему ничего не нужно. Ну и вот, сбежала я из той больницы. И никогда больше с Елисеем не встречалась. А насчет «невинности лишила» – это я так про себя шутила: наверняка это у него первый случай в жизни был, чтобы он познакомился с человеком, поговорил, и тот совсем ничего не почувствовал и совсем равнодушным остался, таким же чёрствым, как был, даже стал ещё хуже, – ведь первый?! Не могло у него с другими так быть, а со мной было, со мной, которая о нём мечтала и его на шаре видела! А я такая же осталась, злая и холодная. Это ведь из-за меня дед в дом престарелых попал, и пожар тоже из-за меня случился! – внезапно выпалила Даша. – И таким жестоким, язвительным он тоже из-за меня стал! Разве он таким был?! Да его обожали все, за ним бегали! А потом меня застыдился! А мне только интересно было, до чего я ещё могу его довести! И весело, и страшно было наблюдать, как он в злого циника превращается! И я нарочно ему деньги носила, назло. Никуда я теперь от него не денусь. А он – от меня. Поэтому деньги ношу и его до бешенства довожу. Ну, пусть! – ядовито шепнула Даша, что-то странное, нехорошее с ней происходило, и он не мог даже предположить, что именно. – Не добром, а всё месть! И я знаю, что не могу без него… – тут она осеклась, взглянув на него, и поспешила объяснить, словно уводя в сторону от чего-то важного. – Потому что в нашей работе надо хоть за кого-то держаться, иначе погибнешь, скатишься: или сопьёшься, или на иглу сядешь, или заболеешь и лечиться не станешь, потому что однажды становится

безразлично. А я пока не могу так, держусь, потому что… должно быть прощение, и без этого ничего нельзя, даже умереть. Но мы с ним молчим. А я только и жду, когда он заговорит и скажет. Но он ни разу не сказал. И решил, что я ему деньги даю, чтобы откупиться! Такой вот он стал жестокий из-за меня, и теперь уже менять что-то не получится. Я хоть с твоего прекрасного Кипра вернулась, но продолжу дальше работать, мне не стыдно, я даже горжусь, да и что мне ещё делать?

И он не знал, что говорить. Он теперь думал, что она Елисея тоже любила, как-то двоих, что ли, сразу? И дедушку, кажется, любит... То ли вообще никого. Был бы этот Богослов рядом, он бы его на коленях умолял увезти её и помочь, а с ней… Если даже Елисею не удалось ничего исправить, то ему-то где уж? Его красноречие куда-то испарилось:

– Выходи за меня замуж, – промямлил он, и это неожиданно получилось забавно, заставило её искренне рассмеяться, а его – улыбнуться.

– Мне уже предлагали, а смысл? За это ещё и платить нужно много «мамочке» нашей, – такие правила. Нет, она хороший человек, – поспешила она ответить на его укоризненный взгляд, – добрая, заботливая, поговорит всегда, к врачу хорошему направит, заступится, если что. С ней нормально. Лучше уж быть свободной, независимой, чем замуж за порядочного – и каторга. Я, если хочешь знать, и Богослова никогда не любила. Ага! Это у меня навязчивая идея. Приехала к нему на Кипр, посмотрела на него, а он сухой, будто мёртвый, изглаженный, выхоленный, скучный до ужаса, весь в своих лекциях. Я думала, мне, кроме него, никто не нужен. А мне и он оказался не нужен. Мне навязчивая идея нужна. Навязчивая мечта...

Он окончательно запутался. Не может же быть, чтобы человек из-за мечты так страдал, если он сам понимает, что ему нужна только мечта? Она догадалась, о чём он думает, и пояснила:

– Ничего тут нет странного. Если бы я пошла туда, куда хотел привести Елисей, и быть милосердной, сострадать, я бы, наверное, Богослова полюбила по-настоящему. Потому что он тоже несчастный, хоть у него и домик свой на Кипре, а он всё равно бесприютный, только летает туда-сюда. А так, нет, – одна идея. Людям вообще больше нравится любить мечту.

Нет, похоже, Богослова она любила. Решила только, что нужно забыть, перетерпеть и «растоптать, засмеять». Правильно, наверное. Только он не хотел, чтобы ей было больно. А по поводу «работы» – ей это нравилось или устраивало, это её выбор, который он обязан уважать, – всё-таки научился чему-то у кипрской кошки.

– Знаешь, – нашел он наконец выход, – я хочу поехать к Елисею на могилу, давай поедем вместе? Мы там за него помолимся… и что-нибудь поймем.

Он видел, что её это смутило, будто она уже про себя решила, что с «нежными чувствами» навсегда покончено, и теперь всё до смерти останется жёстко: работа, улыбочки, денежки, – без сантиментов и слёз под окнами деда.

Он и сам совсем не был уверен, что из этого что-то получится, но почему-то говорил так убеждённо, нажимисто, сердечно, что она постепенно прониклась. И он видел, что она испугалась, что ей неловко, неудобно, что стесняется и боится этого «доброго» в себе. Но потом робко закивала, сосредоточилась, и, подумав, согласилась окончательно. И по тому, как она согласилась, он понял, что она тихо, застенчиво, в глубине души чего-то мистического ожидает, какого-то чуда от этой поездки, – и сразу засомневался ещё больше, потому что чудеса происходили редко, а разочаровать её было так легко…

Но при недолгом возникшем молчании уже и он почувствовал надежду, видя с какой силой она уцепилась за эту светлую, странно окрыляющую мысль, будто тоже ждал, что и с ним случится на могиле что-нибудь, и он только не должен этому мешать. Трепетно, ясно ощущал он свою ответственность, думая ещё и о том, что едва ли есть у неё кто-то близкий в мире, кроме

дряхлого старика. Он видел, что она хочет там, на кладбище, решить для себя «сразу, всё», пообещать Елисею, глядя в его сверлящие чёрные глаза на фарфоровом портрете, который он так живо вообразил, что она не пойдёт больше к «мамочке», а, может быть, даже пойдёт к Той, настоящей, и тогда он поможет ей в этом. Только бы не спугнуть этот живой, искренний порыв, не дать уйти в гордую мысленную сумятицу, лишь бы только она не начала опять мучить себя и говорить, что ей не жаль Елисея. Но она именно это и сказала:

– Мне не жаль, что он умер. Все умирают. И на могиле не будет жаль.

Тогда он, как заправский психолог, (откуда только уверенность взялась?) ей горестно рассказал про свой детский дом, и как пришёл туда вчера «бросить бомбу». И как он тоже думал, что ему не станет жаль.

Это подействовало. Они решили ехать сразу, сейчас. И что-то их обоих так наполнило, сосредоточило, что они про себя уверились – чудо обязательно случится! Будет невероятно, и что-то непременно изменится, и они после этой поездки станут другими, может, даже жизнь станет более мудрая, умиротворённая, без потрясений, тихая, сострадательная, и что-то главное они сейчас поймут, узнают. Они оба одинаково ощутили, что их схлестнула сегодня какая-то сила, чтобы это вместе, вдвоём пережить, что они уже одинаково чувствуют, думают, и осталось только дождаться, испытать это – главное, странное, новое… И не разговаривая, не глядя друг на друга, а погрузившись в свои противоречивые мысли и воспоминания, связанные с Елисеем, они отправились на кладбище.

Повалил снег, большой и мягкий. Вскоре подъехала с горящими глазами и заснеженной мордой электричка. И когда он подал ей руку, помогая войти в вагон, ему показалось, что они женаты много лет.

15

И вот случилось. Но совсем не то, о чём они гадали и чего могли бы ожидать…

Нет, вообще это было даже смешно. Смешно, потому что так быстро и так просто… Они ехали часа полтора, в какой-то полудрёме, расслабленности, таинственном предвкушении, ни о чём толком не думая и не разговаривая. Они вышли из электрички на маленькой станции, где, кроме них, не вышел никто. Мама Елисея объясняла ему, что к кладбищу напрямик выведет их тропинка, через лес, на которую они, перейдя пути, попадут сразу, поскольку никакой другой нет. И они увидели эту тоненькую, занесённую тропинку, еле различимую среди сугробов, и вздохнули, и внутренне собрались, напряглись, немного заробели, потому что сейчас должно было произойти чудо, и двинулись к тропинке. Перейдя пути, она чуть замешкалась, остановившись у высокой платформы, потому что не могла найти в сумочке перчатку и расстроилась, думая, что оставила её в вагоне. Он глядел на тропинку, и слизывал валившие хлопья снега с губ, стряхивал с бороды. Шумела их уходящая электричка. И вот случилось это… Он только услышал, как она резко громко вскрикнула, испугался, обернулся, дёрнулся, и упал, поскользнувшись, успев запомнить, как всего его в один миг накрыло смертельным животным ужасом, резкой бесконечно сильной болью, ярко вспыхнувшей темнотой и каким-то межпланетно масштабным оглушающим металлическим скрежетом. И всё кончилось.

***

Когда он открыл глаза, перед ним был тот свет. Потому что, во-первых, он ничего не чувствовал, – вообще, совсем, – а во-вторых, такая лампа могла сиять только на том свете: огромная, квадратная, голубовато-белая, будто наполненная таинственным паром и пляшущими человечками. Сейчас, сейчас, должны появиться мерцающие ангелы в тростниковых башмаках и демоны с крючьями, на которых мотаются чьи-то кровавые внутренности, какой-нибудь

надменный слепец в ниспадающей мешковине с двумя раздутыми холщовыми сумками, где барахтаются, толкаясь и пинаясь, его грехи, и начнётся суд над его никчёмной опустевшей душой.

Первая мысль, которая не просто кольнула его, а и резанула острой болью, дав заодно понять, что душа ещё очень даже способна чувствовать, была о Даше. Умерла ли она тоже, попав вместе с ним под неслышно в снегопад и метель подкравшийся поезд, или сейчас рыдает у его холодного изуродованного под колёсами тела, не подозревая, что душа его жива и спокойно смотрит на фантастическую лампу?

Однако же, как выглядит эта самая его несчастная, отлетевшая в мир иной душа?

Честно говоря, отлетевшей душой шевелить стало очень трудно, видимо, по причине не исповеданных грехов она была или казалась раз в тысячу тяжелее его утерянного тела, неповоротлива или даже неуправляема. Будто вместо рук, ног, тела и головы появились расплывшиеся бурдюки, набитые разноформенными свинцовыми отходами. Она развалилась неряшливо, скомкано, вся на белом и в белом, и почему-то ему представлялось, что шея падает куда-то, и что он уже не лежит, а висит вниз головой. Единственное, что ему удалось понять, прежде чем провалиться снова в небытие, что в комнате первого, предварительного суда находилось небольшое окно с сероватыми стёклами, прикрытое изогнутой казавшейся шаржевой занавеской.

***

Когда он опять пришел в себя, всё стало уже по-другому. По-настоящему. Он лежал в больничной койке. Его мучила противная сосущая боль, иногда резко дёргавшая. Ему кололи лекарство. И это значило, что он остался жив. И прекрасно. Прекрасно…

Только что же случилось, и где Даша?

На его чуть слышные вопросы, которые он, оказывается, не замечая того, задавал между слабыми непрекращающимися стонами, ему сказали, что девушка, которая стояла с ним, осталась цела и невредима, что это она вызвала скорую, а после куда-то исчезла и пока к нему не приходила. «Слава Богу», – подумал он. За себя-то можно не беспокоиться – выздоровеет, и он оптимистично шевельнулся сразу всем телом. Снова пробрало острой болью. Ну да, его же раздавил поезд… Позвольте, и он жив? Вот это везение! Да быть того не может! Вот это да! Вот это он герой! Сам Елисей гордился бы им! Значит, ему ещё дали время пожить на земле и совершить подвиги! Значит, он ещё вернётся в Махерас!..

Однако как больно, и как трудно шевелиться, какое неудобное, неуклюжее это его раздавленное тело, ни повернуться, ни одеяло поправить, – рука не поднимается, такая слабость. Ничего, пройдёт... Сколько раз случалось ему лежать распластанным с температурой под сорок, еле способным двинуться от охватившей немощи, и ничего. Подумаешь, поезд переехал, мелочи какие. Всё-таки что-то в этой истории явно не сходилось, не связывалось, но окончательно он понял это, лишь когда очнулся в третий раз.

Мучительная боль уже почти прекратилась, он догадался, что долго крепко спал, и главное, вернулись силы, он мог двигаться самостоятельно! Ну вот, он и подвигал: и головой, и ногами, и тазом и рук… ой. Рукой… одной. Потому что второй… нет, не может быть. Он откинул одеяло правой рукой… и увидел… это. А это – лежало на простыне сантиметров двадцать от плеча перебинтованным обрубком.

Он поскорее набросил одеяло на плечи, потому что смотреть на это было невозможно. «Не-е-ет, не-е-ет», – протяжно, пока ещё только удивлённо, думал он, – «не-е-ет, это невозможно». Он не верит. Он с этим не согласен. Ему показалось. «Не-е-е-ет… Но всё остальное… всё остальное – вроде на месте, значит, только рука. «Только»!.. Ничего себе только!» Левая рука, а он левша! Осталась правая, которая всегда была только помощницей левой. Не-е-ет, он не хочет этому

верить. Да как же так, он же чувствовал эту свою левую руку, чувствовал, будто она на месте, ему даже казалось, что он шевелит ей, да, с болью, страданием, но шевелит, – целой, будто перебирает пальцами, только не может ими ничего потрогать, но сама-то рука есть. «Да вот же она!» – и он снова яростно откинул одеяло, убеждённый, что увидит сейчас свою целую левую главную руку, которой он бодро и смело двигает, но вместо руки опять увидел… это.

***

«Нет, нужно остаться справедливым, – думал он два дня спустя, – легко отделался». То же говорили ему и врачи. Вот только почему нельзя было совсем избежать этого падения, почему так неосторожно остановились они у самых рельсов, почему так неслышно подкатил поезд, что даже Даша заметила его лишь на расстоянии нескольких метров, а машинист за краем платформы не видел их вовсе, почему левая, рабочая, а не правая, которой он двух букв написать не умел, почему именно в такой момент, когда что-то святое породнило их души, почему, почему, почему?..

Почему так глупо, неуклюже, внезапно, необъяснимо? Почему не на войне, ни при теракте, ни при стихийном бедствии, а там, на тихонькой железнодорожной станции, где всего-то три пути, где даже не работала билетная касса, где было так спокойно, беззвучно, что, казалось, поблизости вовсе не жили люди, для чего это, для чего?.. Он же к Даше чисто относился, он полон был трепета к памяти единственного друга, желанием изменить судьбу, свою и её, к доброму, настоящему… Абсурд, сумасшествие! Уж лучше бы он, и вправду, умер. «Нет, спасибо, конечно, что не нога, что не рука и нога вместе... Это ещё только полукалека, несерьёзный, халявщик, такому даже милостыню подавать не станут», – думал он, словно нарочно хотел расковырять свою рану.

Даша-нельзя за два дня не приехала и не позвонила. И хотя про себя он мазохистски злорадствовал: «Как же, нужен тебе инвалид!» – но чувствовал, что на самом деле лучше ей пока не приходить, потому что не хотел видеть и слышать никого. И вообще никого никогда он больше не хотел видеть и слышать.

Доктор ему достался сочувствующий, отзывчивый, и в любой другой ситуации он бы стыдился и краснел, что ему уделяют столько внимания, что такой умный, авторитетный человек обходится с ним мягко, вежливо и бережно. Но теперь он исполнился горечью, противной тоской, ядовитым самоуничижением, да ещё боль мучила, – и оттого доброму врачу он отвечал, сжав зубы, глядел на него зверино, исподлобья, как на предателя, стараясь скорее отделаться от его искреннего участия.

А ещё он смеялся, едко, криво, несимпатично, смеялся саркастичнее, чем тот несчастный старик, смеялся, что всё так абсурдно, нелепо, некрасиво. И непонятно… Ничего же не бывает случайно, так за что же ему, и без того обделённому жизнью, с несчастным детством, с больной психикой, одинокому, забитому, такое горе? Да к тому же тогда, когда он решил кардинально изменить жизнь, когда ему открылся новый путь, другая реальность? Как же, изменит он теперь жизнь!

О, да, ещё как изменит: пойдёт в переход просить подаяния и искать на помойках пропитание. А ведь сколько исцелений и чудес происходило у «его» иконы. Он не только читал об этом в летописи монастыря, но своими ушами слышал от многих русских паломников. Одна женщина рассказывала, как исцелилась от тяжёлой стадии рака, у другой буквально за две недели выздоровел сын, болевший с самого рождения и окончательно приговорённый врачами к скорой смерти от костного туберкулеза, у третьего стал видеть почти ослепший глаз, у четвёртого ожила парализованная нога. И таких историй долетали до него десятки, а может, сотни! Всё это рассказывали они сами, приезжая поблагодарить Божию Матерь, и заливались слезами, и рыдали,

и он тоже плакал вместе с ними от счастья, от невыразимого блаженства, и вот надо же было, чтобы у него всё случилось наоборот.

Почему?! Ведь Пресвятая Богородица любит его, невозможно сильно, непостижимо нежно, он это знает, он это чувствует. Она всегда готова заступиться, помочь, утешить, и образ этот «ножевой» – наверное, выражение Её, Материнской, острой режущей собственной боли за всех людей, детей своих, – он с первого дня именно так чувствовал, – боли, которую Она на себя принимает из-за наших грехов… Может быть, Она, наоборот, не дала ему умереть или покалечиться страшнее, подарила ещё земного времени, чтобы спастись… Но неужели нельзя было сделать, как он хотел?! Что в его желании остаться в монастыре было плохого? Теперь кто его возьмёт туда, в Махерас, с одной рукой, нерабочей? Он не сможет делать ничего, а там нужно трудиться, помогать, не садиться же на шею монахам, им без того нелегко…

Да, быстро он осознал, что его прежняя никчёмность – ничто по сравнению с нынешней, что никому он теперь не сможет помочь, ни Даше-нельзя, ни старику, голубям-то накрошить хлеба – и то уже проблема. Одно теперь остаётся – как-нибудь кормиться, держаться самому. Да, вот она жизнь, простая и чёткая, как учебник геометрии: плоские задачи, которые нужно каждый день решать, без полётов и поэзий. Должно быть, даже Елисею было легче, ведь его подхлёстывала надежда, – задача «вылечиться» звучит оптимистичнее, чем задача «прожить инвалидом».

Даша-нельзя так и не объявилась, и он потом снова «точно-точно» расспросил о ней врачей. Они заверили, что с девушкой всё в порядке, что она детально выясняла по телефону о его состоянии, и «обязательно скоро его навестит».

«Как же, навестит, больно надо…» Ни разу за время пребывания в больнице, не позвонила ему и она, его «бывшая», с которой якобы «всё кончено». И он занервничал – уж лучше пусть узнала бы о его беде, пока он тут, чем потом без предупреждения нагрянет домой и увидит его обезображенным, с «этим»…

К «этому» он привыкнуть не мог, смотреть на него боялся, даже облегчающие слёзы не текли, лишь гримасы кривили лицо, жалкие, отчаянные. «Оно» зарастало потихоньку, он мог шевелить «этим», но выходило уродливо, – тогда он до крови сжимал и кусал губы, хрипел и бился головой о матрас и подушку, чтобы пересилить отвращение. И главное, он постоянно подло чувствовал вместо «этого» свою живую целую руку, прекрасную здоровую руку, сильную, волосатую, с пятью пальцами, с кистью, с локтем, с венами… Он чувствовал, как двигает, машет, держится ею, он всю её ощущал, как раньше, и не мог понять, как возможно, что её нет, и зачем она тогда так ясно ему представляется?

***

Привыкать жить с одной рукой оказалось нудно и тяжко. Раньше он и внимания не обращал на них, он вообразить не мог, какое сокровище – две руки. Они, как выяснилось, всё время человеку нужны, именно две. «И хоть бы, – обиженно клокотал он, выводя на листе бумаги пробные каракули своей «неродной» рукой, – отрезало правую, нет же, будто нарочно».

На каждом шагу он теперь сталкивался с неведомыми доселе трудностями. Ему, например, приходилось учиться ходить заново, с большой осторожностью, – оказывается, та потерянная рука служила для равновесия, а сейчас постоянно кружилась голова, и нужно было хвататься за стену или кровать, для этого одной руки не хватало. Поначалу часто представлялось, что получится опереться обо что-нибудь своей левой рукой, которой не было, и оттого он шатался, даже падал… Ну, мало-помалу он себя приучил, что, падая, нужно «держаться правой стороны»: «Изумительное открытие. Очень приятно так существовать, ничего не скажешь…»

Усложнилась даже чистка зубов! Элементарное действие, которое он на протяжении всей жизни выполнял изо дня в день механически, не задумываясь! Он купил в больничном киоске щётку и пасту и уныло экспериментировал. Поди-ка открой одной, да ещё нерабочей рукой, тюбик, выдави, распредели на поверхности, когда ручка щётки соскальзывает с округлых краёв раковины, колпачок обязательно падает и закатывается, а потом надень его назад и закрути… Периодически недостающую руку теперь заменял рот и зубы. Тысячи предметов изо дня в день (и так продолжится до самой смерти) будут проходить через рот, он узнает и вкус тубы с кремом для обуви, и сотового телефона, и даже собственных шнурков. Естественно, от шнурков и от всего, что причиняет особые трудности, придётся по возможности отказываться.

Напряжённой приключенческой историей отныне станет завтрак, обыкновенный человеческий завтрак. Он представлял отрезание куска хлеба рукой, в которой нож не резал, и удерживание батона, только и норовившего выпрыгнуть, грудью, животом или подбородком – надо будет потренироваться по-разному. Кто бы мог подумать, что, оказывается, для посещения туалета обе руки тоже были весьма желательны, – поначалу застёгивание джинсов казалось каверзной задачей. Эта наука выживания в новых условиях оскорбляла его человеческое достоинство, угнетала в каждой постыдной житейской мелочи, уязвляла в самое сердце, будто наполняла его высасывающей болотной мутью, отвращением и к себе, и к окружающему…

***

Она так и не позвонила, Даша-нельзя вовсе сгинула, – домой пришлось добираться одному. Сам он потревожить *её* не решился. Когда-нибудь узнает, пожалеет, потом поругает, а потом… как и раньше будет руководить его жизнью, куда-то пристраивать, втискивать, гонять... Поставит без смущения на паперть клянчить, нюнить, прохожих обирать. Нет, вероятнее, разыщет работу, которую получится выполнять одной рукой, только какую?.. А может быть, из сочувствия даже станет готовить ему обед, ужин… Нуждался ли он теперь в ней больше, чем раньше? Очевидно да, но…

Ему теперь абсолютно всё было непривычно, дискомфортно, всюду он натыкался на неожиданные препятствия, углы, подвохи, коварные неприятности… А это значит, что и с ней однорукость приведёт за собой тысячи новых подлых мелочей, гнусных мыслей, постоянных укоров, упрёков, унижений, которыми до того он был сыт по горло. Ну почему он, увидев, почувствовав, вдохнув свежую свободную жизнь, снова должен вернуться к прежней, зависимой и бесцельной, опять сделаться ведомым?..

Он отвлёкся было в гулком метро от культи на свои колючие раздумья, уцепившись изо всех сил правой рукой за поручень, – к постоянной напряжённой осторожности он уже привык в больнице, – но теперь безразличные пассажиры недоверчиво косились на болтающийся пустой рукав его пальто. И это ужасно вдруг оказалось неприятно, – он же ничего им не сделал, и «это» нарочно подальше спрятал, – чего же таращиться? Да, теперь, конечно, все будут замечать неуклюже висящий рукав его одежды, а если показывать им культю – и вовсе шарахаться, он же и сам шарахался и морщился от отвращения, глядя на нее. Что ж, нужно привыкать не обращать внимания, – пусть смотрят…

Итак, ей он звонить не собирается: «Когда появится сама – тогда пусть и появится, пусть без предупреждений увидит сразу всё! Небось, заорёт от страха…» А он постарается отделаться от её покровительства. И вообще от всего! И будет жить совсем, совсем один.

16

Дома ждал сюрприз. С трудом открыв замызганную дверь никчёмной рукой, которая, даже оставшись единственной, упорно не намеревалась подчиняться, а тем более, становиться

проворной и ловкой – он снова обнаружил у себя в комнате пьяную шайку-лейку во главе с «беглым» браконьером, которую по приезде с Кипра успешно разогнал.

Ну конечно – она же обещала вернуть и поселить их обратно! Ведь «так выгодно в наше время» сдавать квартиру, – а он, по её гениальному плану, после смерти матери должен был перебраться к ней. Он-то и думать об этом забыл, – пережил, понимаете ли, потрясение, очередное «новое рождение», только куда-то обратную сторону, шиворот-навыворот. И вот, пожалуйста, пьяные берложники, человек восемь, – только их ему сейчас недоставало!

Блеснуть и явиться мужественным защитником своих прав, каким он был, вернувшись с Кипра, он уже не мог. Потому решил договориться с ними мирно.

– Ребята, – сказал он им, – у меня случилось несчастье.

Но дальше произошло не совсем то, чего он ожидал. Несчастье его особого впечатления на них не произвело. Они, конечно, «пошарахались» от культи, но в целом остались равнодушными, и после нескольких заплетающихся сердобольных фраз, где среди мата проскальзывало: «да, угораздило тебя», «ничего, с кем не бывает», «иди, выпей с нами», он понял, что уходить-то они никуда не собираются.

Жить в своей единственной комнате с восемью посторонними пьяными мужиками он как-то совсем не хотел, и поэтому, извиняясь, вежливо попросил их. С этим уже в свою очередь, да еще на «согретые» головы, не пожелали согласиться они и дружно начали убеждать, что они «тс-с-с» и «ничем тут не помешают». Кончилось того хуже: он взялся звонить ещё не в службу спасения, а пока только ей, чтобы приехала и помогла разобраться с этими типами. Но они дружно, не сговариваясь, навалились на него, выбили телефон, заломили единственную руку, для вразумления сочувственно дали «в рыло» и в солнечное сплетение, мстя за прошлое его «героическое» поведение.

Да, вот об этом-то он и не подумал. То, что люди теперь начнут отшатываться, он ещё в больнице заранее «высчитал», как Дашин старик, и хоть это больно кольнуло, но, по крайней мере, не удивило, так как было предусмотрено. А вот то, что с инвалидом могут безжалостно и цинично обращаться, пользуясь его слабостью и беззащитностью, ему в голову не пришло. И не только потому, что сам бы он так никогда не поступил, не только потому, что к нему деликатно и гуманно относились врачи и медсёстры. Он был уверен, что априори все инвалидов щадят, некоторые даже сострадают им, – настраивался сносить унизительную жалость или обидное нервное опускание глаз, вздрагивание, отворачивание. Но что кто-то посмеет поднять на него руку, он представить не мог, – и на тебе, с этого-то, считай, началось «возвращение в мир»!

Они сидели над ним, дыша в лицо перегаром, ухмыляясь, красочно объясняли, что привяжут его к батарее и станут смотреть, как он корчится, подыхая от голодных мук. Хотя откуда-то взявшийся, да ещё с неожиданной прытью и уверенностью, здравый смысл убеждал, что это только пьяные угрозы, и что убивать его никто не собирается, но он уже чувствовал приближение своих старых знакомых – истерической провальной паники и удушающего страха, – а это было хуже искалеченности.

– Господи, – прошептал он чуть слышно, – ты это видишь…

И, наверное, паника со страхом накрыли бы его, заставили думать, что Бог ничего не видит, что Его вообще не существует, и вся история с монастырём была чем-то вроде гипноза и бреда сумасшедшего, что есть только такая, чернушная перегарная действительность, но, к счастью, в этот момент чудо всё-таки случилось, и она вдруг позвонила сама. Они, давясь смехом, орали ей:

– Иди, забери своего безрукого психа, – а, потом, наконец, натешившись над её недоумением, сунули ему трубку…

Потом было печально, долго, неинтересно: её приезд, буря эмоций, потоки слов, какие-то не останавливающиеся ни на чём конкретном препирательства, а он тихо, упорно и равнодушно стоял на своём, понимая, что рано или поздно всё это кончится.

И кончилось! Утром, поведя бессонную ночь с ними девятерыми, он отвоевал-таки законное право жить одному в собственной квартире без чьей-либо, и её тоже, опеки. Двенадцати часов хватило, чтобы ей это объяснить. Конечно, она хотела забрать его к себе, «тем более теперь», но «тем более теперь» он отказывался, и это тянулось до рассвета, но могло же быть хуже, – раньше-то у него несколько лет не получалось добиться такого изумительного результата.

Наконец, гости поодиночке разъехались, забрав свои кули, тюки, рюкзаки, оставив гору пустых бутылок, окурков, плевков, разнообразного мусора и грязи. У него не хватило сил убраться, и, потратив каких-нибудь минут тридцать на то, чтобы сменить постельное белье (да, долго ему ещё придётся тренироваться), он лёг и проспал до вечера.

***

Встав с тяжёлой, но несколько проясневшей головой он первым делом решил напиться чаю и сразу столкнулся с препятствием – не было зажигалки, они побросали кучи хлама, но хоть бы кто-нибудь забыл зажигалку, хоть бы она догадалась оставить ему «огоньку», она же курила! Он, впрочем, зажёг-таки газ, сжав спичечную коробку во рту, но решил, что дальше так не пойдёт, – нужно тащиться в магазин покупать зажигалку, а ещё, желательно, электрочайник. А где, спрашивается, откопать денег?

Он-то уже возомнил себя богачом с миллионами от проданной квартиры, а теперь… Теперь всё полетело в тартарары, какой там монастырь, – даже просто уехать на Кипр больше не получится: никто не захочет брать его такого на работу. Разве он может что-то хорошо убирать, мыть или чистить?

Он с сомнением оглядел свою загаженную квартиру: может – не может, а придётся. Да ещё проявляя чудеса изобретательности, например, держать совок, сидя на корточках, зажав его ручку между коленей, чтобы замести туда грязь, – в итоге он не устоял и грохнулся в эту самую грязь, прокляв белый свет. А как весело оказалось отжимать тряпку, вдавливая её в ванну… Не получалось даже заталкивать мусор в мешок, лишь старенький пылесос практически не доставил неудобств. «Но это пока, а потом придётся менять в нём пакет, наверное, понадобится убить на это полдня», – ехидничал он про себя.

И вот, в какой-то момент ему так надоело это, он так устал от своей инвалидной уборки, от неудобства, от бессилия что-то изменить, что отбросил всё, сел на оплёванный ковер и заплакал беззвучно, и поразился тишине, которая была в квартире. Он недолго так просидел, ну, минут десять, может, но за эти минуты впервые, начиная от того момента, как очнулся в больнице, понял, что остался совсем один.

До того постоянно кто-то рядом говорил, лечил, ходил, смотрел, расспрашивал, спорил… А тут вдруг никого. И тишина, и остатки неубранного мусора. И он, застыв, глядел на мусор, и опять-таки только сейчас, впервые за всё это время, осознал: то, что случилось, действительно, с ним случилось. Всё это, нет, не шутка, не вымысел, это произошло на самом деле, и это уже неисправимо, он теперь инвалид, он потерял руку, совсем потерял, навсегда. Ему не приснилось это, не привиделось, он ничего изменить не сможет, никто ему руку никогда назад не пришьёт; он остался никому не нужный, в одиночестве, без работы, без монастыря, без друга единственного, без поддержки, без денег, и… без руки. «Может, она всё-таки не бросит?!» – в ужасе заметался он, хотя несколько часов назад мечтал отделаться от неё навсегда. Но кроме неё, получается, совсем никого и ничего. И прощайте возвышенные красивые мечты. Надо же было такому случиться…

Лечь, что ли тут, на этом замусоленном коврике, помучиться и умереть с голоду?.. Он поднял глаза на икону, которую привёз с Кипра, и снова спросил в отчаянии: «За что?..»

***

В больнице он уже успел многое переворошить по поводу «за что?» Вспомнил даже: «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки её», только разве его рука соблазняла? Нет… Ну да, совершил он однажды позорную кражу, но он же каялся, он признался во всем Даше, и она простила его, он не смог рассказать об этом с первого раза на исповеди, но ведь он обязательно рассказал бы со второго или третьего раза. Можно подумать, у остальных людей моментально всё получалось, или они безгрешные… Есть, которые вообще крадут постоянно, и ничего… А он – с дурной головы, в порыве, в приступе, подумаешь, с кем не бывает! Тем более, он искренне собирался вернуть всё до копейки, и даже больше. Это в древности, по суровым законам, укравшему без разбирательств и следствий отрубали руку, но теперь…

Нет, причина заключалась, конечно, не в этом, иначе половина человечества ходила бы безрукой, кто хоть раз в жизни чего-нибудь не стащил? Всякий в детстве без спроса брал из вазочки конфеты... «За что же тогда послано это несчастье?..»

Он вспомнил об открытии, которое произошло в больнице. Лежа в пропахшей лекарствами и хлоркой мрачно-белой палате и целыми днями терзаясь вопросом «за что?», он размышлял о своих грехах и снова разбирал ясно и отчётливо тот момент, когда ехал в электричке с «украденным в церкви ящичком для пожертвований». Он тогда так и остановился на многоточии, не найдя разгадки, почему чувствует себя вором и почему ему кажется, словно он носит этот ящик на шее.

О, он уже узнал из Нового Завета в Махерасе, *кто* носил ящичек с деньгами на шее, но толково обдумать это так и не получилось. «Ну, я же не *тот*?» – спрашивал он и ёжился, и где-то в глубине души подозревал, что, наверное, значит, к «*тому*» имеет отношение.

Итак, в больнице он снова обратиться к загадочному воспоминанию, когда «точно знал, что украл, хотя и не крал, и даже мысли не было». И полагал, что уж, скорее, за это не понятое им самим преступление послано ему такое жестокое наказание, а вовсе не за то, реальное, как выразился священник, которое он действительно совершил, потому что это, «вымышленное», было болезненнее, угнетало сильнее, чем настоящее.

Заново пытался он уяснить причину своей навязчивой идеи, и попросил про себя с отчаянием в молитве, чтобы появилась какая-нибудь здравая чистая мысль, но ничего в ответ не произошло и не озарило. Тогда он, чтобы дать выплеснуться унылому терзанию и успокоиться, долго бродил по больничному коридору.

И вот навстречу ему вышли из кабинета двое: его лечащий врач, тот самый, добрый, участливый, а вместе с ним высокий элегантный господин, именно господин, потому что он казался таким подтянутым, слегка небрежным, каким-то до ужаса умным, претенциозным, – наверное, профессор. Он был одет в чёрное пальто с абстрактными линиями и большими серебристыми пуговицами, деловую шляпу, поблескивающие дорогие очки придавали образу дополнительной эффектности и остроты, а небольшая бородка, красивый прямой нос делали его похожим на скульптуру. Выглядел он весьма обаятельным, был ещё молод, вероятно, не больше лет тридцати шести, и что-то горячо втолковывал врачу, а тот увлечённо слушал, так, что лишь едва кивнул в ответ на его робкое приветствие, когда они проходили мимо. И за этот самый момент он успел расслышать отрывок фразы, которую весомо и солидно произносил господин:

– …это был сон, ночной кошмар, который преследовал его из-за той мелкой детской кражи, и в результате возникло длительное тревожно-мнительное состояние, сопровождавшееся не только нервным расстройством, но… – и они удалились.

И тут он вспомнил!.. Его пронзило всего насквозь, как тогда, в Махерасе, одним яростным, внезапным, как ночная молния, воспоминанием. Сон! Ну конечно же!!! Ему однажды всё это приснилось! Просто приснилось! Очень давно, в детстве. И это был такой ясный, такой подробный отчётливый сон, и он-то тогда ему в электричке вспомнился! Не приснился заново, а именно вспомнился, так же детально, ярко и живо, как снился много лет назад. Но раньше-то, в детстве, он и внимания на него не обратил, забыл наутро – и всё. И, на тебе, через столько времени, он вдруг красочно, болезненно вспыхнул, стукнул в его памяти. А почему, спрашивается? А очень просто, потому что ему подробно снилась именно та самая церковь Николая Японского в посёлке Мирном, хотя он раньше там никогда не бывал.

Да, снились реально существующие иконы и закрытые невысокие царские врата, и терпкие травянистые запахи тоже снились, и даже свечной столик, в общем, абсолютно всё и точно так же, как оно в действительности существовало. И вот во сне он совершил это преступление, схватил в толпе ящичек и бросился наутек. Поднявшись утром, он даже не вспомнил об этом сне – в голове откладывались подлинные пережитые кошмары. Получается, тогда сон испарился, а спустя столько лет вылез, когда он наяву побывал в этом же месте.

Конечно, удивительно и необъяснимо, как он мог видеть, да ещё так отчётливо и точно, во сне место, где он очутился много позже, но на фоне каких-то настоящих чудес, о которых он слышал и читал в Махерасе, это была мелочь, которая и внимания не заслуживала. Сны – явление малоизученное, и уж он, конечно, далеко не первый, с кем подобная история произошла.

И тут его снова пронзила и ужаснула простая такая, насмешливая мысль: «И всего-то?!!» Значит, всю вот эту бурю, его метания целый год, ящики, болтающиеся на шее, бесконечные терзания, о которых он не осмелился рассказать даже Елисею, ощущения себя последним негодяем, вором или клептоманом, были всего-навсего результатом какого-то жалкого десятиминутного сна, который приснился ему много лет назад?! И вот этим он так мучился?! В этом он искал откровения, просветления, покаяния, тайны и смыслы? Из-за этого готов был головой о пол биться?!

Стоп, нет! Нет. Он тёр лоб, пытаясь, уяснить отрывок услышанной фразы, благодаря которой случилось это «озарение». И наконец, он вспомнил всё до конца!

***

Это случилось в детском доме, когда ему было лет восемь. Он нечаянно нашёл «богатство» мучителей из своей группы (а были ещё и старшие). Клад представлял собой фантики и вкладыши от жвачки, много, собранные «в общак», лежащие в коробке из-под сигарет «Винстон» под шкафом. Они имели для его ненавистников некоторую ценность – можно было в них играть и даже обменивать на мелкие деньги или что-то вкусное. Сам не поняв, что и почему делает, он схватил упаковку и спрятал на груди под майкой.

Назавтра в школе он обменял их «по дешёвке» на четыре кислые карамельки у какой-то «домашней» девочки из младшего класса, взяв слово, что она никому не расскажет. Та была рада удачной сделке и, действительно, его не выдала.

«Они» обнаружили пропажу лишь спустя неделю, но на него не подумали, а заподозрили друг друга и передрались между собой, впрочем, вскоре снова объединились для очередных издевательств над слабыми. Одному мальчишке в той потасовке выбили зуб, и он кошмарно орал – (больше от испуга, так как на месте молочного уже лез коренной), – теперь он понял, что именно этот жуткий плач снился ему в электричке, когда он возвращался от Николая Японского. А тогда ему это «преступление» так и сошло с рук. И позже уже приснился «пророческий» сон, который детально воспроизвел церковь, где он побывал много лет спустя. В детстве он, конечно, два этих

события никак не связал, вскоре начисто забыл про кражу, поскольку она была пустячной, да и мальчика быстро успокоили.

Он уткнулся затылком в стену коридора и медленно съехал по ней вниз. Странно, но его охватил жгучий стыд из-за той детской кражи. Возможно, он окончательно свихнулся, но чувствовал в том поступке нечто настолько отвратительное, что было хуже «золотого» воровства. Вероятно то, что он впервые сломал, нарушил что-то «святое» в себе. «Ведь взял, потому что хотел отомстить врагам, – размышлял он. – Да и перепалкой их был очень доволен, злорадствовал». Открытие ненадолго отвлекло его от несчастья, он удивлялся мистическому сну и неожиданной разгадке «японского чуда», которую так внезапно и случайно, не желая того, подарил ему высокий господин в пальто.

Возможно, мысли про чудо ещё больше взбудоражили бы воображение, если бы он узнал тогда, сидя на полу в больнице, что этот господин, которого он принял за профессора, был в действительности тем, кого он искал, с кем так давно хотел встретиться и познакомиться, одним словом, тем самым загадочным и неуловимым Богословом.

17

Томительно и неопределённо время шло. Дни сливались в единую тоскливую пелену. Никто о нём не вспоминал. Даже она. Ни звоночка, ни весточки. Наверное, решила от него освободиться теперь, чтобы не омрачать себе жизнь чужими проблемами. Ей и до того с ним несладко приходилось – она не уставала поучительно напоминать об этом при каждой прежней встрече. Но теперь он боялся, что она бросит его навсегда.

Да, он сам сгоряча выгнал её, но вскоре понял, что трусливо в глубине души надеялся, что она вот так его умирать не оставит. Однако чем дальше бежали пасмурные сизые дни, тем меньше он верил, что она вернётся, и кисло кривил осунувшийся рот. Ладно, ничего, спасибо добрым молодцам – браконьеру и его друзьям-пьяницам за то, что с порога преподали ему значимый урок. Никому не нужны инвалиды, никому их не жаль, никто с ними возиться и церемониться не собирается, нет, и никаких соплей.

Иногда в его прежней жизни возникали случайные люди, еле знакомые или незнакомые вовсе и пристраивали подработать, а он, дурак, не ценил этого, но теперь, естественно, по закону подлости, никто не появится, у него и телефонов ничьих нет, чтобы попросить помощи. Надеяться на чудо, что кто-то хороший с неба упадёт, конечно, можно, но только он, увы, заметил, что чудеса в его жизни, чем дальше, тем больше происходят куда-то в обратную сторону.

Он доедал стародавние запасы, накупил на последние деньги круп, особенно дешёвой пшеничной, чая, макарон, насушил, кроме шуток, сухарей и ломал голову над тем, что делать дальше. Практически сломав её, и не найдя ответа ни в молитвах, ни в Евангелии, ни во всём своём предыдущем жизненным опыте, он вновь отправился на исповедь, авось что-нибудь посоветует священник, тем более, он уже начитался к тому моменту в святоотеческих писаниях о том, что ни в коем случае нельзя полагаться на свой грешный ничтожный разум. «Так и скажу, – ехидствуя, подумал он, – не могу, дескать, полагаться на свой помраченный страстьми разум». И вяло усмехнулся. Он с каждым днём становился злее, ироничнее и понимал это, и знал, что это грех, и всё равно становился. И хуже думал о людях. А может, справедливее? С такими невесёлыми колючими настроениями заторопился он на службу.

Теперь он рассказал пожилому, с раздувшимися венами на кистях и запястьях батюшке всё, быстро, чётко и подробно, держа за собой очередь исповедников и нисколечко не стесняясь этого, а даже потихоньку злорадствуя. После потери руки его знаменитая стеснительность куда-то пропала, а на смену ей явился сарказм и даже нагловатость.

Да, он взял навязанные деньги у больного старика, истратил на золото для женщины, которую не любил, и с которой без венца жил, а ещё он ненавидел людей и всю свою горькую судьбу, такой вот он гнусный подонок, а ещё он разочаровался в чуде и не верит больше в помощь Божию… тут неожиданно для себя он взахлёб разрыдался и стал говорить, что ничем не заслужил такого несчастья. Священник тёр лоб, машинально теребил бороду, потом успокаивал его и жалел.

– Что мне теперь делать, – наконец спросил он, совершенно забыв ироничную фразу про ничтожный разум, – не милостыню же идти просить?

– Если будет нужда, идите и просите, – с налётом даже пафоса возразил священник, – ничего тут стыдного нет. «Просите, и дастся вам». Но прежде всего, ищите работу. Господь поможет, найдёте обязательно. Какие-нибудь копеечки и за инвалидность получите, обратитесь в специальные организации. И в социальные службы позвоните, возможно, там помогут. Я о вас помолюсь. Вы же сами понимаете – могло быть хуже. А с одной рукой заработаете на хлеб.

– И воду, – вредно пробормотал он, а священник только вздохнул, прочитал разрешительную молитву, благословил его, хотя он вовсе не просил, и пожелал Божией помощи.

***

Прямо из церкви он отправился… в подземный переход. Говоря по правде, он ужасно обиделся и разозлился. Ему казалось, что об него в очередной раз вытерли ноги и оплевали. Потому что надеялся, что священник всё-таки что-нибудь особенное посоветует, мудрое, до чего он сам додуматься не в состоянии, а, возможно, поможет ему делом, пристроит куда-нибудь. А он ничегошеньки нового не сообщил. Про инвалидные пособия и врач в больнице рассказывал, и справки специальные выдал, но чтобы их оформить, нужно сперва саму инвалидность получить, а это не раньше, чем через месяц. Он ещё только отвёз документы на экспертизу и готовился к освидетельствованию, зная наперед, что дадут третью группу, а значит, выплаты будут минимальными, да ещё за ними побегать придётся.

Он совсем упал духом, потому что это очень стыдно – просить милостыню. Даже, когда ты покалеченный, даже когда ты в инвалидной коляске или на костылях, – унизительно и стыдно. Но ему, действительно, вот-вот станет нечего есть. На Кипре он не позаботился что-то скопить, не имея такой полезной привычки, – небольшие получки проедал в кафе, а того, что осталось едва хватило на обратный билет. Теперь он проклинал себя за расточительность. Даже если найдётся работа – мизерный аванс в лучшем случае заплатят через две недели, а он уже по опыту знал, что могут и за месяц не заплатить или дать втрое меньше, чем обещали, и выгнать, наняв на его место другого, такого же растяпу.

«Ничего, посмотрим, как это делается, «просите, и дастся»», – прошипел он, но почувствовал, что злость куда-то улетучилась, а на смену пришла грусть и робость. Он подобрал рваный цветастый пакет на помойке, разложил его на полу, бросив камешек, чтобы не улетел. Гордо выставил культю из рукава, целую руку, наоборот, спрятал подальше, в пальто – пусть думают, что у него и с другой рукой проблема. Сделал жалостливые глаза побитого щенка и театрально трагически застыл у стены в подземном переходе. Но не тут-то было.

Только он расположился и смиренно приклонил выю, как к нему припрыгал на костылях молодец в камуфляже.

– Тут всё забито, – сказал он, – места нет, извини.

– Как… места нет? – не понял он.

– Этот переход уже год, как поделен. Видишь, в начале бабка с иконой, в середине гармонист, а в конце я. Мы – утром и вечером, а днём тут ребята с оркестром работают, и ещё одна старуха, с перевязанной головой, и девка-татарка с ребёнком. Ты что, не видел, никогда?

– А где же… есть место? – растерялся и испугался он. Парень пожал плечами:

– В переходах у метро обычно всё занято, в метро тоже, и там больше менты гоняют, ты новичок, что ли?

Он не ответил. Посмотрел исподлобья на солдата и заковылял из перехода, забыв про пакет с камешком. Парень догнал его на своих костылях, отдал пакет и сделал извинительный жест плечом, я, мол, не виноват.

Вот как… Тут, оказывается, тоже всё непросто. Конкуренция, понимаешь. Бизнес. Ладно, об этом поплачем после, а пока если нет места в переходе, так, может, хоть на улице сыщется? Он огляделся: вроде нищих поблизости не было. Встал у входа метро, протянул пакет. Не успел и десяти рублей насобирать, как к нему подошёл человек в форме. Он сразу понял. Попрошайничеством заниматься запрещено. Ага, слушаюсь, товарищ полицейский. И про себя заматерился.

Наконец он спрятался за стеной какого-то магазина и робко высовывал оттуда свою культю. Но прохожие его не замечали, и вскоре он замёрз. Морозец!.. Потанцевал, потерпел, но дальше стоять стало невозможно. Мелочи за два с половиной часа набралось шестьдесят два рубля. «Не хватит даже доехать, – вздохнул он. – Тьфу. «Просите, и дастся вам…» Господи, прости меня грешного...»

Дома он, тихо и злобно порыдал, затем, собравшись с силами, без аппетита поел круглого риса, поливая его кетчупом. «Кетчуп – роскошь, скоро придётся отказаться. Шестьдесят два рубля…» Эти честно выпрошенные деньги он потратил с пользой: купил газету с объявлениями о работе.

В каких разделах искать? Какой-нибудь раздатчик объявлений или собиратель платы в общественных туалетах… Вот чудесно – до конца дней своих изо дня в день всучивать бумажки или сидеть возле унитазов, да ещё и мыть их. О такой карьере можно мечтать. Чтобы отвлечься от размазывающих по стене мыслей, он включил телевизор.

– Надоели секущиеся концы? – запальчиво спрашивала завлекательная женщина, делая эффектные блестящие глаза, горделиво откидывая голову и потряхивая густой гривой.

– Сразу четыре машины столкнулись в дорожно-транспортном происшествии на Можайском шоссе, – деловито тараторила на следующем канале другая, совсем уже роскошная, с глубоким декольте и огромным бюстом, который любой, даже самой плохой новости добавлял долю оптимизма.

А женщины-то у него, похоже, больше никогда не будет… Он с отвращением посмотрел на свою бесполезную руку, сжал губы, и угол рта пополз вниз. Вообще, это ужасно противно, но в крайнем случае... А что остаётся?.. На третьем канале тоже, как назло, оказалась смазливая девица и даже уже голая, готовая отдаться лысому губастому бандиту, который, похоже, только что всех подряд перестрелял. Он потянулся к пульту: хватит, электричество теперь нужно экономить.

Трам-пам-пам… Что ж, придется запастись на месяц макаронами и идти раздавать объявления, надеясь, что ему за это заплатят. Он позвонил по двум подчёркнутым фломастером в газете телефонам: в обоих местах, узнав о его беде, ему отказали, посоветовав обратиться в общество инвалидов. Хе-хе. За-ме-ча-а-а-тельно! А ведь, пожалуй, он, взаправду скоро околеет с голоду.

Прошло два тревожных, взвинченных выходных дня, наполненных внутренними безнадёжными монологами, обращёнными в никуда. Молитвы не получалось. Он мрачнел, зарастал щетиной и питался кашами. Постился, одним словом, хотя Рождественский пост уже кончился, а Великий ещё не начался. Мысли лезли в голову самые убийственные: ему рисовалось, как он, истощённый, валяется на собственном ледяном протёртом полу, не может подняться от слабости и, стеная, испускает дух. «Хоть бы дали лёгкую смерть в забытьи. Или мучительную, но

быструю, очень быструю, – жалобно ныл он. – Впрочем, тьфу, и снова тьфу, оставили же для чего-то жизнь...» Но легче от таких раздумий не становилось.

***

И тут вдруг, когда он уже совсем чуть не подох от отчаяния, приехала к нему она. Скажите, пожалуйста, а он-то и надеяться перестал. Привезла продуктов. И сообщила, что скоро окончательно к нему переберётся, а свою, то есть, бывшую мамину, квартиру сдаст, и им этих денег хватит «на прожить».

– Не надо, – неожиданно для себя, тихо и твёрдо сказал он.

– Что? – спросила она.

– Нет.

– Что значит «нет»?

И тут он стал странно, нелогично отвечать, словно наперекор себе, здравому смыслу, своим нерадостным думам и страхам, что душили его эти дни, наперекор решительно всему, что он чувствовал и чего хотел, – что-то само в нём заговорило убедительно, серьёзно, даже строго. Оказывается, «он всё обдумал», – да, всё-то всё, только буквально противоположным образом, чем сейчас вещал. «Он точно, бескомпромиссно хочет жить совсем один», – может, и хочет, да вряд ли сможет. «Он ничего не боится», – он решительно всего боится, даже собственной тени, и это не шуточки, он, пожалуй, ничего другого сейчас не делает, как круглосуточно боится, трясётся, дрожит, и во сне тоже. «Ей лучше вернуться на Кипр», – ага, а его бросить помирать к ядрёной бабушке! «Это его проблема, вернее, испытание, которое ему послал Бог, и с которым он должен справиться», – ага, как раз успешно справляется последние дни – шестьдесят рублей заработал!

В общем, получается, он наврал самым наглым образом, прямо, тихо и ласково глядя ей в глаза, перевернул ситуацию с ног на голову, и сделал всё, чтобы теперь-то она точно оставила его одного умирать.

И она, пожав плечами, уехала на Кипр. И он был сам в этом виноват. Кто или что заголосило в нём в тот момент, неизвестно – очередная мистика. Никакого героизма или мужества с его стороны, потому что ничего подобного он делать не собирался, – само выскочило, да ещё так убедительно, что чем больше он говорил, тем больше верил, что именно это накопилось на душе, и лишь когда закончил, и она, попрепиравшись для приличия и сказав, что он рехнулся, ушла, сообразил, что нёс прямо противоположное тому, что в действительности переживал.

Но не бежать же за ней? Сделанного не воротишь. И он опять, невесть для чего, стал упрекать про себя священника, который упомянул, что необходимо венчаться, а не жить в блуде. Нет, ни венчаться, ни жениться он не хотел. А она и подавно. Особенно теперь. Они однажды разговаривали об этом, и она подняла его на смех за робкое предположение: «Ну, может, когда-нибудь потом?..» Она – современная женщина, которая не собирается обременять себя лишними заботами, она сама себя обеспечивает и живет так, как ей нравится. Ей хорошо и весело. А когда она желает пообщаться с ним, то будь любезен.

Хотя если бы ей приспичило, она в два счёта женила бы его на себе, он ведь был тряпкой, мямлей и подкаблучником. Не любил её, но при этом не мог и уйти. Она просто врывалась в его жизнь и квартиру без предупреждения, без стука и делала то, что ей было нужно. А он не решался возразить. Неудобно же обижать человека. В общем, всё к лучшему, – понял он, – руку потерял, зато приобрёл начальную стадию характера. И снова взялся изучать объявления в газете.

Через несколько дней его взяли на изумительно интересную работу – рассовывать рекламные листовки по многочисленным почтовым ящикам, и даже обещали через две недели выдать аванс. Он честно вставал в пять утра, агрессивный, как голодный волк, и небритый, ехал в Москву зайцем, иногда, попадая на зевающих контролёров, от которых уже не рисковал спасаться,

перебегая из вагона в вагон, боясь споткнуться и упасть, а предпочитал выйти и подождать следующую электричку. Впрочем, контролёры иногда гуманно обходили его, быстро отводя глаза от выставленной напоказ культи.

Но, увы, через две недели, как он и опасался, никакого аванса ему не вручили, пояснив, что трудится он плохо, потому что, видите ли, по объявлениям никто не звонит (еще бы, а кому нужны пластиковые окна по цене платиновых?). Велели вкалывать ещё две недели, «без халтуры», тогда, дескать, и получит всю зарплату сразу. Он сразу разгадал их хитроумный замысел и немедленно уволился, потому что ни разу, как они выразились, не схалтурил и не смухлевал. А работа была тяжёлая, и он уже со второго дня решил, что больше месяца на ней не протянет: вставать в такую рань, садиться в дребезжащую дрянь, надевать болтающуюся драть, мчаться в скучную даль, бегать, застревая в снегу и слякоти, по однообразно и тесно застроенным районам с тележкой, иногда нарываться на оскорбления от жителей дома, которых раздражала ежедневная макулатура в ящиках, нет уж, слуга покорный. В итоге он не получил ни копейки. И никому не интересно, что он инвалид.

***

Он стал звереть. Дичать. Свирепеть. Пошёл и купил бутылку водки. Поставил дома на кухонный стол, заваленный немытой посудой и усыпанный крошками, и стал на неё смотреть. Смотрел час, наверное, и почувствовал, что пьянеет от одного только рассматривания. Потом всё же кое-как открыл, зажав бутылку между ногами и отвинтив крышку. Пить он никогда не умел: голова тяжелела, валилась в разные стороны, тело делалось ватным, и этой радости, когда мир кружится, и всё безразлично, он решительно не понимал. Но он же слышал и читал, что люди пьют с горя. Самое время, значит, начинать спиваться. И как только он начал спиваться, налив сразу полстакана и выдохнув, как к нему... ворвалась Даша-нельзя.

Это была действительно она, а не видение, не белая горячка и не призрак. Её он меньше всего ожидал, впрочем, почему «меньше» – он вообще уже никого никогда не ожидал. Относительно Даши же у него отчётливо отложилось в памяти, как она рассказывала, трепыхаясь, что ей «ни Елисея не жаль, ни больных онкологических не жаль, ни мать не жаль», и нет в ней милосердия, значит, вычислил он, она к забулдыге безрукому никогда не явится. И вот явилась – как только он решил забыться, предаться гнусному злостному пьянству, стать рабом зелёного змия, начихав на окружающее.

Даша, недолго думая, хлопнула залпом налитые полстакана, потом ещё полстакана, потом ещё, и стала клясться в вечной любви. Она, оказывается, ещё тогда, когда он её «спас», вытащив из песочницы, поняла, что он настоящий человек, а не «как эти все». И записала его адрес, и решила, что «обязательно сюда вернётся», и «потом, когда они поехали к Елисею, она ощутила…», и «это случилось из-за неё, ведь её забытая перчатка стала причиной катастрофы, и это она уговорила ехать его именно в тот день». И вот «она вернулась навсегда», и рыдала, и лезла обниматься… в общем, он уложил её спать. А потом печально, не отрываясь, сидел и смотрел для чего-то, как она спит, чуть подрагивая ресницами и посапывая.

Наутро повторилось почти то же, что и в прошлый раз. Она оставила ему деньги. Только уже не для деда, а для него самого. Конечно, не в качестве возмещения ущерба, хотя «она во всём виновата». И – нет, она не считала себя обязанной – она просто хотела помочь, она пришла сюда вчера поздним вечером именно с целью помочь, но от неловкости не знала, как сказать ему о деньгах, оттого напилась и, кажется, «наговорила чего-то лишнего».

Он взял. Со стыдом. Можно думать, что угодно, что он мокрица, позорный иждивенец, грязный нахлебник, но ему нужно было как-то платить за квартиру, дожить до возможности хоть минимально зарабатывать самому и получать по инвалидности. И тогда, конечно, он всё отдаст.

Обязательно. Несомненно. Он понюхал деньги, – нет, они, действительно, ничем не пахли. Ну, разве что её сладко-душистой сумочкой.

Даша, наигранно поулыбавшись, упорхнула, обещав позвонить, а он, по меткому предсказанию старика, стал «жить за счёт проститутки». Или продолжил? Он запутался.

Вчера он убедился, что она искренне считала себя виноватой. Она смотрела на его культю по-собачьи жалобными, наивными, напуганными глазами, красными от слёз. А ведь никакой её вины в той кошмарной случайности не было – забыть перчатки может каждый, и то, что она замешкалась у платформы, не обязывало его стоять у самых рельсов, да ещё спиной к ним, – сам дурак, всюду висят щиты-предупреждения об опасности...

Он подумал, что если бы не взял очередные «некрасивые» деньги, это тоже вышло бы нехорошо, слишком гордо. Она бы, наверно, разревелась и себя возненавидела окончательно, – он же помнил, как она плакала под окнами у старика, – казнила бы себя яростно и беспощадно. На этот раз деньги не казались ему грязными, ведь он по-настоящему в них нуждался.

***

Вдарил мороз, скользкие дорожки заставляли его семенить, хватаясь за обледеневшие стволы деревьев, под съезжавшую на левое ухо «кошачью» шапку задувал особенно ощутимый при таком холоде покалывающий ветер, но несмотря на это он, «затаив у сердца» медицинскую справку, и бережно уложив в папку документы, отважно шёл разбираться с бюрократическими делами.

Как и следовало ожидать, быстро пройти комиссию и оформить инвалидность не получилось. Ему позвонили: справок из больницы оказалось недостаточно, нужны были ещё две хитрые бумажки с подписью врача и печатью, а с ними потом его допустят на экспертизу. Он, решив не откладывать дело в долгий ящик и выяснив, что дополнительные справки эти можно получить у врача уже сегодня, отправился в Москву. Погода приподняла настроение: небо синело, солнце прорывалось сквозь ели и, сияя, кидалось в снег, а в нём, инопланетно чистом, чьи-то следы вели через сугробы в неведомую, переливающуюся радугой долину.

И всё же, умытый и освежённый резким сверкающим воздухом, он оставался раздражённым. Браво и нервно посвистывая сквозь зубы, он влез в прогретую, пахнущую хозяйственным мылом электричку и ехал, зачем-то разглядывая чёрную «ноль-шестерку» над дверью в тамбур, раздумывая о том, как много он врёт. Словно за него живёт и говорит вежливая пластиковая кукла с застывшей еле заметной улыбкой. А ведь на самом деле, он разозлён, оплёван, растоптан, всё его мучает, всем недоволен, всех избегает.

Ну как можно смириться с глупостью, что на его несчастную культю требуется предъявить целых три справки вместо одной, хотя и одной не нужно, чтобы увидеть, что левая рука у него отсутствует? Что и кому тут-то он должен доказывать? Как будто сразу непонятно, что рука обратно уже не прирастёт. «Нет, – ехидничал он, – только когда экспертная комиссия, внимательно осмотрев, аккуратно вынесет заключение, что она, как ни странно, не просочилась, не проклюнулась из обрубка, – тогда можно рассчитывать на получение своих копеечных пособий».

Ладно, положим, не таких больших трудов стоит доехать до больницы, где уже ожидает приятный добродушный врач, но вот заявление написать для него проблема, а никто с этим считаться не собирается! Да и вообще он возмущён, он кипит: с ним высокомерно и безразлично говорили, на него презрительно и недоверчиво смотрели, ему, как обычно, никто не сочувствовал, он для них надоедлив, неприятен – и так всегда, всегда. А почему, разве он червяк, таракан? Неудивительно, что в нём нет ни капли любви к людям – его толкают, над ним смеются, иногда грубят или обманывают. Люди жестоки, они порой, не смотря на отсутствие у него образования,

глупее его – простых человеческих вещей не понимают. И он почему-то всегда молчит, ёжится и всех боится. Да, а ещё он ненавидит тех, кто делал ему подлости. Сколько он натерпелся в детдоме, а чем он перед ними-то, детдомовскими, был виноват? Вёл себя тише воды, ниже травы. Как он может забыть то, что там вынес?!

Он не врёт себе: он мстителен, горд, злопамятен! Невозможно не раздражаться или не зажиматься, хоть он даже и пожил в монастыре, и почувствовал, узнал то, сокровенное, высшее, святое, о чём Елисей говорил. Но в итоге получалось, что благодать была сама по себе, а он сам по себе, и что с того, что он мог её чувствовать? А вот сдержать внутреннюю бурю протеста, когда с него требуют бессмысленные бумажки, хотя ясно, что они просто действуют по инструкциям, созданным, очевидно, для благих целей, – он никак не мог. И по более незначительным поводам возникало у него негодование и возмущение, и он не умел с этим справляться, – даже священника, который желал ему добра, обвинял и ругал за невнимание, непонимание и обижался, что тот «послал его побираться». Нет, ничем он, несчастный, не заслужил такого отношения людей, – и от угрюмой беспомощности он проклинал судьбу.

***

В утешительно покачивающемся вагоне было малолюдно – днём, в рабочий день, почти никто не ездит в Москву, это утром электрички бывают забиты донельзя, так, что и пальчиками не пошевелить. На остановке вошли и сели напротив него, посмеиваясь и болтая о пустяках, полноватая женщина в бежевом пуховике с девочкой-подростком. Он и не глядел на них, он вообще в окно смотрел, даже куда-то мимо, на мутное раздвоившееся пятно на стекле, но и тут у него возникла раздражённая мысль: вагон полупустой, нет, нужно войти и сесть именно напротив него, и молоть языком (подумать только, как важно!) о том, что дверь из тамбура не закрывается! «Наверное, сломанная!» «А может, если посильней нажать, всё-таки закроется». «Да нет, наверное, её сломали хулиганы, ходят, хлопая дверьми…» Содержательная беседа, ничего не скажешь, о главном! Действительно, хулиганы – люди нехорошие, а не хулиганы – люди хорошие!

Он повернул голову от окна, чтобы с горестной миной окинуть их укоризненным взором с лёгким оттенком презрения, а затем величественно пойти пересесть на другое место, и… чуть не задохнулся. То есть у него внутри всё дернулось, так болезненно, и перевернулось. И он скорее отвёл глаза от девочки и проглотил воздух. В электричке сильно топили, и поэтому они сняли свои пуховики. И вот он увидел, что у девочки этой вместо рук, даже не то, что у него теперь вместо левой, нет… У неё вместо рук, причем обеих, – какие-то зародыши, что ли, неразвившиеся, какие-то крохотные сухонькие птичьи лапки мёртвого цвета, прижатые тесно к груди, и не достающие даже до пояса. Она не могла ими двигать, это было понятно с первого взгляда, они свисали, тоненькие, неживые,– странно, что ей не сделали операцию и не отсекли их совсем.

Подавившись пустотой, он сделал сам то, что жгуче возмущало его в других – отшатнулся. Впрочем, только мысленно, хотя, наверное, на лице отразилось отвращение и ужас. Сжал губы и перевёл затянувшиеся мутной пеленой глаза на мать. Эта была здорова. Она достала из сумки порезанное на кусочки яблоко и кормила им девочку. А девочка, кстати, оказалась не такой уж девочкой, – из-за неестественной худобы, большой головы и тощих узких плеч она выглядела подростком, но по лицу он заметил, что ей хорошо за двадцать, может, даже ближе к тридцати.

Ну… он так и остался сидеть напротив, опустив веки, не шевелясь. И несколько минут приходил в себя. Потом снова еле заметно из-под ресниц оглядел это, страшное, чтобы удостовериться, что ему не показалось, и опять, не выдержав секунды, отшатнулся, невозможно было смотреть. Про себя самого он забыл, словно никогда не появлялся на свет, а голова превратилась в единый клокочущий и раздирающий на части сгусток мыслей.

«Значит, это с рождения, вообще без рук, без одной, всю жизнь под заботой матери, и, хорошо, что мать есть, а не отказалась от неё… Значит, сама ни поесть, ни в туалет сходить, ни помыться, ни в чём обслужить себя, как это возможно – вообще ни в чём, а мать, значит, при ней неотлучно, – нет, он не хотел представлять, как они живут. – Изо дня в день, каждую минуту, и ничего, обсуждают дверь в тамбуре, держатся, привыкли, Господи помоги этой матери, помоги этой девочке. А чем? Это безнадёжно, уродство, которое навсегда останется». Его внутри разрывало, накрывало знакомым кошмаром и дурманом, бессмысленными беззвучными воплями, страшно было поднять глаза, и слёзы, как тогда в камере, наконец выкатились и беззвучно потекли по щекам, падая на колени. Как это неловко, они ведь сейчас догадаются, почему он плачет. Нет, это совершенно невыносимо, за что, за что, за что?..

И он молча глотал громадные солёные капли, не вытирая их, а они не замечали, продолжали болтать о милой ерунде, теперь уже о «жутком» браслете, купленном кем-то за двести евро, и о каких-то фирменных платьях, и о кинофильме, и о смешной статье в журнале, словом, о том, о чём говорят каждый день обычные люди. Но ему в одночасье услышались все мысли, которые были когда-либо в голове у этой девочки...

Он будто упал под их тяжестью, он пережил их: о несправедливости, жестокости, о том, за что ей такое горе… Она же нормальная, образованная, взрослая девушка, умная, он это по разговору понял, – училась в колледже, в специальной группе, и даже по-английски умела говорить; и мама – терпеливая, сильная духом женщина, которая эту ношу несла с достоинством, стараясь всё сделать, чтобы дочь себя не чувствовала неполноценной. И вот как это больно, странно, что они пытаются жить, как любой человек из толпы: говорят о пустяках, шутят, обсуждают современные вещи, наряды, украшения, а всё равно за этой непринуждённой болтовнёй громкий вопль о беде, о нечестности, о незаслуженном неравенстве, об ужасе перед будущим, обделённости, обиженности. И очень может быть, что эта девочка ещё в детстве к Богу взывала и читала о чудесных исцелениях, и вот у неё этого всего не произошло, а она поверила, что может произойти, и… не случилось. А она надеялась и мечтала, чтобы наука скорее научилась лечить такие патологии, но нет… И вот она выросла, и теперь уже знает, что чудес не будет, что всё так и останется до смерти… Нет, невозможное что-то… Сон…

Зачем всё это? Зачем она без рук? Ни она не знает, ни мама её, ни он, – никто на этот вопрос не ответит. И у него странная, какая-то провокационная мысль мелькнула, что, может, она хорошая, самая в мире добродетельная, что дай ей Бог руки, она бы очень много добра сделала, столько, сколько не нужно. Не нужно, потому что мы здесь для испытания, для терпения, для проверки на подлинность веры, не для того чтобы гору пусть даже добрых дел сотворить, а чтобы смириться, и это важнее горы добрых дел и милостей, – искренне, внутри себя принять всё, как есть. «Да только нет, нет, как же, как она может принять, как успокоиться, что никогда у неё не будет этих самых рук, никакие врачи их не приделают, и чуда не произойдёт? Это пока ей двадцать пять – двадцать семь, она ещё, наверное, верит, что выучится, будет работать, и как-то всё наладится, помогут, – а потом ей станет тридцать пять, сорок, сорок пять, и ничего не изменится!» И этой своей избранности, красоты, пронзительности, которую он так почувствовал, она никогда не поймет, не надо мне, скажет, никакой избранности, – дайте руку, хоть одну.

О Господи, да какое же огромное сокровище – иметь хотя бы одну руку. Ведь она, должно быть, завидует этим везучим людям, как он, с одной рукой! Какой он счастливый, что у него она есть! Да… а у других целых две, и сколько они этими руками делают необходимого каждый день, и как они их совсем не ценят, совсем на них внимания не обращают. Но как, честно говоря, мало хорошего он сам ими совершил, когда они у него обе ещё были, да не мало – вообще ничего, а для

этой девочки самое простое недоступно: ни обнять маму или друга, ни погладить собаку, ни подать милостыню, ни воды зачерпнуть…

А ведь и он мог обеих рук лишиться. «Господи, спасибо за то, что ты мне дал так много, Господи, прости, я ничего не ценю, я ничего не делаю, только сам себе кажусь героем и собой любуюсь. Ну, вот, смотри на них!..» О, он уже знал, какое пособие получают инвалиды. Даже инвалидам первой группы хватает только на необходимое, а ведь ещё лечение, лекарства. Нет, это вообразить нельзя, когда так изо дня в день, и до смерти, и практически надежды нет, что в этой жизни ещё что-то будет, эта душевная рана не заживёт, честно, не заживёт. Даже когда состарится… уродливость вытерпит, а несправедливость – нет… Нет, мы ничего не умеем в делах веры, нам проще изо дня в день кирпичи таскать, чем хоть капельку смириться от сердца…

– Вам плохо? – участливо спросила его женщина.

– Мне… хорошо, – глухо, откуда-то с другого конца вселенной, чужим голосом выдавил он. Но обнаружил, уловил с трудом, что ему, действительно, стало совсем плохо, что он проваливается в пустоту, черноту; ему показалось внезапно, что он и есть эта девочка, что на самом деле, он вот такой, что они одно целое, без рук… А потом стало мерещиться, что все люди такие, и охватил, затряс знакомый дурманящий страх, потемнело в глазах, зазвенело, загудело, заскрежетало в ушах, вокруг представлялись люди, толпы, и все калеки. От всех отвратительно пахло, он уже хорошо различал этот запах с больницы – запах неполноценности. Он появляется, когда человеку приходится ненормально и противоестественно напрягаться, прилагая усилия для того, что обычному, здоровому удаётся делать без труда, даром, бесплатно; запах постоянного переутомления, усталости, когда стараешься выживать, внушив себе, что силы рождаются от усилий, а не от отдыха; запах ощущения собственной обезображенности, возникающий от обострённого чувства беспомощности, от позора множества своих унизительных секретов и спрятанных приспособлений для облегчённого существования, которые обычному человеку и не снились. Навязчивый прогорклый запах озлобленной слабости, который будто выделяется от не проходящего ощущения уязвлённости и необходимости это скрывать, знать только самому или им двоим – что приходится делать изо дня в день, понимая и то, что другие люди живут без этого, свободно, легко, – всё равно, как из тюрьмы часами смотреть на чужой пикник в лесу. Вот настоящая свобода: когда сам себе в состоянии отрезать кусок хлеба и съесть, а не рвать зубами пакет и откусывать от буханки, и благо еще, если эта буханка есть, когда почесаться можно в любой момент, даже не заметив этого, а не приходится идти и тереться об угол стола или шкафа, когда умываешься, проверяя теплоту воды руками, а не лицом, – как немного нужно для счастья… Одурманенный внутренним тошнотворным духом, он почувствовал, что воздуха больше нет, и провалился.

Очнулся от резкого запаха палёной шерсти. Это женщина держала перед его носом тлеющую мохнатую нить. Жаль, что ему всё не приснилось…

– Не бойтесь, ничего страшного, – объяснила она, – вы упали в обморок. Минуту погодите, не шевелитесь, сейчас вам кажется, что трудно приподнять голову, но это пройдет, не волнуйтесь, я медсестра. Ну вот, уже должно стать лучше.

И правда, стало. Он заметил, что она расстегнула ему дубленку. Значит, они видели его культю. Значит, они, скорее всего, поняли, что он чувствовал.

– Вы, наверное, до Москвы едете? – спросила женщина.

– Да.

– Ещё три остановки. А мы сейчас выходим – в парке ледяные фигуры хотели посмотреть. Но вы не беспокойтесь, пока доедете, в себя придёте, только не делайте резких движений, и голова уже не будет кружиться.

– Спасибо, – чуть слышно пролепетал он.

– Можно обратиться в медпункт на вокзале, – с ноткой напускного оптимизма, продолжала женщина, – но, думаю, этого не потребуется. Дышите спокойно, не торопитесь, потихонечку идите, и полегчает. Всего вам доброго, до свидания.

– Всего хорошего, – сказала и девушка, и они направились к выходу.

Голова действительно перестала кружиться, он теперь тихо задумчиво глядел в серую лужицу на полу, натёкшую с ботинок, и слушал стук колёс. Вдруг вспомнил теорию Елисея или Богослова о случайно пролитой капле. Вот она, его настоящая... У него важнее этой капли в жизни ничего не было. Он и о поездке, которая казалась ему такой важной, и обо всех своих проблемах, трудностях думать забыл. Он уже не вопил, но шептал про себя: «Господи, прости, Господи, спасибо, Господи, прости...» И, когда он вышел на шумном суетливом вокзале, ноги сами повели его не к вежливому белозубому врачу в больницу, а в квартиру Елисея.

Он знал, что его там нет. Но это было неважно. Может, дома сейчас его мама. Он станет говорить с ней, пока не знает о чём, – но он увидит её и начнёт говорить о чём-нибудь. И она всё примет, поймёт, а если её нет там, он просто постоит у двери, и Елисей его услышит, а он расскажет ему, что с ним случилось, и помолится, и поцелует эту дверь, и поплачет, и уйдет. Он шёл, мало понимая, что он делает и почему, просто так нужно было…

18

И вот он стоял у этой двери. И уже наполнили его новые, другие мысли. Нет, не может быть, чтобы Елисея там не было. Дверь же оставалась на месте, та же, с потрескавшейся коричневой обивкой, порожек, колючий, пластмассовый, заляпанная зелёной краской кнопка звонка. И подниматься по-прежнему высоко по лестнице. Как может не быть Елисея? Да нет, конечно, он там, – стоит только позвонить, и он впустит его, и засверкает своими шустрыми чёрными глазками, и начнёт тараторить. Только сумасшедший мог поверить, что Елисея больше нет. Поэтому он не стал плакать и целовать дверь, как собирался, а, потоптавшись совсем чуть-чуть, позвонил. Сейчас, сейчас рассеются его недоумения, и он просто обнимет своего единственного друга, сейчас он откроет ему, худенький, невысокий, бледный, сейчас...

Никто не подошёл. Ни единого звука. Он ещё раз позвонил, и ещё раз, – ничего. И тогда он поверил. Елисея больше нет. Нужно с этим смириться. Там, за дверью, пустая квартира, в которую Елисей больше никогда не войдёт. Там его стол, компьютер, кровать, лекарства, коллекция ветряных мельниц, привезённых ему друзьями из разных стран, там его книги, иконы, диски и… тишина. Он в отчаянии уткнулся лбом в дверь, налёг на неё всей грудью, собираясь разрыдаться, но дверь неожиданно начала открываться. Вот как, оказывается, она не заперта… Неужели его мама такая рассеянная? Или ей теперь всё равно? Да, должно быть, так. Он, недолго думая, прошмыгнул внутрь. Это было неприлично, но он хотел увидеть снова квартиру, перебрать вещи Елисея, тихо посидеть, вспоминая его, – наверное, его мама позволила бы это сделать...

Он разулся и, взволнованный знакомыми запахами, перекрестившись, благо хоть для этого годилась правая его рука, сразу двинулся в комнату Елисея, готовый наполниться непривычным печальным беззвучием. Но едва он приотворил дверь с серым матовым стеклом из коридора, как тут же и отпрянул: за столом, спиной к нему расположился человек в больших наушниках, уткнувшийся в монитор крупного чёрного ноутбука и набиравший что-то на клавиатуре. Было слышно, что в наушниках громко играет музыка. Человек, почувствовав, что кто-то вошёл, обернулся, удивлённо и вопросительно уставился на него усталым недовольным взглядом. Но он удивился гораздо больше, потому что узнал в нём того самого высокого суховатого господина в пальто из больницы, который так внезапно помог разгадать его мучительный японский ребус.

– Вы ко мне? – спокойно спросил господин, отложив наушники. Долгую паузу, которая последовала за этим, он выдержал так же невозмутимо.

– Вы… Богослов! – ослепительно вспыхнула в уме догадка.

– Да, – величественно признался Богослов. – Садитесь.

Сев, неизвестно почему он почувствовал, будто у него гора упала с плеч. Он во все глаза, подняв почти до бровей мохнатые рыжеватые ресницы, в упор бесстыдно разглядывал Богослова, словно тот был редким музейным экспонатом, который выставили на короткое время. Наконец, зажмурился, схватился за лоб, сморщился и закачал головой, будто старик:

– Сколько я вас искал…

И он стал говорить ему всё, всё, с самого начала, подробно, часто закрывая глаза или бегая взглядом по грязноватым с цветочками занавескам и простенькой пыльной мебели. Он не только историю знакомства с Елисеем и Дашей-нельзя рассказал, но и про себя: про своих голубей, и про детство-сиротство, и про колотящие мутные страхи, и про «мирную» Японию, и про монастырь, и про потерю левой руки, упомянул зачем-то ещё про сегодняшнюю несчастную девушку и странный обморок. Он описывал это совершенно постороннему человеку, у которого даже не успел спросить имени, ворвавшись без разрешения по-разбойничьи в чужую квартиру, и это не казалось абсурдным. Наоборот, больше и больше складывалось ощущение, что именно к этому разговору он стремился с самого рождения, для этой встречи жил, что вот сейчас, высказав и будто исповедав всё, можно будет спокойно лечь на пол и умереть. И он продолжал, продолжал до бесконечности, сбиваясь, как Елисей, перескакивая с одного на другое и снова повторяя уже сказанное, и застывшим взглядом буравил стену, словно видел за потёртыми обоями события. Его не смущало, что Богослов за время его монолога не проронил ни звука. Этого и не требовалось, а то бы он стал ещё сильнее путаться.

Богослов слушал серьёзно, сосредоточенно, изредка про себя хмыкая, попутно продолжая подправлять что-то в ноутбуке. И в то же время читалось в его спрятанных за поблёскивающими стёклами серо-холодных глазах равнодушие и даже скука. В его позе, в пронзительно умном строгом лице, в высокомерном изгибе губ, в сухой подтянутости щёк, в небрежности тонких проворных пальцев скользила лёгкая еле заметная ирония. Интеллектуальными казались даже кончики расстёгнутых манжет. И те два с лишним часа, что он рассказывал, ему мерещилось, будто Богослов хочет, усмехнувшись, ответить: «Да вы не трудитесь так обстоятельно объяснять, всё я про вас знаю, – я таких людей, как вы, с такими же историями встречал тысячи! У всех всё одинаково, ничего нового вы мне не сообщите: все одинаково думают, одинаково чувствуют, одинаково переживают, одинаково совершают ошибки и одинаково каются, и руки под электричками тоже теряют одинаково, и одинаково потом приходят мне об этом докладывать, – успокойтесь».

Но нет, ничего такого Богослов не молвил. Когда он окончил и еле слышно для убедительности добавил «вот и всё», поняв, что до последней капли его жизнь теперь как на ладони лежала перед ледяными очами Богослова, а из-за его манеры поведения правильнее сказать – была брошена к его ногам, – и замолчал наконец, и обессилел, то поднял взгляд, как человек который сделал всё, что мог, и теперь ожидал окончательно приговора, какого-то единственного судьбоносного решения или вердикта, словом, заключительного, итогового результата, который, должен в финале открыться, после долгих вложенных трудов.

Однако по лицу Богослова можно было подумать, что он и вовсе не собирается отвечать и уж тем более выносить какой-либо вердикт. Он смотрел хоть и сосредоточенно, но куда-то сквозь него, складывалось страшноватое впечатление, что высокомерный интеллектуал и не слышал того, что он рассказывал два часа подряд, как не слышал через толстые наушники его звонков в

дверь. Словно он отвечал ему своим поведением: хочешь ещё говорить, говори – хоть всю ночь, хоть всю жизнь, хочешь молчать, молчи, хочешь уходить, уходи – дело твоё… Но так же не бывает, должна же появиться хоть какая-то реакция у живого человека на происходящее?! И реакция наконец последовала. Просто, убедительно, чуть задумчиво и несколько лениво, так, будто он ещё до его прихода это знал, Богослов сказал:

– Вам нужно учиться.

Он в ответ выкатил глаза:

– Учиться?

– Станете каким-нибудь религоведом, – вяло и равнодушно пояснил Богослов, словно ещё от начала мира всем и каждому было известно, что он поступит учиться и станет «каким-нибудь религоведом», и словно скучнее и прозаичнее этого опять же от начала мира быть ничего не могло.

Он опешил. Он собирался изо дня в день думать о том, как выжить, как дотянуть до следующей недели, месяца, решил, уже не шутя, лазать по помойкам и подбирать на рынке гнилые фрукты с овощами, планировал из своего грошового инвалидного пособия откладывать хоть по нескольку рублей на самый чёрный день, – словом, он намеревался ползать и плакать, а ему велели, и велели, надо сказать, беспрекословно, начинать абсолютно невозможную новую жизнь. И нет, Богослов над ним не издевался…

Вот теперь он понял, кто такой Богослов, и для чего он нужен. Он, оказывается, существовал для того, чтобы эффектно появляться в самые драматические моменты и одним махом, одним словом разрешать неразрешимое, менять минус на плюс, переставлять горы, переходить вброд океаны, сбивать человека с ног и кидать в пропасть, равнодушно наблюдая: разобьётся или всё-таки полетит, – теперь ясно, отчего Елисей был от него в таком восторге.

Но только каким же образом и что он мог сейчас начинать? Он не помнил предметов, которые проходил в школе, он не умел писать правой рукой, он даже почти не знал молитв. Учиться… А есть он что будет? Или это как с Дашей, которой Богослов тоже расписал яркими красками обучение в заграничном колледже, чтобы поскорее отделаться, и забыл про неё навсегда?

– А Даша до вас была здесь, – словно прочитав его мысли, устало протянул Богослов. – Целый час сидела и надеялась на чудо. Странно, что вы во дворе её не встретили… не заметили, наверное.

Он снова изумленно вытаращился на Богослова и потом согласился:

– Да… я шёл, совсем ничего не видя.

Про Дашу он не стал ничего говорить или спрашивать, неудобно было. Его романтические мечты о том, как он, познакомившись с Богословом, бросится к его ногам, умоляя жениться на ней, к ситуации явно не подходили. К тому же тот странных дедушку с внучкой явно знал лучше него.

Тогда он начал изливать водопады недоумений по поводу того, да как же это он, однорукий безработный калека, бездельник, псих, неудачник, мечтатель, трус и т.п., и вдруг куда-то ломанётся поступать, где учатся такие вот высшие существа с интеллектуальными манжетами, а он со школы таблицы умножения не помнит?!

– Бог поможет, – совершенно логично пожал плечами Богослов.

Потом он всё-таки снизошёл и, открыто демонстрируя своё безграничное терпение, объяснил ему, недоразвитому кретину, в нескольких сухих словах, что если он сейчас не совершит в своей жизни решительный крутой поворот к развитию (а желательно ещё и покаянию), то погибнет сам и погубит заодно свою бесценную бессмертную душу. Потому что дальше падать

уже некуда: скоро начнётся водка, потом бродяжничество, потом смерть в пьяной драке за полтинник. (Ой-ой, зачем же так жёстко-то? И чего это он всегда получается ничтожеством?) Так что направляйся, голубчик, в Свято-Тихоновский, получай образование, а для заработков иди пока в какой-нибудь крупный московский монастырь, Покровский, например, просись на любые работы. Там тебя не обманут, что-нибудь заплатят, лезь, пробивайся, какие-нибудь мелочи всегда найдутся, где и одной правой рукой можно помочь, заодно и накормят, читай там мудрые книжки, говори с людьми, а потом, как ума наберёшься и таблицу умножения вспомнишь, иди, брат, поступай. И если ты, гад, этого не сделаешь… – так и читалось ему в суровых очках Богослова. В общем, он понял.

***

Когда он вышел во двор, ему показалось, что наступила весна.

Чем дальше он шёл, тем легче и радостнее на душе становилась, всё более реальным представлялось то, чем, словно обухом по голове, влепил Богослов. И он впервые стал рассматривать сложившуюся ситуацию и неказистую судьбу свою с точки зрения не «за что?», а «для чего?»

Ну, конечно же! Он всегда то, что с ним случалось, подсознательно или сознательно воспринимал как «рок», а позже – как наказание, и искал причины «страшных событий» в своём или чужом греховном прошлом. А Богослов одним словом, одним ударом перевернул эту его трусливую позицию с ног на голову и подарил мысль, что всё это испытание, которое посылается для дальнейшего развития. Да ведь это, помимо того, что было элементарно, в корне меняло дело! Такая, кажется, простая, жизнеутверждающая логика, – но сам бы он не догадался. Впрочем, насчёт того, что он может стать религоведом, Богослов, пожалуй, преувеличил. Он и на какого-нибудь страхового агента поступить не сумеет, ему вообще придётся заново учиться писать… Но в целом такое весеннее порхающее настроение его охватило, и мелькнул выход в конце лабиринта, и он теперь выберется, пусть даже ещё придётся поплутать в загадочных мрачных коридорах.

Когда он ехал домой, заскочив в громыхающий жёсткий вагон, в нём вдруг снова стал вскипать гнев на того священника, который «отправил его на паперть», – ну надо же было додуматься! Это могло бы погубить его окончательно, как выразился Богослов, привело бы к катастрофе! Он бы смотрел до конца дней на дарованную свыше жизнь как на тяжкое бремя, несомое бесцельно! Какой глупец, а ещё священник! Ему люди, как наивные дети, доверяют самое сокровенное, главное, тайное, а он бросается этим, словно мусором. Да он бы, сделавшись бомжом, сгинул в преисподней под таким руководством. О, нет, как только он устроится на работу в монастырь, он придёт и врежет нечуткому, нерадивому батюшке, он скандал устроит, он покажет ему, где раки зимуют. Он так разъярился и вспенился на бедного священника, что уже остановиться не мог, возмущался его «формализмом», «высокопарностью», «безразличием», хоть сам давно чувствовал, что перегибает палку, и даже если священник виноват, то уж такой вселенской обиды и ярости точно не заслужил, потому что действовал из лучших побуждений и только успокаивал. А главное, грешно так раздражаться вообще на кого бы то ни было, и уж подавно на церковного служителя, – но «притормозить» упорно не получалось, он даже ночью не мог уснуть, а клял несчастного иерея на чём свет стоит.

В конце концов, ему это надоело, он ворочался с боку на бок, сбивая в ком простыню и колошматя одеяло, изо всех сил пытаясь заставить себя думать о чём-нибудь другом. Но мысли моментально снова переключались на злополучного «попа» и на свою обиду. В итоге он вскочил, всклоченный, взмыленный, и, чтобы отвлечься, сел, помусолив ручку, писать самому себе письмо правой рукой. Выходили позорные неровные каракули, буквы норовили встать другой стороной, зеркально, но после получасовых мучений что-то коротенькое невнятное в восемь строчек

получилось, и он клятвенно пообещал в послании, что к моменту его получения уже станет новым человеком и будет смотреть на всё с оптимизмом. Запечатав конверт и решив завтра же себе его отправить из Москвы, он лёг и, наконец, уснул.

Утром его вдохновение куда-то улетучилась. Он изрядно оробел, представляя, что должен отправиться в заведение, которое называется университет – слово-то какое солидное и величественное – и там, в этом дворце интеллекта и духа, где, наверное, косяками прохаживаются такие высокоумные философы и Богословы, с кем-то говорить, что-то выяснять… А потом ещё ехать в монастырь проситься на работу, а его никто не знает, и никому он не нужен, в общем, было страшно, и он смущался всё больше, представляя коварные трудности и ветвистые тернии на каждом шагу. Но, храбро помолившись и съев целую серую миску гречневой каши, он решил сосредоточиться на вчерашней радужной мысли, что все события – испытание, посланное для дальнейшего блага, и если даже его погонят поганой метлой, это значит, что он просто не туда попал, и данный свыше тест продолжается, – нужно идти стучать в другие двери, а какие – Господь подскажет. Выдохнув, перекрестившись и накинув на шею полосатый, сложенный вдвое шарф, прихватив конверт с криво нацарапанным домашним адресом, он выскочил из подъезда.

Пока ехал, он даже козырь себе придумал – обязательно всюду рассказывать, как жил в Махерасе, упоминать, что знает некоторые молитвы на греческом языке, что даже может кое-что пропеть из службы Махериотиссе, вот это, например: «Με τις προσευχές της Μαχαιριώτισσας, σβήσε το πλήθος των εγκλημάτων μας», [1] и не сознаваться при этом, что руки тогда у него было две.

В Свято-Тихоновском Университете, куда он по совету Богослова довольно быстро добрался и робко, стараясь остаться незамеченным, прошмыгнул, даже двадцати минут находиться не понадобилось. Ему сразу, на пороге, дали программки для абитуриентов, спокойно и доброжелательно отнеслись к его желанию поступать, имея «проблему». Объяснили, что у них могут учиться при желании даже инвалиды первой и второй групп, не то что третьей, предложили поступать на миссионерский «укороченный» факультет, подсказав, что на религоведческий – конкурс больше, и туда поступают те, кто желают в будущем стать преподавателями, а он-то уж совсем не желал. Потом пригласили на дни открытых дверей весной и пожелали Божией помощи.

Вот если бы ещё приняли в вуз с такой же лёгкостью, размечтался он в битком набитом вагоне метро, двигаясь по направлению к Покровскому монастырю, о котором тоже впервые узнал вчера от Богослова. Его поразила, тронула в двух словах сухо очерченная им история блаженной Матроны, слепой от рождения, имевшей другие тяжёлые недуги, усугублявшиеся с годами, которая с младенчества служила Богу и церкви, сносила издевательства сначала от соседских детей, потом от атеистов, от властей, даже от собственной помощницы, терпела скитальчество, преследования, и не смотря на это, а может быть, благодаря этому, стала святой, помогла тысячам людей. И до сегодняшнего дня исполняет верующих радостью, облегчает жизнь многим людям, у которых случаются чудеса, исцеления, – и оттого в любую погоду стоят длинные очереди к её иконе и мощам с раннего утра до позднего вечера. Может быть, она поможет и ему, видя какая у него беда, наверное, именно она поможет, ведь она знает, как тяжело быть инвалидом…

19

Ох, как поразил его этот монастырь. Громадный, светлый, бурливый, словно океан, столько людей повсюду… Но он не растерялся. Едва войдя в ворота, он увидел большой образ слева на стене, и сразу понял, что это она и есть, блаженная Матрона, перед ней-то он, недолго думая и пал на колени, умоляя помочь ему и благодаря за то, что он вообще сюда попал.

[1] (гр.) Молитвами Махериотиссы сотри множество наших преступлений.

Потом он довольно оперативно разобрался с бесчисленными очередями, бесцеремонно и весело суясь в каждую и расспрашивая: одна из них стояла в иконную лавку, где царило настоящее столпотворение, ещё одна, особенно длинная, продвигалась к чудотворной иконе Матронушки, как её тут ласково называли многие, третья поднималась со двора на второй этаж храма, туда шли люди подавать записки, а самая дальняя очередь, за стеною огромного храма, вела к мощам. В неё-то он и пристроился, и прождал без малого три часа. Может быть, в иной раз он и не проявил бы стойкости, разнылся, заизнемогал и ушёл, неловко махнув правой рукой, но сейчас три часа пробежали незаметно, слишком удивительно, ново было на душе, он вроде и чувствовал усталость, холод, особенно мёрзли ноги в смешных полузимних ботиночках на липучках, но в то же время, он отдался чему-то необыкновенному и берёг силы, словно его поддерживали извне. Да и столько мыслей волновало о дальнейшей судьбе... Пока он топтался, чуть пританцовывая, передумал обо всём на свете, – наверное, со дня потери руки так много не думал.

И томила, и беспокоила, и пугала, и восторгала его прекрасная неизвестность, и он умолял святую Матронушку помочь ему устроиться работать тут, в этом странном, ясном, просторном, радостном месте. Когда его очередь подобралась к храму, внутри которого находились мощи, и он вошёл, и осмотрелся, и всему на свете поразился, сконцентрировался уже на своих молитвах, просьбах, то так вдруг отчётливо почувствовал, что Матронушка рядом и слышит его, и совсем необязательно так громко про себя орать. Он и историю её кратко «вдохнул», (о которой подробнее, чем Богослов вчера поведал, прочитал, стоя в очереди, в книжечке, подобранной у входа), и все гонения, и страдания, и подвиги, и молитвы непрестанные, и любовь ко всем приходящим. И он уже ощущал себя уютно, словно заглянул в гости к лучшему другу и ведёт с ним задушевную беседу у камина, один на один: казалось, больше никого в храме нет, и святая с ним одним разговаривает, его одного слышит.

Потом он открыл глаза и снова увидел длинную очередь, некоторую суету, но всё это было далеко-далеко, кружилось пёстро и мило, и он уже невольно фантазировал, что приглашён во дворец с королевскими залами, такими свободными, бесконечными, свежими, воздушными, на какой-то добрый праздник, и Матронушка знает каждого, как самого близкого друга. Он теперь почувствовал, что она необыкновенно прекрасная и юная, совсем не та слепенькая старушка, которую изображают на иконе, нет, настоящая красавица, сияющая, как чудесная царица, раздаривающая целые потоки сил, благодати, исцелений, любви, – словно очутился в доброй сказке.

Когда его очередь приблизилась к самым мощам, он так растерялся, что обо всех просьбах забыл. Понимал, что нужно что-то вымаливать, выплакивать, вопить, рассказывать про беды, – и не мог, только молча перекрестился, приложился и отошёл, внезапно окрылённый, полный счастливого недоумения и уверенности, что всё уже случилось, всё немедленно наладится. И совсем обалдел от радости и благодарности, когда на выходе ему дали маленький букетик гвоздик и головку розы. Вот это да, подарок от Матронушки! «Спасибо, спасибо», – шептал он и нёсся неизвестно куда. Его низким властным окриком остановил небритый, шмыгающий носом охранник у какого-то заграждения и спросил, чего он тут хочет. Он, трепеща, сообщил, что хочет тут работать.

– А, это вам нужно… – объяснил подобревший охранник, и вскоре он уже летел на собеседование. Всё произошло стремительно, моментально, легко, с ним сразу поговорили довольно подробно, подумали и велели подъезжать завтра утром на работу, а какую именно, завтра и скажут, тут дело для любого найдется, главное не опаздывать. И он весь перетряхнулся внутри от счастья.

Стемнело, грянули-зазвонили, началась вечерняя служба в храме Воскресения Словущего, он вошёл и снова поразился, сколько же народу, и какой удивительный храм. Вроде и большой, светящийся и золотой, величественный, особенно, на фоне раскатистого пения, но нет никакого страха, нет даже должного трепета, нет помпезности или пугающей торжественности, снова ощущение танцевальной лёгкости, праздника, будто он не в церковь попал, а в какой-то сказочный теремок, где сейчас чередой помчатся чудеса. Странно, не охватило его почему-то привычное благоговение и смущение, и стыд за себя, такого плохого да противного, наоборот, хотелось всех переобнимать и вообще заскакать и забегать, смеясь от радости.

***

И вот, со следующего дня, без стонов возмущения вскочив в пять утра и прилетев на Таганку к половине восьмого, он начал «подвизаться». Пока какого-то конкретного одного направления в работе у него не было, решили посмотреть, что у него лучше получится. А получалось многое, он стал «принеси-подай»: то просили пыль протереть, то в лавке помочь, то отнести – передвинуть, то в трапезной что-то поскрести, то поехать куда-то одному или с целой группой, ни охнуть – ни вздохнуть – дел по горло. Ну и так, бегая, запыхавшись и суетясь, он через месяц совершенно освоился и, осмелев, смиренно раскланивался со священниками, с монахинями, здоровался с певчими, охранниками, рабочими, трудниками, паломниками и прихожанами.

Вот только в храме дел ему никаких не давали, даже на свечках, и его мучила эта дискриминация. Нежелательно, видите ли, служащим в церкви иметь внешних дефектов. Не то что священникам, а даже и уборщикам. Непорядок. Стоял он тихонечко в стороне, недалеко от распятия, и прятал от всех в рукав свою культю. И думал, что будь у него рука он бы, пожалуй, и священником стал. Или диаконом. Да… Значит, не угодно, не судьба. Ну что же, у каждого своё призвание, зато теперь уже не нужно мучиться, выбирая факультет в университете. Петь он способностей не имеет, чинить-мастерить – нужны обе руки, писать иконы – талантов к рисованию нет. Оставалось – говорить, помогать разбираться в богословских вопросах и житейских – с точки зрения православия. И он собирался этому научиться.

Но пока спотыкался на каждом шагу. Поначалу он ещё много мечтал и каждую минуту что-то придумывал, никак не желая держать ум в простоте и повиноваться прозе жизни. А прозы жизни и сложностей хватало, они лезли из любой щели, били через край. Жильё ему тут никто предоставлять не обещал, а в университете общежитие станет доступно только, если поступит, – значит, приходилось каждый день подниматься ни свет ни заря и два часа тратить на дорогу лишь в одну сторону. Зато в это время он читал книги, которые хоть и не сразу, но разрешили-таки ему брать в монастырской библиотеке. Богословские предметы, о которых он разведал в интернете, его пугали, чего стоило, например название «Патрология» или «Гомилетика», «Катехтика», «Сакраментология», но поступить, как он выяснил у одного семика из Сретенского училища, однажды заглянувшего поклониться святой Матроне, с которым он случайно познакомился и разговорился, было несложно – при желании. Для этого, конечно, нужно полноценно воцерковиться, заново переконопатить и выучить назубок несколько школьных учебников, плюс наизусть помнить Закон Божий. А ещё обязательно выбрать духовного наставника, который ему подскажет, направит, и которого он сразу после этой беседы ринулся искать, умоляя Господа, чтобы тот не оказался формалистом, как священник, которого он проругал тогда полдня и полночи.

– Сдать вступительные – ерунда, учиться гораздо сложнее, – охотно, серьёзно, но чуть насмешливо рассказывал собранный и подтянутый длинноволосый сёмик, – у нас отсев большой,

люди не выдерживают, не могут жить по уставу, всё успевать, честно всё учить, дисциплина, считай, армейская.

Учебники за десятый-одиннадцатый классы и вспомогательные пособия для абитуриентов пришлось покупать в большом количестве, и они тут же повергли его в уныние. Со школы в голове не осталось почти ничего, а зазубрить заново всю историю России, например, казалось ему невозможным… Менее коварными были русский язык и обществоведение, там он что-то помнил, потому что сдавал эти предметы на выпускных экзаменах, но вот история улетучилась бесследно, должно быть, потому, что растянулась в школьной программе на годы.

Поначалу читалось довольно охотно, местами с удовольствием, но потом события стали путаться, даты стираться, правители и войны перемешались… К моменту получения своего письма с восторженными клятвами глобальных жизненных изменений, которому он даже удивился, обнаружив его через месяц, поскольку напрочь забыл проверять почтовый ящик, – он изрядно подустал, и нарисованная в цветочках и флажках с шариками новая прекрасная жизнь, устремлённая к созидательному труду и просветлению ума, казалась теперь фантастической недостижимой мечтой.

Да, он работал всего месяц, а уже начинал изнемогать, уже не радовался, когда в пол шестого утра тарахтел хриплый будильник, уже не находил времени растрогаться молитвой перед иконами, а наспех проглотив булку с джемом или дожёвывая на ходу пельмень, выскакивал, недовольный и раздражённый всем вокруг, и нехотя бормотал утреннее правило, ёжась в сонной ранней электричке. Он опасался, что ещё немного, и он не выдержит, – откажется от эфемерной прекрасной новой жизни и от героической мечты учиться и развиваться. Даже школьные учебники были ему в тягость, и информация моментально терялась, как несохранённый файл в дрянном зависшем компьютере; теперь его письмо вызвало что-то более похожее на горькую усмешку, чем на гордость за свой стремительный и дерзкий шаг вперёд.

На размышления и привычную рефлексию теперь не оставалось ни времени, ни сил, приходилось целыми днями думать о многочисленных заданиях и поручениях, изредка машинально бормоча молитву, спешить завершить одно дело, чтобы начать другое, а, вернувшись домой, поскорее завалиться спать. Он и не предполагал, что в монастыре нужно столько торопиться и успевать! В Махерасе он большей частью был предоставлен самому себе, а тут следовало постоянно с кем-то говорить, кому-то что-то «докладывать», куда-то звонить, что-то набирать на компьютере и искать в интернете (раньше он компьютера побаивался, теперь же приходилось осваивать его одной рукой со сверхъестественной быстротой), потом мчаться в иконную лавку, в перерыве – в трапезную, потом ещё куда-нибудь на окраину Москвы в качестве курьера, потом опаздывать на вокзал, и где-то между этим читать книги о безмолвной и созерцательной жизни великих старцев плюс запоминать грамматические правила русского языка.

В целом ему понравилась такая жизнь, хотя, по правде говоря, не было лишней минуты, чтобы понять, так уж ли приятна она на самом деле. Сильнее беспокоило будущее: он уставал и ленился всё отчаяннее, горы сворачивать хотелось меньше и меньше, – не свернуть бы шею от перенапряжения.

– Ничего, – успокаивал его добродушный батюшка, у которого он решил исповедаться, и которому «открыл всё: и сердце, и помыслы, и судьбину», – всем непросто, не думайте о завтрашнем дне, хватит сегодняшнего, у каждого дня своя забота.

Но он беспокоился, боялся, что не хватит у него сил выдержать это испытание, которое только зарождалось, самые противные мысли лезли в голову. Инфантильно думал о том, что никто не любит его, что всё это какой-то гипноз, что его заманили сюда, будто в секту, где всё

начинается с иллюзий любви, а потом, подчиняя до рабства, людей заставляют пахать и вкалывать, и создается такая серьезная зависимость, что невозможно уйти.

Иногда в моменты усталости и раздражения размышлял он о видах и особенностях любви, ведь на ней одной всё держится, а сколько существует в мире влечений противоестественных, которые только на опыте открываются, и со стороны никому не понятны. «Вот, – морщился он, яростно и интенсивно сортируя в лавке прибывшие товары, и вспоминая виденного недавно наркомана, –все уверены в детстве, что никогда не сядут на иглу. А потом один раз пробуют и понимают, что это же она, та самая любовь ко всему человечеству, которую так давно искали, о которой в романах читали! Где же тут вред? Добро! А потом любви всё меньше, а зависимость всё больше. И не надо говорить, что это совсем не похоже на церковь». Впрочем, потом он шёл на исповедь и смиренно выкладывал помыслы.

***

Ко всему привыкают. Как постепенно перестала донимать его культя и подло казаться полноценной рукой, так постепенно свыкся он с новой жизнью, изредка кряхтел и постанывал, утомлялся и еле плёлся, но уже знал, что ночь спокойного сна даст ему энергии на завтрашний день, а «там видно будет». Всё больше чувствовал себя в монастыре «своим» и всё сильнее надеялся, что одолеет-таки экзамены, и тогда станет легче: появится общежитие, не нужно будет четыре часа в день убивать на дорогу, а квартиру он сдаст, и меньше времени будет тратить на работу, а оно, несомненно, понадобится на освоение таинственных теологических наук.

Любопытно, что совсем оставила его мысль стать монахом и навсегда уйти от мира, словно уходить в монастырь можно было только на Кипре, а русские обители существовали для чего-то другого. «Нет, – вздыхал, он, – Богослов не зря направил учиться, спасаются же люди и в миру». Теперь постриг в монахи казался ему делом странным, безмерно трудным, он увидел, что вовсе не готов к этому, даже если бы и хотел. Монахини и монахи, хоть и смахивали на обычных людей, а всё же были другими, и он пока старался не думать об этом, впервые по-настоящему покаянно сознавая, что несказанно далёк даже от элементарного понимания того, что такое монашество и что, собственно говоря, в монастырях люди делают.

Иногда он пробовал никому не говорить ни слова и только молиться. Но становилось неуютно, он раздражался до нервной чесотки, чувствуя, что напрасны подобные тренировки. «Вот знали бы они, – думал он, обиженно поглядывая на болтунов и спорщиков, – как это сложно – молчать, даже с незнакомыми, оказывается, до ужаса, до судорог сложно». И нет, у него не получалось! Потому что, например, странно было слушать чудаковатую новенькую трудницу с шустрыми лисьими глазками:

– У нас тут, на Земле, – тараторила худощавая пожилая трудница, – как при советской власти, дефицит всего, – чтобы что-то иметь, дом, машину, дачу, нужно годами этого добиваться, всё единственно, всё нелегко дается, оттого мы вещи так обожаем, оттого за копейку душу продаём. А вот там, – мне мой отец перед смертью говорил, он, наверно, уже увидел, – представляете, как досадно: всего в изобилии, и по первому желанию! Вот жил ты тут, допустим, работал и работал: полжизни угробил на то, чтобы купить квартиру, ещё четверть жизни, чтобы её обставить и заплатить за машину с гаражом. Остальную четверть провёл не в этой квартире, а в больницах или бегая от врача к врачу. И вот тебе сюрпризик, переходишь в загробную жизнь, а тут тебе пятьдесят квартир дают, сто, тысячу, любого размера, формата, роскоши, и ты в первый раз соображаешь: э, нет, что-то не то я в жизни делал!

– А молитва тоже только тут единственна? – спросил он. – А там много, тысячи?

– Чего? – растерялась она и вспыхнула.

– Какие тысячи квартир? – посмотрел он на неё болезненно. И хотел дальше что-то умное сказать, что не надо, мол, так шутить, ну дано нам плоское материальное мышление, что же теперь, издеваться над самими собою? Не суетитесь, мол, не смейтесь над невидимым, мы слишком его ждём, трепещем, плачем, а вы так грубо – «тысячи квартир». Тут, он, впрочем, вспомнил о своём «двухчасовом обете молчания» и затих. А она увидела его культю и осеклась. И он, закрыв рот, сошёл за умного. А продолжил бы говорить, так не сошёл бы.

С его образом жизни, вероятно, несколько изменился и он сам, вдохновлённый тем, что периодически сыпались на него примеры смирения, стойкости, почтения и предупредительности, словом, всего того, о чём он читал в святоотеческих книгах, и чего меньше наблюдал в Махерасе, – хотя тогда он по своей немощи и ранимости слишком много внимания обращал на строгость и горячность религиозных киприотов, чтобы замечать за этим что-то другое; он, впрочем, там совсем коротко видел людей и еле-еле общался с ними. Попадались, в Покровском, конечно, и совсем противоположные, пугающие примеры, их тоже встречалось порядком, но он выбрал, на кого равняться, ведь трудились тут и верующие, которые казались безукоризненно добрыми, интеллигентно смиренными, «своими». Впрочем, друзей у него так и не появилось – его все знали, но такого подлинного друга, брата, как Елисей, он не нашёл, да и отличались они сильно от Елисея: не мудрствовали, не рассуждали, эмоции откладывали на последнее место, а прежде всего – дело, дело...

***

Однажды, в начале мокрой пронизывающе холодной весны он снова очутился в той «случайной» церкви, где исповедовался в первый раз «нерадивому» батюшке. Вообще, он дал себе слово как можно больше объездить храмов, особенно в Москве, чтобы хотя бы представлять, где что находится. А то он к своему стыду и монастырей-то московских не знал, и святыни только-только приоткрывал, выуживая что-то из разговоров, что-то из интернета, – но время катастрофически ускользало, а усталость подавляла все желания, потому своё намерение он выполнял медленно и вяло.

И вот он очутился в этой церкви, планируя внимательно осмотреть её почитаемые иконы, вспомнил ту свою «трагическую» исповедь и усмехнулся. Да уж, научился он кое-чему за последние месяцы... «А всё же, – задумчиво сжал он губы, разглядывая ласковый лик Архангела Михаила, – зря тот священник так сплеча рубанул», – хотя теперь он понимал «по-взрослому», что батюшка имел в виду крайний случай нужды, а вовсе не подстрекал его опускаться на дно и жить подаянием.

Вечер затянулся; когда он вошёл, служба только кончилась, и прихожане неторопливо расходились. И вдруг он увидел этого самого злополучного носатого батюшку с толстыми венами на руках, он разговаривал с пухлощёкой женщиной у свечного ящика. Засомневался, обратиться ли к нему или, наоборот, лучше на глаза не попадаться. Раньше он бы, конечно, второе выбрал, пустился бы наутёк, не разбирая дороги, но теперь так и подмывало приблизиться и покрасоваться. Дескать, знаете ли, а я вот нашёл-таки выход (не будем уточнять, что это Богослов подсказал), а мог бы и нищим или бездомным стать и от отчаяния спиться, удавиться и так далее. Он уныло сознался себе, что до сих пор сердится, хотя, скорее, поблагодарить стоило бы, и уже каялся в такой своей каменности и упрямстве, да, видно, плохо каялся… И вот в этот самый момент он услышал, как за его спиной шептались две старушки:

– У батюшки-то матушка умерла, слышала? В среду отпевали.

– Да, знаю, царствие небесное, так его жалко: осунулся, глаза красные, отвечает невпопад…

Он оглянулся, нет, никакой ошибки не было, они указывали именно на «его» священника.

«Что?..» – замерев, коротко подумал он, и тут его ждало новое потрясение: он поймал на себе чей-то насмешливый тяжёлый взгляд, и, посмотрев направо, вдруг увидел (или ему показалось?) мелькнувшее лицо старика. Нет сомнений, это был его взгляд, его, ядовитого Дашиного деда, только он мог смотреть так иронично и обличительно.

«Это я виноват», – только и успел сообразить он, как понял, что выскочил из церкви и уже мчится по улице, словно трус, спасаясь неизвестно от кого. «Умерла, умерла», – звенело у него в затылке. И вот он уже дрожал и трясся в вагоне с какими-то лиловыми сидениями, лихорадочно листая «Лествицу» и пытаясь сосредоточиться, что у него не получалось: «умерла» мерещилось в каждой строчке, и снова представлялся саркастический душащий взгляд старика.

Ему стало страшно, а он-то ещё решил на днях, будто «детские» страхи оставили его. Теперь же он уверился непостижимым образом, что всё это с матушкой случилось из-за него, из-за его огромной и неоправданной обиды на священника, из-за его желания «отомстить» – намекнуть, что он думает о его «компетенции», из-за его злости и мысленного возвращения с болезненным пережёвыванием к той несчастной исповеди. Конечно, с точки зрения здравого смысла это казалось абсурдом, но для него абсурдом не было, он чувствовал, что трезвее считать себя в этой ситуации убийцей, чем непричастным посторонним. И так уничижающе совестно стало за напыщенные фальшивые монологи, за безумную слепую ругань, за апофеоз пережитой боли, – наверное, он подсознательно хотел, чтобы с этот человек на своей шкуре почувствовал, каково страдать и плакать, когда уже надежды всё вернуть нет, и вот, именно это-то и случилось. Как можно теперь сидеть со спокойным невинным видом, будто он не имеет к этому отношения? А вдруг таких, «обиженных», накопились десятки, и все они чего-то злого неосознанно желали батюшке? Конечно, тут воля Божия, но если представить, что все до единого желали бы ему только добра, разве не больше вероятность, что его не постигло бы несчастье? Странная теория, но сейчас она казалась не то что убедительной, а прямо-таки неоспоримой.

«Если, – тёр он лоб, – вообразить, что в одном оркестре играют два музыканта, одинаково талантливые и профессиональные, и у одного из них за стенкой живут соседи, которые каждый день проклинают его и ругают последними словами, и ненавидят из-за того, что он мешает им своими занятиями, даже если играет гениально, – а за стенкой у другого находятся соседи, которые, наоборот, только и ждут, когда же он начнёт репетировать, и восхищаются, даже когда он набивает гаммы, и аплодируют любому простому этюду, при этом ни тот ни другой ничего такого о своих соседях не подозревает, не выйдет разве, что карьера первого рано или поздно пойдет под откос, а успехи второго будут расти? Вполне вероятно. И уже только поэтому нельзя обижаться и держать зло, нельзя самому ни в ком вызывать раздражения, а сколько этого накапливается каждый день, сколько…» И подумать стыдно: копеечная обида вызвала в нём ярость, протест и агрессию, было бы, действительно, за что? «Ну вот, – бормотал он, – сделал то, что хотел, отомстил, убил матушку, нанёс ему жестокую рану, лишил части смысла его жизни, чем ты ещё недоволен?»

«Это я, – продолжал терзаться он, – я и есть нож. Вот для чего мне был послан Махерас. Каждое мое осуждение, раздражённая мысль – это кому-то царапина, каждая обида – это чья-то рана, и у кого я в руках? Кто-то достает меня из ножен, когда пожелает, я не владею своим гневом, страхом, разумом, волей, я никто, я холодная железка, орудие зла, я себе не принадлежу…»

Он понял, что это всё же перебор, когда проехал свою станцию. Вышел на следующей, к счастью, обратная электричка проходила через десять минут, и в этом ему повезло, мог бы застрять и на полтора часа. Эти минуты он простоял под холодным ветром неподвижно, глядя на проросший через изгородь черный куст. На шоссе рядом с платформой шумели машины, вдали фонарём освещён был дорожный знак, предупреждавший о крутом повороте, исписанная будка

закрытого намертво туалета синела за билетной кассой, прохаживалась, ёжась от непогоды, пожилая женщина в берете, бережно держа коробку с тортом… «Господи, прости меня, батюшка, простите меня», – шептал он, обводя платформу невидящими глазами, и понимал, что это пока единственное разумное, что он может сказать, однако облегчения не было, он чувствовал себя виноватым и… причастным.

20

Утро было тёмным, несвежим, будто вчерашним, в комнате пахло старым шкафом, а перегоревшая, едва он дёрнул за шнур, лампочка усилила желание поспать ещё. Поняв, что это «ещё» затянулось дольше дозволенного, он вскочил, нервно заметался по засоренному холодному половику, собирая с двух стульев мятую одежду. Напряжённая и взъерошенная голова, независимо от положения тела, одинаково клонилась в сторону уютной подушки. И он уже почти уступил ей, сочиняя оправдание про недомогание и пониженное давление, но едва щека коснулась блаженной чуть влажной наволочки, как он вспомнил, что сегодня должно случиться великое в его жизни событие – он собирался впервые причаститься. Это заставило снова вздёрнуться, молниеносно одеться и выскочить на улицу, не побрившись. Надо же, о таком-то важном деле он совершенно забыл со вчерашнего вечера, полный раскаяния и терпкой горечи, да и сейчас едва вспомнил. А он ведь так ждал, упоительно готовился, столько читал и нарочно карандашом выделял в толстых книгах всё, что имело отношение к непостижимому таинству.

Он долгие часы промучился вопросом, почему могут хлеб и вино претворяться в Тело и Кровь. Как любой недавно начавший делать первые настороженные шаги к вере человек, много раз посчитал, что это символ, много же раз переубедил себя, находя непоколебимое опровержение во всех православных источниках. Но ведь если не символ, вообразить невозможно, как это страшно. Однако же каждым утром, едва возгласит священник «святая святым», и все падут, и словно прокатится по церкви финальный какой-то, торжествующий гул, выстраиваются пухлые тревожные очереди, подходят один за другим причастники к чаше, – и ничего, ничего не видно, что свершается, какое чудо: не падают мертвыми, не возносятся под купол, не теряют разум, не рыдают от нежности…

Вообще о прихожанах у него складывалось странное и противоречивое мнение. За недолгое время работы он пришёл к выводу, что лучше просто считать всех сумасшедшими. Именно всех. До одного. Себя в первую очередь.

Такое сумасшествие может быть в хорошем смысле, и дурном тоже. Иногда он каждого безумно начинал любить, умиляться, любоваться его простотой, тихой строгостью, благоговейной походкой, рассеянной отрешённостью. В другой раз все до единого раздражали, мелькали разноцветными пятнами, суетливо нарушали любое движение в его душе, непонятно было, зачем они приходят в таком количестве, отчего бессмысленно толкутся... Когда он нечаянно или нарочно даже слышал, о чём они говорят, поражался, – почти всегда это было с его точки зрения фальшиво, глупо, безвкусно. Ему казалось, что церковь должна обострять особенное эстетическое чувство, осмысленное стремление к утончённому восприятию духовного мира, – но, как всегда, проза жизни брала своё и сбивала с толку.

Одинаковым безумием было, стоя в очереди к чудотворной иконе Матронушки, болтать по телефону или обсуждать бытовые проблемы, нескончаемые житейские дела и взаимоотношения, столь же нелепым казалось шептание об исцелениях, просветлениях, – любые религиозные, мистические темы словно обретали тут неповоротливость и угловатую выразительность. Безумием казалось и молчание с каменным белогубым лицом, и даже чтение акафиста, – одинаково всё это было «не то». А «то» изредка получалось из соединения в столпотворение, в

один хаос, в некое бурливое целое, тогда это становился праздник, оркестр, счастливое наводнение...

Нет, с виду все нормальны и адекватны, привычные такие люди, которые в метро ездят, разве что женщины многие вместо шапочки надевают платок. Но вот если под платочек залезть… «Что у каждого в голове?» – поражался он, напрочь забывая при этом о своей собственной. Вот, приходят же раскрашенные красавицы в норках вымаливать удачную покупку очередного авто, а тут же вытянутая сухая светящаяся бабушка, вся в крыльях, ей нужно разобраться, грешно ли выбросить бумажку, в которой была завёрнута просфора, или нужно сохранить, перед ней мужчина с утомлённым серым лицом, у него сыновья пьют и крадут его сбережения, а есть подростки, что, пританцовывая от нетерпения, мечтают вернуться и победить монстра в компьютерной игре и при этом молятся чисто, безыскусно, доходчиво… Потом подряд десяток мужчин и женщин с трагедиями, да такими, что волосы дыбом встанут: у всех смертельно больные, инвалиды, заключенные, пьяницы, наркоманы, непогашенные миллионные кредиты, разборки, разделки… И тут же худенькая девушка дрожит от холода, мнёт в руках тропарион и плачет, а что плачет, – конечно, о грехах, бесконечных, неиссякаемых, безмерных. И всем всегда нужно сменить или найти работу и решить проблемы с жильём. И понять свет небесный примерещился, или это была прелесть? Сон приснился или это был знак? И «прости, прости, прости», и «спасибо, спасибо, спасибо», и «ой-ой-ой-ой-ой», «грешный, грешный», «помилуй, помилуй», «благослови»… Спокойные, безразличные, отрешённые, плачущие, суетливые, взрывные, пробивные, спорливые… И они чего-то хотят, всё время хотят, ярмарка желаний: свечку поставить, записку подать, к иконе подойти, маслом помазаться, батюшку поймать, поклониться, выяснить, решить, вымолить, выпросить… И, наоборот, «не хотящие», эти с недоумённо восторженными лицами думают: «И чего я сюда пришёл, и что мне тут нужно, и чего я тут стою? Ничего не хочу, ничего не нужно, а всё равно стою.» И старающиеся держаться незаметно, но именно из-за этого бросающиеся в глаза потупленные интеллигенты, бородачи и очкарики, подтянутые и правильные, на благородном челе так и виден «путь», «смысл», «познание», «истина», как они от неверия продирались к вере, осуществляли тщательную духовно-интеллектуальную разведку, сверяясь с философией, литературой, математикой, химией, и выбрали-таки, что Бог есть, а после этого пережили чудесное откровение и одинаково схватились за высокие лбы, и это были парадоксально похожие истории со слезами и покаяниями, восторгами и трепыханиями, размышлениями, загадками…

***

Теперь все эти странные люди представлялись ему отдельными колышущимися островками, ходили вереницами, шептали, бормотали, журчали, в электричке они облепили его не выспавшуюся фантазию и не давали хоть чуть-чуть сосредоточиться на предстоящем таинстве. «Матушка-то умерла», – ковырял его застрявший вчерашний нож, и вода, которой кропил его скорбный батюшка, превращалась в кровь. Вспоминалась вчерашняя исповедь в монастыре наспех, когда священник, к которому он подошёл впервые, перебивал и всё переиначивал по-своему, а теперь казалось, что он ещё и хитро в усы причмокивал: «Матушка-то умерла». Ещё вчера перед обедом он долго и невнятно читал огромное правило к причастию и сознавался себе, что замечает лишь малую часть, а остальное словно растекается бледными разводами по сливающимся в единое облако ликам на стенах и колоннах. Зачем случилось ему снова зайти ту церковь?!.. И вылезал перед ним узкий хлыст-старик, ехидно посмеивался, утверждая, что теперь он не осмелится приблизиться к причастию, и не то что сегодня, а вовсе никогда.

Электричка опаздывала, и никто не собирался задерживать для него службу. В церковь вошёл он уже на «Символе веры» и, даже не попытавшись петь с другими исповедание, которое

больше любил он в варианте «греческого бормотания», и иногда даже вторил тихонько параллельно бодрому «Верую!..»: «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα…»[1], – с досады вышел обратно, раздумывая, причащаться ему всё-таки или нет. До самого выноса чаши он колебался и сомневался, теребя рубль, провалившийся в карманную дырку. Орёл или решка, – но не нащупывался ни орёл, ни решка, а прорешка, и прорешка эта была решительно во всем. «Как-то скомкано получится», – мялся он, но наконец его охватила тряска и нетерпение, выстраданное желание поскорее уже покончить с этим, и «была – не была», он скрестил на груди руку вместе с пустым рукавом, а вместо того, чтобы сосредоточиться на протяжном «и-сто-чни-ка-бе-с-сме-е-е-ртна-аго…», стал зачем-то думать: «А вот киприоты руки перед причастием не скрещивают…»

Что произошло потом, сразу после того, как он поцеловал чашу, из памяти напрочь выветрилось, во всяком случае, сколько ни пытался вспомнить, не мог. Он принял причастие, а затем как-то ошалел, что ли, совершенно, – с этого момента всё остановилось, замерло и кончилось – провалилось в прихрамовые сугробы; и как запивал он, и как достоял до конца службы, а может быть, не достоял, а вышел сразу, не попробовав розоватой «теплоты», так и придерживая машинально у груди пустой свой чёрный рукав, – неизвестно.

Наполнила поразительная пронзительная пустота, немота, что-то близкое к печали, что-то вообще необычайно странное, «никакое». Он потерялся, скомкался, пропал и даже не делал попытки найтись. Было непонятно, что происходило, и он только изумлялся, думая, что, наверное, так нужно, не понимая, как он к этому относится, и напряженно ожидая, что будет дальше.

Шёл вдоль домов вниз к метро, глядя, как в стёклах отражается прикативший день, обещавший колючий весенний снегопад. И вот, у остановившихся на половине восьмого уличных часах, к нему на миг возвратилась грохнувшаяся, расколовшаяся память. Он уже знал, что так спешит сейчас, потому что ему дали задание съездить в центр передать бумаги. Остальное же оставалось, как во сне, он определённо не мог бы сказать, ни откуда у него взялись эти бумаги, ни кто именно отправил его с поручением, ни почему он понимает, куда сейчас нужно ехать.

Итак, он быстро-быстро шагал к Марксистской, потому что теперь ему постоянно приходилось ходить быстро-быстро, и… И во время своего пути случайно заметил, как из него, что ли, или через него, или из-под него, одним словом, какое-то отношение к нему всё это, несомненно, имело, – поднялся вверх над крышами длиннющий, неимоверно истончённый, размером, наверное, со стоэтажный дом, худющий и совершенно прозрачный полукозёл – получеловек. Нет, это не было галлюцинацией, видением, и отвращение не подкосило ему ноги лишь потому, что «это» только мелькнуло и тут же пропало, он заметил его каким-то боковым, зрением, ещё правильнее было бы выразиться, что зрение в тот миг от него отделилось немного в сторону и вверх, но тем не менее, а вернее, тем даже и более, разглядел он это явление отчётливо, детально, выхватив полную картину того, как весь вытягиваясь и растягиваясь вверх, подобно тени, этот самый огроменный призрак или бес, или дух, словом, кто он там был, сгинул в никуда… Именно ни в небо, ни в даль, а в никуда. И он этому не то что не удивился, нет, удивился, конечно, но без испуга принял как факт, ибо в таком состоянии, что он находился, любое мистическое вкрапление казалось естественным. Впрочем, способность думать и удивляться начала возвращаться к нему уже на эскалаторе, и чем ниже он спускался, вжав ногти в черную ленту и механически рассматривая рекламные щиты, тем отчётливее рассуждал: «Ой-ой-ой-ой-ой», «ой-ой-ой-ой-ой», «ой-ой-ой-ой-ой!»

К счастью, довольно быстро он нашёл выход из сложившейся ситуации – он устал. Это здорово ему помогло вернуться к привычному земному самочувствию. Уже на обратном пути в монастырь, выполнив поручение с документами, он «занемог»: болели ноги, ныла поясница,

[1] (гр.) Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя…

хотелось есть, хотелось лечь, и мысли завертелись вокруг самых «низменных» вещей, вроде хот-дога и свободной лавочки в переулке. Свободного времени пока доставало: с заданием он расправился оперативно, часть вчерашней работы выполнил накануне, а уборка начнётся часа в три, значит, пока можно не торопиться возвращаться и приткнуться в дешёвенькой забегаловке на перекус. Силы его поразбежались и растратились, мышцы стали ватными, появилась одышка, будто он не в метро ездил, а вагоны разгружал. Казалось бы, это странно, с чего ему изнемогать? Но подобные приступы пожирающей немощи случались ещё в детстве и нередко, так что к причастию он своей размяклости и расклеенности не отнёс, даже забыл о нём напрочь, мечтая об аккуратном бумажном стаканчике горячего кофе.

***

Но чудеса продолжались. Ища какую-нибудь вкусно пахнущую кафешку, где будут и длинные матовые абажуры, и низкие цены, он свернул в переулок. И вдруг буквально нос к носу столкнулся… Этого он меньше всего ожидал – столкнулся с той самой безрукой женщиной-девочкой и её мамой, которые тогда, в электричке, невольно вызвали у него переживания до обморока и сами же привели его в чувство.

Он заново ощутил запах палёной шерсти и оторопело поздоровался. Они тоже его поприветствовали, сразу узнав.

– А мы тогда жалели, что не оставили вам телефон, – весело призналась девушка. Он только сейчас заметил, что у неё много веснушек и прыгучие ямочки чёрточками при улыбке, что ещё больше делало её похожей на ребенка.

– Наверное, поэтому мы теперь встретились, – вывернулся он, обрадовавшись их радости, и продолжал, сделав прозорливый прищуренный глаз. – А вы, наверное, к Матронушке приехали?

– Нет, мы тут живем. Как раз недалеко от Покровского монастыря. А сейчас просто погулять вышли.

– Живёте?! – поразился он. А он-то был уверен, что они, как и он, жители Подмосковья. Нет, тогда они просто ездили к друзьям на дачу с ночёвкой.

– Знаете что, а пойдёмте к нам? – предложила женщина. Её святую звали Тамара. Красивое имя. И томное, и подмаргивающее, и увлекающее в далекое «та-ам». – Дом в пяти минутах.

Он объяснил, что работает здесь, должен уже скоро возвращаться, чему в свою очередь подивились они и тем более пригласили быстренько пообедать вместе: «Всё уже готово, только разогреть». Отказывать было неловко, хотя и идти неловко тоже, в итоге, клюнув на их доброжелательность и весёлость, он согласился.

Дом их, и правда, был в нескольких шагах. Небольшая по площади трёхкомнатная квартира казалась просторной из-за малого количества радостной лёгкой мебели, которая к тому же была низенькой или узкой, словно растекшейся по углам и стенам до самого потолка, что освобождало много места в центре; современный броский, пожалуй, даже вызывающий дизайн сразу приковывал внимание к деталям. Он ранее не бывал в подобных жилищах и теперь нескромно озирался, гадая о назначении некоторых плавной кокетливой формы, вещей.

Оказалось, они жили с отцом, здоровяком-усачом, полноватым и улыбчивым, как Тамара, который сейчас отбывал на работе. Семейное фото сразу бросилось на него с полированной каминной полки. «Девушки» в нескольких словах рассказали ему, что Оля родилась «такой» из-за какой-то злой несочетаемости клеток отца и матери, о которых те, конечно, не подозревали. Изначально у неё были проблемы и с ногами тоже, они почти не шевелились, она с раннего детства жила в инвалидном кресле, и тогда всем приходилось вдвое тяжелее, но с десяти лет начались маленькие подвижки и улучшения, – в конце концов ножки вылечили, и к восемнадцати годам Оля начала передвигаться самостоятельно, немного неуверенно – на улице, в транспорте

нуждалась в поддержке, дома и в училище справлялась сама. Ну а руки так и не развились, и исправить что-то надежды нет пока никакой. Но кто знает, наука прогрессирует, вдруг всё-таки, хотя бы спустя лет двадцать, можно будет что-то изменить?

Он не стал представлять себе, что перенесли отец с матерью, когда у них родился такой ребёнок, как они пережили те мёртвые десять лет, – главное, что они не сдались и не сдадутся, несут крест без стонов и жалоб. В ответ он тоже коротко и суховато признался, что стал инвалидом совсем недавно, угодив под электричку, рассказал, как ему после проволочек и осмотров дали третью группу за которую платят столько, что только голубей прокормишь, ещё о том, как начал работать в монастыре и решил поступить учиться.

– А я уже на третьем курсе училища, – сообщила Оля. – Я учусь в специальном отделении на психолога для таких людей, как я, у кого средние ограничения. Но учиться сложно: я и школу только в двадцать три окончила, а сейчас мне уже двадцать семь. Не удивляйтесь, я знаю, что выгляжу лет на семнадцать, что поделать, плечи с детства почти не развились, худая, вот и кажется, будто я подросток.

– Как же вы учитесь? – робко удивился он.

– Да как? Карандаш в рот и лекции в ноутбук заношу, что-то через интернет скачиваю, считываю, что-то на диктофон... И писать ртом могу, а многие у нас ногами пишут, и шьют даже, и вышивают девчонки! Я бы и совсем дома могла учиться, дистанционно, но нам полезнее общаться, видеть друг друга, мы ведь все такие в группе, с разными проблемами. Ничего, теперь уже стало хорошо: есть компьютеры, интернет, связь с внешним миром, а ведь совсем недавно мы без этого обходились. Я полшколы проучилась с ручкой во рту. А знаете, сколько людей, которые даже за компьютером не могут работать, которые вообще не двигаются, так и прикованы к кровати на сорок-пятьдесят лет? Вот кому действительно тяжело… С ними я тоже буду работать наверное, а, впрочем, пока не знаю. Но очень хочется помогать, особенно таким вот детям-инвалидам, у кого нет родителей, кого бросили. Вы представьте, каково им!

– Да уж, – вздохнул он и рассказал о своём детском доме. Но, даже разболтавшись, он во время обеда старался не поднимать глаз от тарелки: неловко было смотреть, как мама её кормит с ложки, салфеточкой вытирает, как она с блюдца кусает хлеб, пьёт из трубочки, и он всё думал, сколько тихой боли и сложностей прячется за всем этим внешним позитивом.

– Знаешь, – сказала Оля, когда мама вышла поговорить по телефону, внезапно перейдя на «ты» и словно прочитав его мысли, – когда это с самого рождения, то не тяжело: мы же вот, люди, не завидуем птицам, что они летают, – каждому своё. А ты представь, как птицы нас, людей, жалеют: «Ну, несчастные, до чего же им неудобно, до чего они неуклюжи, как можно пережить такой ужас и трагедию, что не умеешь летать! Как можно терпеть, что у тебя вместо перьев голая кожа?» Нам ведь это будет очень странно, мы же привыкли так жить, без перьев, без крыльев. Ну не летаем и не летаем. А нет рук, значит, так задумала природа. Без рук тоже хорошо жить, и улитке хорошо жить, и цапле какой-нибудь, и рыбе. Они же не жалуются.

Он улыбнулся. Выпив чаю и поблагодарив, стал прощаться.

– Обязательно заходите к нам! – настаивала Тамара, провожая его до перекрестка. – Раз вы так близко работаете, вам ничего не стоит добежать перекусить, поверьте, мы с Олей будем только рады. Ей нужно общение.

И Оля кивала ему из окна, а он махал ей и опять улыбался.

– В церкви мы редко бываем, времени нет, – бережно взяла его под руку Тамара, – да и разочарований у неё хватает, она далека от веры. А мы-то верим теперь с мужем, иногда даже в храм заходим, не то что раньше. Часто случается, что к Богу приходят только после несчастий.

Да, таких выстраданных историй он в монастыре уже наслушался. Покивав, согласился. И не стал уточнять, что и наоборот бывает: сначала поверил, а потом несчастье.

– Вот и мы так же, спохватились, что называется, – продолжала Тамара. – Только Оля пока интереса к религии не проявляет, хотя мы иногда её берём, и в Покровский в частности. Может быть, как-нибудь заглянем, разыщем вас там. Но времени совсем нет, она учится, я в свободные минуты подрабатываю – то медсестрой по часам, то статьи пишу в интернет про нашу клинику. Пособие тоже выручает, а муж весь день занят, он машинист метро, кормит нас, но работа ответственная, напряжённая, от звонка до звонка, – тоже устаёт, а с нами разве отдохнёшь?

***

Остаток дня он провёл разбухший, вялый, его мучило, жгло внутри – будто окровавленный уголёк. Он всё думал об этой «искалеченной» семье, которая с виду казалась вполне счастливой, недоумевал, как же они живут, и, оставаясь в промозглом апатичном настроении, беспокоился о том, что у него непривычно колотится и дурманится какой-то густой пар внутри. «И что так жжёт?.. Да я ведь причастился!» – вдруг спохватился он. – Надо же, забыл!»

И его поразило, что он именно чувствовал горячую, жгущую кровь, раскалённые свинцовые точки где-то в сердце, но и не только в сердце, а вообще во всём себе, и это когда он думать забыл о святом таинстве, охваченный тревожными новыми впечатлениями и мыслями. «Значит, всё по-настоящему, и правду пишут о причастии, грешно было сомневаться, да только как же не сомневаться?.. Стало быть, действительно, происходит претворение хлеба и вина… Но это страшно, то есть, совсем уже страшно, настолько, что… нет, об этом никоим образом невозможно даже думать, страшно и всё…»

А где, спрашивается, та тихая радость, которую, судя по описаниям, все испытывают после причащения? Где умиротворение и спокойствие? Нет их в помине: раскалённые угли и мрачные помыслы, нехорошие помыслы… Война, жертвы, разрывающиеся бомбы… И из какой-то вязкой черноты смеётся над ним безрукая девочка, и мелькает козлоногий тонкий бес, и хороводятся с цыганской пестротой воспоминания, и такая тревога повсюду, в каждом шорохе, слове, взгляде… «Может, вот это как раз значит причаститься в осуждение?!» – нееет, лучше уж он подумает снова о сегодняшней встрече. Конечно, она не была случайной! А в прошлый раз и подавно – не столкнись они в электричке, он не встретился бы и с Богословом, а тогда совсем ничего бы не было. «Непогасшие утренние звезды» – почему-то приходило ему поэтическое сравнение, и они, эти женщины, бледно, тускло, но всё-таки осияли и зажгли его, и повели куда-то. И он снова стал перебирать пережитое сегодня…

– Обязательно заходите, – прощаясь, снова повторила Тамара, – не стесняйтесь, в любое время! И звоните, слышите?

«Слышите? Слышите? Слышите?» – мягко стучало у него в висках вместе со стуком колес.

21

И он стал заходить. И звонить. Хотя в тот момент, когда они расставались, он думал, что как бы ни было это с его стороны невежливо и неблагодарно, он никогда им звонить не будет, и даже если встретит на улице, твёрдо откажется от повторного приглашения. Потому что неловко и больно. Но получилось иначе.

Через несколько дней он понял, что… соскучился. По ним обеим. И прямо, как просила его Тамара, без предупреждения заявился с расфуфыренными пирожными. Потом стал всё чаще и чаще прибегать к ним во время монастырской трапезы или по пути домой после вечерней службы, познакомился с отцом семейства, добродушным крупным Вадимом, совершенно подружился с

хохотушкой Олей, и довольно быстро привык к их усложнённому дополнительными деталями хлопотливому образу жизни.

Постепенно он совсем перестал стесняться, помогая чем-нибудь Оле одной своей широкой «медвежьей лапой». Часто это выходило неловко, но оттого довольно забавно, а шутить и смеяться она могла, не переставая, и ему так хорошо было с ними, что он иногда уже удивлялся: «Как это у всех людей есть руки, и для чего бы они, эти руки, в таком количестве? Даже абсурд какой-то, что все по улице идут с руками, да ещё двумя, этакая роскошь, куда ж так много-то?» Теперь, когда ему уже случилось побывать в училище, которое оканчивала Оля, он убедился, что на шестерых, скажем, человек, двух рук вполне довольно. А когда на шестерых целых двенадцать получается, это уже, знаете ли, фантастика, капиталистическая утопия, мифы древнеиндийские… Совершенно спокойно может быть иначе, и привыкнут, всё равно будут жить да радоваться, без истерик и стонов.

Иногда они ходили вдвоём гулять, и он бережно поддерживал её, обводя вокруг рыхлых ледяных луж и московского талого бурого месива. Он незаметно посматривал из-под пугливых рыжеватых ресниц на модных ухоженных прохожих, которых так много порхает в центре города по утрам, и которые иногда казались ему деловитыми инопланетянами. А она надолго останавливалась у витрин магазинов, разглядывая расставленные в дискотечных позах манекены в стильных джинсах и распахнутых ярких джемперах с гигантскими блестящими пуговицами, которые ему не нравились, и всё щебетала беспрерывно о пустяках, о тряпках, о духах… И тащила его в парфюмерную лавку, где их уже знали и с ними здоровались, могла часами разнюхивать пузырьки и скляночки, тогда как у него после трёх флаконов все запахи мешались в один, потом, выбрав и купив какой-нибудь броский с серебряными буковками крошечный коробок, подробно объяснять ему, почему именно этот аромат эксклюзивен и остро ей необходим. Затем следовали остановки у ювелирных «подиумов», где грациозно и недоступно манили и сверкали всемирно известные и бывшие же причиной мирового завистливого раздражения «модели», – словом, Оля оказалась поразительно легкомысленным созданием, местами инфантильная, болтушка, этакая наивняшка-переросток, совсем не походящая на человека, которому пришлось много страдать.

Как вместе с жалким физическим уродством в ней уживалось желание часами листать носом модные журналы, да ещё рассуждать о неведомых ему «гуччах», «дольче габанах», «пако рабанэх», которые она потом колдовским образом умудрялась распознавать и указывать энергичными кивками ему в витринах, хотя эта самая «габана» от «рабаны» совершенно не отличалась? Возможно, именно затаённое неистовое из-за комплексов стремление быть «как все нормальные люди» сделало её любительницей гламуров и глянцев, и его смущённые попытки намекнуть, что как раз ничего нормального в подобной издевательской роскоши нет, успеха не возымели.

Он теперь диаметрально переменил свои первые впечатления о ней в электричке, представления про то, как она мучилась от неравенства и несправедливости. Нет, он не думал, что этого с ней не происходило, но видел, что за годы жизни она натренировалась быть железной, непробиваемой, бороться до агонических судорог с отчаянием – и побеждать. У них троих многому можно было научиться. А вот научить в свою очередь её вере, он не мог. Она саркастично относилась к толпам паломников, которые каждый день густо клубились в Покровском монастыре, молясь святой Матроне, и считала их бездельниками.

– Чудес не бывает, – отрезала она, – мне операции делала врачи, они помогли ровно настолько, насколько могли, – и дальше продолжала болтать о пустяках, теперь уже о сверкающих нахальных автомобилях, которые тоже бередили её «брендовое» воображение. К его рассказам о

чудесах и Махерасе относилась как-то апатично, нехотя снисходительно слушала и переводила разговор на Кристиана Диора.

– Я уважаю твои убеждения, – однажды высказала она ему, словно цитировала сочинённый накануне и заученный трактат. – И тем более хорошо, что ты поступишь учиться, значит, у тебя будет профессия, и ты сможешь зарабатывать больше. Но это твои убеждения, а у меня свои, – и точка, в этом была её позиция, которую она так просто без обиняков открыла.

Она вообще была очень простая, эта Оля. И жизнь её, кажется, до конца была понятна. Она жила, чтобы в скором уже будущем помогать другим, тем, кому ещё хуже. Она боролась, она выживала, повзрослев, она стала прямолинейным ответственным человеком. Она любила хохотать и подшучивать. У неё существовало своё бескомпромиссное мнение, трезвое, жёсткое, она его бесконечно отстаивала. Она не мечтала, а действовала, хотя действовать могла в сотни раз меньше, чем другие. «Да-а, – глядя на Олю с долей испуганного сомнения, размышлял он иногда, – что бы она делала, если бы у неё были руки? Добилась бы всевозможных высот, степеней, призваний или потратила бы жизнь в примерочных и салонах красоты? Наверно, и то, и другое, и ещё пять пунктов…»

Она подробно и аргументировано, вставляя для лоска многоэтажные психотерапевтические термины, ругала его за вялость и безволие. С нажимом заставляла сидеть над учебниками и пересказывать ей, как бдительной мамаше первоклассника, что он выучил. Помогала иногда, насколько могла, разобраться с заковыристым упражнением по русскому или с обнаглевшим историческим деятелем, который вдруг перепрыгивал у него в чужую эпоху. А иногда они шли в комнату к Тамаре с Вадимом и уже вчетвером, похохатывая, исследовали примеры абитуриентских заданий. Однажды в такую минуту он вспомнил облезлые стены своей школы, стайки курящих у забора прогульщиков, и подумал о том, что, вот же, у людей есть здоровье, возможности учиться без препятствий, а они не ценят, не хотят, – только и норовят свинтить втихаря с урока (как он сам порой делал) или подстроить мелкую подлянку учителю.

Выходило, что не столько помогал ей он, сколько она ему. Объективно говоря, он теперь нуждался в них гораздо больше, чем они в нём. Спешил к ним сильнее, чем на работу, учащая дыхание и гулкие утренние шаги, расшвыривая остатки крупин абсорбента по тротуару, зная, что его ждут с нетерпением и радостью, готовые накормить, расспросить, рассмешить и принять от него маленькие «ну что за глупости?! зачем ты тратишь деньги?!». Теперь только у него появилась искренняя уверенность, что шанс поступить в университет есть, и в голове кое-как разнокалиберные понятия стали упорядочиваться. В общем, к концу апреля он стал совершеннейшим другом семьи, чувствовал себя здесь, как дома, иногда даже оставался ночевать. Тогда ему ставили раскладушку в квадратной, оформленной в стиле ротанговой хижины, комнате, а ему, разумеется, было куда удобнее спать на два часа больше и тратить на дорогу до работы пятнадцать минут.

***

Стоит ли говорить, что, подпитанная ворвавшейся наконец с явным опозданием в город и отчаянно забурлившей весной, всем им четверым в голову вкралась одна и та же мысль?

И это дело тоже как-то просто и быстро решилось. С ними вообще всё происходило очень просто, потому что они слишком хорошо знали, что такое настоящие сложности. Постепенно и само собой вытекло, что он стал считаться женихом. Он вроде бы и не имел никаких намерений, ничего такого не собирался, вообще желание жениться, наверное, было одним из последних его желаний, но вот никто ничего толком и не понял, а все уже стали говорить об их свадьбе.

Это получилось очень логично: он привязался к Оле, к её семье, они втроем – к нему, то есть, семейные отношения, по сути, уже завязались, он помогал им, они – ему. Романтики,

конечно, никакой не было: ни поцелуев, ни свиданий, когда он гладит под дожём её мокрые волосы, ни стихов полушёпотом, ни сумеречных песен с закрытыми глазами под гитару. Но он, уже далеко не мальчик, и в юности без лирики обошёлся, да и она, пережив трепетный возраст, хоть и мечтала, конечно, в глубине души о принце, но умела объективно, жёстко оценивать ситуацию и возможности, и давно смирилась с тем, что, скорее всего, не только цветов и вальсов, но и самого-то замужества никогда не случится.

Но вот как-то нечаянно, как-то «весенним утром», выяснилось, что они поженятся. И это было что-то похожее на формальность, не то для удобства, не то для праздного интереса. Чтобы уже иметь официальное разрешение жить вместе, и чтобы это ни у кого вопросов и смущений не вызывало. Чтобы стало комфортнее всем. Ему в первую очередь. Он теперь уже, поёживаясь, оглядывался назад, понимая, что не хочет больше болтаться в одиночестве. Грубые, грузные, нестабильные встречи с ней, его первой женщиной, которая однажды бесцеремонно ворвалась в его жизнь и разбойничала в ней несколько лет, делая его не то куклой, не то рабом, – ничуть не походили на эти новые уютные дружелюбные отношения, полные непритворной заботы и сдержанной чуткости. И если она с детства безнадёжно тосковала по прекрасному принцу, то он в глубине души всегда мечтал дождаться семейного тепла.

Главное же – ему действительно было хорошо с задорной, принципиальной, угловатой Олей, хотя они так отличались по внутреннему складу. Разносоставные шероховатости характеров, пожалуй, и сглаживали, и дополняли друг друга, а оттого их тянуло проводить время, сидя вместе под круглой лиловой лампой, любопытничая и весело изумляясь такой окрыляющей непохожести. Они оба уже учились сдерживаться, молчать, уважать, ценить хорошее и обходить плохое. И они одинаково почувствовали, что могли бы справиться, живя без родителей, имея одну руку на двоих. Конечно, это обернулось бы унылыми трудностями, даже с учётом всевозможных Олиных приспособлений для облегчения существования. Но, к счастью, такого подвига пока от них не требовалось – Тамара ездила с дочерью повсюду, поддерживая её, да и отец в свободное от работы время помогал, как мог.

Родители его кандидатуру одобрили не только потому, что женихи, даже инвалиды из училища, вокруг не толпились, но и потому что тоже успели к нему привязаться, пожалуй, даже полюбить. Их трогали его невинные тревожные глаза, полные затаённой теплоты и беспокойства, как бы «не отяготить их», им приятны были его попытки вписаться, угодить, подстроиться, освоиться... Они были ему благодарны не только за помощь. Они считали этот поступок неким самопожертвованием с его стороны, хоть и догадывались, что он нуждается в ней не меньше, чем она в нём.

Когда дело дошло до обсуждений, свадьбу решили не откладывать и сгоряча отгрохать через месяц. Поначалу он хотел подождать, пока поступит (или не поступит) в университет, чтобы не мешать в кучу два крутых поворота, но Тамара разъяснила, что ждать не имеет смысла. До экзаменов оставалось два с половиной месяца, ему приходилось часами заниматься, а для этого удобнее было жить у них. Штамп в паспорте все уже считали формальностью, так как понимали, что из-за его официального переезда к ним с чемоданами ничего не изменится, он без того стал «своим», необходимым. Пышных торжеств не намечалось, но для нескольких родственников и друзей, которых с Олиной стороны набралось порядком, ибо она, в отличие от него, стремительно сходилась с людьми и умела с ними общаться, запланировали устроить большой домашний праздник.

Он, конечно, стараясь жить православно и чисто, настоял на венчании, родители деликатно поддержали, и Оля, поупиравшись, нехотя согласилась, с условием, чтобы в церковь никого, кроме приглашённых, не пускать. Этого она могла бы и не просить – он и сам не мог привыкнуть,

что на них таращатся и отшатываются. Она же учила его, что ни в коем случае не нужно прятать «уродство», пусть люди сразу видят их такими, как есть, а что шарахаются и «в обморок падают», так это их проблемы. Но в момент стояния на белом плате в венцах, под молитвы священника и отрешённое хоровое пение испуганные возгласы «Господи, какой ужас!» им были совершенно ни к чему. Он уверил её, что обо всём позаботится, – любой батюшка проникнется и благословит запереть на время таинства двери. Жаль только, она не понимала, зачем всё это нужно, и согласилась лишь из «уважения к его убеждениям».

– А свечу, что, мама будет держать? – ещё язвительно и двусмысленно усмехнулась она, дёрнув губой, и это был один из тех редких, но случавшихся таки моментов, когда он чувствовал, что впереди их ждут сложные испытания. «Ничего, лучше об этом не думать. Сегодняшний день доживём, а завтра посмотрим...»

Кстати, назавтра, когда у него как раз был выходной, и случился влажно-пряный, располагающий к сантиментам пасмурный день, он пригласил их в свою подмосковную берлогу, ведь они ещё ни разу не побывали у него в гостях. А уж шустрой невесте-то, конечно, интересно было посмотреть жилище жениха, может быть, даже и остаться там наедине дня на два, потому что больше всё равно не получится, так как они уже решили постоянно жить у родителей. Он, переночевав на Таганке, ранним сереньким утром отправился к себе, чтобы расчистить дом от накопившейся пыли и ерунды, а также собственноодноручно приготовить им незамысловатый обед, договорившись, что они с мамой подъедут ближе к вечеру и переночуют у него, для чего он любезно ляжет спать на кухне…

***

– И где это ты прошлялся всю ночь?! – неожиданно встретила его в его же квартире Даша-нельзя.

Ух, как он испугался! Он о Даше за последние месяцы вспомнил раза два или три, и то в связи с тем, что мучился не отданным долгом, теми самыми «вторыми» деньгами, которые она оставила ему, чтобы он смог прокормиться. Он, впрочем, ещё тогда решил, что она обидится, если он вздумает возвращать ей это «пожертвование», но, по крайней мере, принять от него приятный с сиреневым бантиком подарок не откажется, – и несколько раз томительно размышлял ночами, что бы такое ей подарить, а потом забывал, поглощённый бесконечными хлопотами и наклёвывавшимися семейными обязанностями. И вот она стояла перед ним, восхитительная, юная, с прекрасными волосами и улыбками, а он совершенно опешил.

– Да, я той ночью, будучи в гостях, украла у тебя запасной ключ! И не говори, что это смертельный грех! – счастливо разъяснила Даша. Он сообразил, что уже несколько месяцев её не видел, она будто канула, ни разу ему не позвонила, даже смс-очки не отправила.

– А где… где ты попадала? – вымолвил он, наконец, словцо.

– Лечилась, – отрезала Даша.

– От чего? – свалял он дурака.

– От букета! Не волнуйся, вылечилась.

Конечно, он не стал уточнять, да и голова другим была занята. Впрочем, минут через десять он сообразил, что её появление здесь, скорее, минорно, потому что в глубине души надеялся, что она очарует-таки и влюбит Богослова, пока тот в Москве, новая жизнь начнётся и всё такое... «Но чудес же не бывает!» – жёстко напомнила ему засевшая в голове Оля.

– Вот что, – метнула порхающая Даша-нельзя, – я тут у тебя поживу пока, о’кей? А то мне деваться некуда. Не к деду же идти в дом для престарелых? А на работе проблемы у меня, я пока ушла, может, и совсем, – подробностей она не сообщила и засияла зубками.

– Конечно! – позитивно закивал он с растерянной улыбкой, как всегда все делают в американских фильмах. Потом ему пришлось-таки путано объяснить, что скоро сюда, да прямо сюда, приедет его… подруга… с мамой, в общем, его невеста… или почти невеста… И она такая, ну, не совсем… не совсем здоровая. В общем, этот надувной матрас, который Даша принесла с собой, пока временно лучше сдуть и спрятать, а там, дальше, ближе к ночи, они разберутся. А сейчас некогда думать, нужно убирать всю вот эту ерунду и варить фрикадельчатый суп.

Даша долго молча на него смотрела. И потом так же молча стала помогать убирать всю вот эту ерунду и варить фрикадельчатый суп. Она глубоко и далеко ушла в себя. Куда-то очень глубоко и далеко, потому что даже на его вставляемые в красноречивый монолог кухонные вопросы не реагировала. А он тем временем рассказал ей всё: как впервые встретил Олю с Тамарой, как был потом у Богослова, как стал работать в монастыре и решил учиться в ПСТГУ, как Бог снова свёл его с этими людьми.

Ему так легко и радостно было говорить, катая неровные шарики из фарша, что он совершенно походил на глуповато-довольного мужа. Вот только Даша счастливой отнюдь не выглядела, и перед ней он чувствовал себя неловко. Конечно, она пришла к нему как к другу, но всё-таки что-то тут существовало такое, что делало его подлецом. Словом, постепенно он тоже стал терять оптимизм и даже задумываться, не был ли этот оптимизм фальшивым и защитным. Потому что невозможно счастье, когда несчастен твой… твоя… Даша. И хотя он тараторил по инерции с напускной радостью, которой понабрался у Тамары и Оли:

– Вот видишь, как хорошо всё складывается! А мы-то думали: как же это у нас квартира без присмотра останется? Поселюсь-то я у них! А теперь само собой получилось! Живи тут, и как можно дольше, – но чувствовал, что его напряжённость Даша тоже ощущает и больше всего на свете хочет сейчас разрыдаться. И не из-за него, конечно, инвалида и неврастеника, а из-за того, что у неё-то никакой «хэппи энд» упорно не предвиделся.

Он догадывался, что она сейчас мечтает гордо удалиться, но судя по тому, что не удалялась, ей совершенно было некуда. «Ничего, – вспомнил он, – случается так, что бежишь в тумане по незнакомой дороге, а потом просыпаешься в Японии». Безусловно, разумнее бы ей теперь уйти – тогда и Оле с Тамарой объяснять ничего не придётся, и никто не станет смущаться, зажиматься, краснеть. Но, с другой стороны, лучше уж сразу по Олиной методике всё показать, как есть, ничего не пряча и не скрывая: вот, да, а у него такая подруга, которая имеет полное право пока тут пожить, и это даже удобно – так он будет чувствовать, что вернул ей долг, и они в расчёте.

Но сколько же тут обнаруживалось коварных нюансов, начиная с того, что Даша разозлилась и оскорбилась бы, если б знала, что он так беспокоится о «расчётах» с ней… Затем вся эта нечистая история с её «работой», с которой неизвестно, собиралась ли она завязывать или только ждала случая поменять одну «мамочку» на другую. Не вздумает ли она, «ой-ой», здесь чего-нибудь такого, вроде «массажей» организовать в его отсутствие? Говорить он, извините, на эту тему с ней не мог. Потом, долго ли она вообще намеревается здесь остаться, ведь если он начнёт учиться, тем более на дневном отделении, куда он собирался поступать, то ему необходимо станет сдавать квартиру! Но не выгонять же её?..

Как ещё Даша-нельзя сейчас поведёт себя при встрече с его щепетильными осторожными гостьями? Она человек непредсказуемый, не выкинула бы сюрпризика – «чертёнка на пружинке».

А тут ещё этот нелепый момент, что она считает себя виноватой в его инвалидности, тогда как он в рассказе Оле и Тамаре даже не упомянул, что стоял не один у платформы. Фу ты, а то безобразие с «краденым золотом!»

Его одолели неприятные мысли, восхитительное благородство и щедрое великодушие заменили беспокойства и скрупулезные расчеты – будущая семья уже сейчас обязывала его отчасти наступать на горло собственной песне, а что же дальше? Но нет, терять Дашину привязанность он не может. Ни за что! Ей он тоже обязан помочь, защитить, хотя с ней это сложнее, потому что без всяких фраз и пафоса защищать её нужно от неё самой.

Только сегодня, в этот сырой, элегичный, томно затянувшийся день, вернувшись домой и столкнувшись с Дашей, он словно отдышался и впервые поразился, как за несколько стремительно проскакавших месяцев совершенно переменилась его безвольная неопрятная жизнь. Он чувствовал себя другим человеком, чужим стал даже характер. И, несомненно, эти, осуетившие, но и укрепившие его превращения случились благодаря Оле и её семье, хотя в совокупности за всё, кроме Господа, благодарить нужно было Богослова.

Но сейчас он вдруг обнаружил ясно и то, что далеко не во всём рад этим захватывающим переменам. Раньше он был свободен, принадлежал одному себе, делал, что душе угодно, целовал камушки, танцевал чечётку в облаках и разговаривал с деревьями. А теперь столько дел, ответственности, информации, и никакой возвышенности, в церкви – и то сплошь работа да беготня. «Ладно, стоп, нет времени удивляться, они ведь скоро приедут!» И он стал объяснять Даше, что необходимо каждый день кормить у дома голубей.

22

Встреча назло испугам прошла мирно. Удивлены были все, и он за компанию, сам не зная чему. Даша, хоть он её уже и подготовил морально, задохнулась и отвела глаза, наклонив голову, и чуть ли не стала за него прятаться, увидев, *что* вместо рук у его невесты. Будущая тёща в свою очередь несколько оторопела от неожиданного присутствия в его квартире молодой красавицы – «друга», у «которого», оказывается, есть ключи, и «который» может приходить и жить здесь, когда «ему» вздумается. С виду самой спокойной осталась жёсткая, привыкшая к «ударам судьбы» и психологически подкованная Оля, только поначалу затихла, смущённо исподтишка разглядывая обворожительную Дашу.

Впрочем, ее «красота писаная» их постепенно даже успокоила – он рядом с ней смотрелся бы, прямо скажем, жалко, даже если бы и не был инвалидом. Его недотёпистость, непропорциональность, забавные мохнатые ресницы, наивное рыжеватое лицо, вечно обкусанные младенчески-красные губы, разношерстные комические брови, заметные морщины, которые, впрочем, добавляли ему солидности, а то бы он уж совсем выглядел дурачком или дитятей, неуклюжая одежда, которая не хотела на нем «сидеть», а делала всё что угодно другое: висела, топорщилась, клочилась, болталась, мялась, даже рвалась, его немыслимая неровная походка, густые и ужасно смешные усы, которые торчали, лезли в рот, да ещё и отсутствующая рука – на фоне идеально сложенной, ухоженной, накрашенной, надушенной, дорогой красавицы явно не давали поводов для ревности. Тем более что Даша вела себя более чем сдержанно и «ничего такого» отнюдь выкидывать не собиралась.

В итоге светскую застольную беседу вежливо и натянуто вели они с Тамарой как старшие, а девочки, налегая на салат, лишь изредка вставляли словцо, пытаясь казаться непринуждёнными. После выпитого бокала вина разболталась наконец и Оля – они втроём начали робко посмеиваться и шутить. Только Даша-нельзя, поёрзывая, по-прежнему молчала, смущённо «угукая» на Олины разглагольствования о «версачах», стараясь не смотреть, как они по очереди кормят её с ложечки, и как потом мама вытиснулась с ней из-за стола в туалет. Когда они вышли, Даша глянула на него убито.

– Ничего, – бодро сказал он, – у голубей тоже нет рук. И они не стесняются, что мы их кормим, – но так жизнерадостно, как у Оли, у него не получилось. Даша молчала, потом выскользнула на кухню и хлопнула полстакана водки. Он услышал и понял – ну ладно, зато успокоится. Занервничал только, как бы не напилась, хотя она привычная к этому, и в крайнем случае всё можно свести к шутке. Но ничего сводить не пришлось, с виду Даша-нельзя оставалась, как стёклышко, только немного осмелела и что-то совсем стала «не в тему» говорить про грядущую Олимпиаду, впрочем, вскоре снова замолчала и сникла.

Его гостьи приехали под вечер, ещё и задержались почти на час из-за отменённой электрички, а теперь дело уже бежало к ночи, и он отказался от идеи, которая возникла, когда он обнаружил у себя дома Дашу, – возвратиться им втроём на Таганку, оставив её ночевать одну. Нет, после успешного позднего обеда и чая с десертом, двигаться никуда не хотелось, и они стали укладываться спать: Оля с мамой на широком его стареньком со вмятинами бордовом диване, Даша в углу, на надувном матрасе, а он – на кухне, на полу, куда набросал покрывала, и пухлую куртку в наволочку завернул за неимением в доме четвёртой подушки.

Он думал, что сразу так и заснёт после всех переживаний, хлопот, вина и формальной вечерней молитвы. Не тут-то было. Лежать на кафельном полу, на бугристой куче тряпья оказалось жёстко, неспокойно. Мало того, что неудобно, ещё и холодно, почему, спрашивается, по полу такой ураган гуляет? Не простудиться бы. Пришлось ему иди в прихожую, брать зимнее грязноватое пальто, накрывать ноги им, тогда только он согрелся, но уснуть всё равно не мог – то в бок кололо что-то, то мешали мысли. Потом вроде бы задремал, засунув ноги в капюшон, но тут не то через сон, не то наяву стали слышаться ему голоса: «бу-бу-бу, гу-гу-гу»!

Пролежав немного пригретым в расслабленной полуэйфории, он сообразил, что голоса не мистические, а за стенкой, – тоже значит, уснуть не могут с непривычки, эх, нужно было им всё же уехать к Вадиму – на гигантской их раскладушке с ортопедическим матрасом он ночевать давно привык. «Пожалуй, стоит предложить нам всем чаю с малиной для успокоения», – решил он, включил свет и стал искать в ящике зажигалку. Однако: на часах нарисовано начало четвертого утра, значит, он минуточек сто как минимум проспал, здоров молодец, а они что же? Неужели так и не ложились? «Ну и совушки», – он хотел постучаться и предложить им ночное, а точнее, раннее утреннее развесёлое чаепитие.

– Оля, но сейчас ведь даже электрички не ходят, куда вам ехать? Подождите хотя бы часа два, – неожиданно услышал он тихий упрашивающий Дашин голос, подойдя к двери.

– Ничего, – жёстко говорила Оля, – мы такси возьмём на станции. Я видела, там целый ряд машин стоит.

Он замер. Какое ещё такси?

– Это глупо, – шептала Даша, – зачем вы это делаете?

– Затем, что не хотим, чтобы он просыпался.

– Но, Оля, это странное бегство, так порядочные люди не поступают, просто неприлично, – робко возражала и Тамара.

– Мама, я так решила, мы сейчас уедем, – по звукам он догадался, что она сама пытается одеваться, а Тамара машинально ей помогает.

– Что случилось? Оля, ну скажи ты честно? – требовала Даша.

– Ничего не случилось, – упиралась Оля. Он хотел войти, но не мог. Ему не по себе стало, страшновато как-то. И холодно.

– Если бы ничего не случилось, ты бы среди ночи не уезжала, – логично протестовала Даша.

– Тебе-то что? Это мой выбор.

– А ему я что скажу? Он же утром с ума сойдет!

– Вот и пожалеешь его!

– Оля, не говори ерунды! Ты что, ревнуешь, что ли?

Последовала театральная насыщенная пауза. Тихонько зашипел чайник. Он весь сжался. И вдруг Оля тихо просто и отчётливо произнесла:

– Он тебя любит.

После второй паузы, во время которой сердце его колотилось так громко, что должно было быть слышно даже на улице, Даша рассмеялась напряжённым и каким-то надрывным смехом и ужасно высокомерно спросила:

– Ты знаешь, кто я?

Этого только не хватало. Хоть бы она не говорила!

– Ну кто?

– Конь в пальто! А ты дура. Нет, ты извини, конечно, – вдруг спохватилась Даша, что было на нее непохоже.

– Конечно, Оля, – неуверенно вставила и Тамара, – что ты выдумала? Даша совсем молоденькая девушка, красавица, у неё только жизнь начинается, ты их рядом поставь: он ей совсем не пара.

– Не надо мешаться, мама. Я говорю, что так решила. Я не собираюсь отравлять ему жизнь. Всё отменяется.

– Но он… тоже решил. Ему с тобой хорошо, – смущённо протестовала Тамара.

– Да он просто меня жалеет! Что ты, не видишь, что ли?!

– Неправда, Оля. Он серьёзно к тебе относится… и бережно. Иначе мы бы с отцом не стали…

– Ну и куда его, такого бережного, связывать на всю жизнь?! Я урод! – и Оля сдавленно в подушку разрыдалась. – А он! – продолжала она сквозь всхлипывания, – вы посмотрите на него, вы обе! Он же блаженный какой-то!

Его словно скрючило от стыда. Он стоял за дверью и пошевелиться не мог. Вместо того чтобы ворваться и начать их успокаивать, он застыл как вкопанный и хватал ртом воздух, с тихим свистом выпуская его в унисон шелестящему на плите чайнику. Значит, он не ошибся тогда, в первый раз, в электричке. Значит, она всегда мучилась своей неполноценностью, страдала от несправедливости.

– Ладно, Оля, не надо, прекрати, – устало и тяжёло произнесла Тамара, и он понял, что подобные истерики ей приходилась выслушивать всю жизнь.

– Иди сюда! – вдруг зло прошипела Даша, которой, видимо, больше было жаль мать. – Иди, тебе говорят! – и он услышал какое-то резкое движение и тихий вскрик Оли, нежели она её ударила? Не может быть. Нет, она, кажется, сдернула её с дивана. – Смотри! Сюда смотри, – яростно продолжала Даша, – на икону! Ты Ей говори спасибо, что она тебе послала этого человека! И не смей никогда против Ее воли идти! Ты знаешь, кто это?! Богородица!

Тут у него уж совсем волосы дыбом стали. От кого – от кого, но от Даши он такого не ожидал. Что с ней случилось? Понятно, что это она только в порыве, но всё же…

– Что мне Богородица… – горько и вызывающе от смущения пробормотала Оля, потому что теперь ей, действительно, нечего было возразить.

Он наконец отмер и вместо того, чтобы войти в комнату, совершенно разбитый неслышно вернулся на кухню. Погасил газ. Пусть будет, что будет, он не в состоянии вмешиваться. И он уткнулся головой в самодельную подушку.

Даже без этого Дашиного праведного гнева, ещё как только Оля сказала, *кого* он любит, он тут же понял, что это была очевиднейшая простейшая правда. И он всегда это знал. Ещё с песочницы, улыбнулся он нечаянному каламбуру. А Оля… Да, это была жалость. Это была нежность. Это был неуместный героизм. Это было удобно. Благородно. Чисто. Приятно. Богоугодно, наверное. Но любил он Дашу. А она Богослова. Вот и всё. И пусть теперь идёт, как идёт.

Вскоре к нему в кухню без стука вломилась Даша-нельзя. И остановилась. «Какая же она красивая… Какая красивая».

– Идите пить чай, – глядя на неё, не мигая, тихо сказал он.

Наутро они втроём вернулись на Таганку. Он «так и не узнал» об этой ночной сцене. Венчание было назначено в начале июня, чтобы успеть до Петрова поста.

***

И жизнь поскакала своим чередом. Он добросовестно продолжал учить Закон Божий и школьные предметы, он до утомления работал в монастыре, исповедовался и причащался, теперь уже без мистик, а спокойно и не рассуждая… Он каждый день находил время помолиться у иконы святой Матронушки, он жил в своей будущей семье, Оля подбадривала его и занималась с ним, он помогал кому мог, и кто мог, помогал ему. Они ходили гулять, дыша влажными недавно распустившимися ветками, переливавшимися всеми оттенками зелени, он ухитрялся и обнимать её, и одновременно держать крупный, с греческим рисунком, зонтик. И по-прежнему все на них смотрели. И по-прежнему они назло всем казались счастливыми. И никто не знал, что и он, и она, ночью тайком сдерживают или глотают слезы. Но плакать времени не оставалось – дела, заботы, суета.

Хотя и был он большей частью растворён в тихом умиротворении, не позволяя настроению допускать ни эмоциональных плесканий, ни однообразной унылой скуки, он не мог не сознаваться себе, что чем ближе дело подходит к венчанию, тем больше накапливается в нём некоей рассеянной нервозности и различных туманно-размытых опасений. Он тысячу раз убеждал себя, что всё уже решено, и решено не им, и не ею, а на небе, что всё к лучшему, и думать нужно только о поступлении, особенно же об истории России, которая не укладывалась в беспокойной кружащейся голове, и которой он по безволию меньше всего уделял внимания, пытаясь перехитрить и обойти чуткие Олины нападки.

Он читал учебники, как романы, пока это было интригующе и захватывающе, потом же, едва начинались экономические и социальные подробности, переключался на свои беспокойства, которые канарейками мелькали в мыслях, невнимательно пролистывал неинтересное место, ничего не запоминая из того, что пробегал отсутствующим глазом. Затем, когда они обнаружили, что он не помнит ни событий, ни дат, стали зубрить их отдельно. Уж он старался, мусолил, писал в шпаргалках своей правой рукой, которая кое-как наловчилась-таки держать ручку, столбики ассоциативных слов, с помощью которых можно было воспроизвести в памяти конкретный факт или деталь, как учила его Оля, и всё равно путался. Таращился в эти столбики, дорисовывая на них рожицы и кусая усы, и чувствовал себя стариком, негодным для будущей жизни, напряжённо размышляя неизвестно о чём.

***

«Что такое венчание?» – не раз задавался он вопросом. Листал и перечитывал длинные красивые статьи и разъяснения по этому поводу, но уяснил лишь одно: это такое таинство, в результате которого двое становятся одним целым. И вот это «одно целое» его беспокоило. По предыдущему опыту он знал уже, что о таинствах так просто никто ничего не говорит и не пишет,

– уж если сказано об этом загадочном сверхъестественном духовном единении, то оно непременно случится. И случится навсегда, нерасторжимо.

А вот нужно ли это таинственное единение ему и ей, совершенно непонятно. Потому что понимание приходит только на опыте. Он, например, далеко не сразу решил причащаться во второй раз, вспоминая свои кошмары, кровавое внутреннее столпотворение и разорванность. Как он мог раньше не верить, сомневаться, – если вдуматься, какой это злой грех, – и как он может осмелиться снова приступить к очищающему огню, непостижимому сокровищу, – умоляюще вращая глазами и поскуливая, расспрашивал он батюшку, а тот успокаивал его, а он всё волновался, но рискнул-таки и… На второй раз уже чудес не было, а после – он наконец стал чувствовать искомую тихую радость и умиротворение, только как-то мимолётно. А за этим – некое равнодушное спокойствие и… отсутствие мыслей. Когда он читал об этом в книгах, думал, что какая-то эйфория будет на неделю, а получалось так, непонятно… Радость – особенная, «другая», непривычная, «не отсюда». Впрочем, об этом и думать невозможно… А венчаются-то только один раз, тут уже ничего не исправишь, это на всю жизнь. Как не бояться?..

– Спрашивайте у своего сердца. Загляните в него: если в нём тревога, беспокойство, и вы отчётливо это чувствуете, лучше повремените, – советовал священник. – Нужно пока хранить себя в чистоте и всё серьезно обдумать.

Но сердце было на удивление спокойным и отрешённым, будто само по себе существовало и не желало ни во что вмешиваться. А вот предательский ум, наоборот, суетился донельзя: ничего серьёзно обдумывать не собираясь, он каждую минуту донимал новыми тревожными размышлениями, подсовывая страхи, один другого изощрённее.

Меньше всего его волновала внешняя, практическая сторона, хотя отчасти и она волновала. Но тут он убедил себя, что сможет прокормить их двоих, кроме того, он видел, что Оля тоже серьёзно настроена и собирается вносить вклад в семью. Родители были надёжной опорой, существовала, в конце концов, его подмосковная квартира, да и жить он привык умеренно, чему, вероятно, и она научится, когда начнёт сама зарабатывать. «А при удачном раскладе можно не то, что прожить, а и позволить себе некие роскошества, такие как поездки на Кипр, например», – думал он, вздыхая от того, что, видимо, нескоро это случится. Появятся, конечно, непредвиденные проблемы, но уж без куска хлеба они не останутся, и он сам этим хлебом будет бережно её кормить.

Но вот невидимая сторона дела… Он был влюблён в Дашу, самым что ни на есть мужским образом, и влюблённость эта, чего там скрывать, была первой и сильной. Он старался о ней не думать, но выбросить из головы, конечно, не мог, тем более зная, что сейчас она живёт у него дома, и это «живёт у него» наполняло его гордостью, будто он скрывал и берёг её от кого-то. Ему ужасно хотелось к ней туда приехать, уже именно не к себе домой, а «к ней», будто само её присутствие превращало его берлогу в королевские палаты, где она повелевала и царствовала. Но он не ехал, пытался сдерживать буйные фантазии и для отрезвления подходил к зеркалу.

Но даже если вовсе забыть Дашу, в конце концов, она любит Богослова и живёт двусмысленной жизнью, да чего там, даже если представить, что её вообще не было, и она ему приснилась, – само это венчание с Олей, тесная связь и ответственность до могилы серьёзно озадачивали. Что это за таинство, которое только на один раз? Нет, понятно, что можно в крайнем случае и разойтись, но едва ли он это сделает, совесть-то у него есть.

Но главное, сама суть этого таинства: они станут одним целым, а разве он этого хочет? Да, она очень милый, добрый, умный человек, она горя нахлебалась, она стойкая, упрямая, многое в ней его восхищает, многое нравится, что-то трогает и умиляет, ему хорошо с ней, но она отдельный и всё-таки чужой человек! Даже если откинуть жалость и представить, что она не

инвалид, – она была бы отличным другом ему, помощником, советчиком, но внутренней близости у них нет. Они совершенно, донельзя разные. Две личности, вполне сложившиеся. И это что же, значит, они теперь свои эти личности потеряют? Он растворится в ней, она – в нём, и это, вероятно, случится, потому что *всё* – правда, а значит, и он, и она утратят, что ли, себя, станут другими? Ну, как-то жалко. Он к себе и к такому привык…

А вдруг он тоже начнёт безостановочно болтать о пустяках и восторгаться облепленными мишурой магазинными витринами? Или станет таким железным, бескомпромиссным, непробиваемым, как она? Нет, ему не хотелось. Мягкость привычная лучше. А ещё они, что ли, друг на друга своих страстей и грехов навешают? Наверное, у неё гораздо меньше, но она же их и не исповедует. Значит, он и их на себе понесёт? Он маялся: зачем ему чужие грехи и страсти, когда своих граблями не разгребёшь? А вот ещё вопрос великолепный замаячил: что они потом, за гробовой доской будут делать? Неужели они и там будут неразлучны? Ну, лет тридцать прожить с милой девушкой, которую уважаешь, ещё можно, но оставаться с ней на целую вечность… Это как? Застрять в ином измерении вдвоём, и ни шагу в сторону, всегда рядом она, она, а если они станут одним существом, выходит, вообще какое-то «оно»! И будто срослись! Да разве ж это можно? Жуть какая! Наверное, это было бы забавно, если бы не было так серьёзно. Может, к неотделимости и стремишься, когда любишь, но он-то… увы. И делалось ещё страшнее.

Наконец существовала ещё третья сторона вопроса. Уже земная и самая щекотливая. Потому что тут воле-с не воле-с придётся что-то делать. Оля чем дальше, тем настойчивее старалась вести себя, как невеста. И он понимал уже, что он ей… в общем, нравится. В то же время, по известным нерадостным причинам она болезненно смущалась, и он видел, что она продолжает мучиться из-за своего физического недостатка, полного отсутствия опыта и чувствует, что по-женски интереса для него не представляет. И что тут обоим прикажете делать?..

Она неловко и неумело пыталась к нему приласкаться, краснея и страшась, а он ещё сильнее краснея, выдавал огромную голливудскую улыбку и отважно звонко целовал её в волосы, норовя поскорее нечаянно ускользнуть. Словом, эта неопределенность тянулась ужасно, позорно, а поговорить об этом просто и открыто, как они привыкли болтать обо всём, было невозможно. По правде сказать, он поначалу собирался, женившись, вести монашеский образ жизни и относиться к Оле, как к любимой и трепетно оберегаемой сестре, тем более что был способен к такому «аскетизму»: от нападок гормонов на стену не лез, а с той единственной бывшей, которая умотала на Кипр, иногда даже случались постыдные фиаско, поэтому решил, что сможет как-нибудь и перетерпеть.

Но Оля-то, оказывается, ничего лучше не придумала, как влюбиться в него. А может, и детей родить собиралась, она что-то однажды про «малыша» пискнула, только совсем тихо, и он сделал вид, будто не расслышал. А чего же тут странного и неправильного для женщины? Естественно и объяснимо. Картина ясна: она всегда упорно внушала себе, что до гробовой доски будет висеть на шее у родителей, что не найдётся человек, который на ней женится, что нужно, сжав зубы, смириться, искать реализации в профессии, – никаких иллюзий, чтобы потом не страдать и из окон не кидаться. Но, при этом, разумеется, с раннего детства наперекор себе же мечтала, как и у неё случится это чудо, такое настоящее, про которое восторженные фильмы снимают с невероятными актрисами, которое она часто видит на улицах, когда молодые парочки целуются, увлечённые настолько, что даже от неё не шарахаются, представляла, как появится *он* и полюбит её такой, какая она есть, и примет несмотря ни на что, и даже, наоборот, ещё будет умолять, чтобы она согласилась выйти за него замуж. Ну вот, *он* и появился, до принца ему, конечно далеко, но мужчиной, как ни крути, всё же был, и этого оказалось достаточно.

В общем, ерунда какая-то выходила и неловкость. Однажды она ему показала статью в интернете про то, «что нужно делать девушке в первый раз», по-детски стеснительно доверчиво на него поглядывая и тут же отводя глаза, и что-то с запинкой начала говорить, пытаясь хоть как-то его спровоцировать на назревшую беседу. А он чуть не умер, будто она и правда была пятилетним ребёнком, буркнул, что «всё врут интернеты», и экстренно перевел беседу на термины обществознанию. По медицинским соображениям никаких запретов у неё не было, и он чувствовал себя негодяем, когда норовил поскорее смыться или отшутиться. Нет, она вела себя совсем ненавязчиво, наоборот, ужасно робко, деликатно, но он-то тоже не дурак, понимал, что происходит…

И отходить теперь некуда. Нет, конечно, ещё не поздно поступить «дерзко и гордо», мерзко сподличать и однажды улететь вольной птицей, но ему этого не хотелось. До конца разобраться с ситуацией он не мог. Наверное, разумнее всего поговорить начистоту с Олей, как они делали обычно, прямо обозначить те границы, которые он переходить не планировал, но он знал, насколько острой это обернётся для неё болью, обидой, унижением, усилит и без того донимавшие комплексы. Видел, что она уже и сейчас боится подобной «развязки» и заранее настраивается «на худшее», пытается казаться непринуждённой, а сама бесконечно переживает, – поэтому никаких точек над «i» наотмашь лепить было нельзя.

В то же время, её попытки выглядеть для него привлекательной, которые она ещё и скрывала за нарочитой грубоватостью и своей «фирменной» трезвостью, её старания пококетничать, нечаянно его коснуться, такими были жалкими, что заставляли его мысленно выть. Чаще и чаще преследовали его Олины укоризненные напуганные глаза: что же ты, дескать, не реагируешь?.. Они оба терпели до последнего мгновения, но ничего не произошло, ничего не решилось.

***

И вот они стояли перед аналоем на белом плате. Он твёрдой, прямо-таки железной хваткой уцепился за свечу, словно не жениться собрался, а идти воевать, её свечу держала мама.

– Имеешь ли ты, раб Божий… – слышал он пунктиром, – свободное и доброе желание… – уплывали от него слова, – …которую здесь перед собою видишь?

– Имею, честный отче, – где-то на другом конце света звучал его голос.

– Не обещался ли ты…

– Не обещался, честный отче.

– Имеешь ли ты, раба Божия… – должно быть у священника был насморк, или ему только казалось, что он гнусавит…

– Да, имею, честный отче, – ещё глуше и дальше раздался её ответ.

– Не обещалась ли ты…

В церкви собралось много гостей. С его стороны пришли только Даша и, к его нескончаемому искреннему удивлению, Богослов. А вот от них – знакомых прибыла целая толпа: старинные друзья её родителей, расфуфыренные, шумные, с цветами и коробками, какие-то дальние пожилые и молодые родственники с детьми и толстыми пакетами, да ещё почти вся группа калек, которые с ней учились, подтянутые, прибранные, с куратором и несколькими преподавателями.

Он не двигался, смотрел равнодушно. Всю ночь промучившись кошмарами, наутро встал отрешённым, с больной пустой головой. Она тоже не спала эту ночь, вероятно, полная страхов и мыслей, что нечестно с ним поступает, что завтра, в последний момент всё изменится, что она не выдержит и убежит в слезах из храма, или он сам он от неё откажется, – но в итоге теперь оба стояли неподвижно, глядя в блестящие чёрно-бежевые квадраты пола, и разве что нервничали из-

за постоянных фотовспышек, на которые пришлось согласиться, «чтобы другие люди с ограниченными возможностями увидели, что они имеют все шансы на счастье, и подражали их примеру», – так сказал ей сам ректор.

Ничего сокровенного и непостижимого он не чувствовал, слёзы умиления, которые временами лились у него на пустом месте, тут даже и не мелькнули, – только несколько напряжённое сосредоточенное опустошение и безразличие. А она и вовсе хотела поскорее покончить с этой «формальностью», жалея, что вообще согласилась, и искоса посматривала на Дашу-нельзя, наверное, втайне мечтая выглядеть такой же ослепительной, цветущей, модной, эффектной. Нет, никаких особенных ощущений во время единственного в жизни таинства, даже совсем никаких – и он лишь вяло удивился этому. Потом понеслись горячие и скучные поздравления, банальные торжественные фразы, поцелуи, объятия, а они улыбались и позитивничали, и это было так ненатурально, так ненужно: он только диву давался, как у него хватает не то мужества, не то подлости это вынести и не разрыдаться сейчас.

– Ты её видел?! – неожиданно набросилась на него с восхитительными объятиями душистая-пушистая Даша, и он заметил, что она навеселе.

– Кого?

– Её, мать Елисея! Она тоже пришла, вот только что тут стояла!

– Нет… – таращился он уныло.

– Ох, какая она невозможно, невыносимо красивая! Такая бледная, кожа прозрачная, глаза синие, волосы вот так, льются, вьются, – я всё время на неё смотрела! И почему она решила прийти?! Наверное, Богослов упросил! Ну… она такая, каких вообще не бывает! – горячо описывала Даша, будто даже не заметила, что его с Олей несколько минут назад обвенчали. – Наверное, ушла! А как она смотрела на вас! А как стояла, – будто с неё ваяют скульптуру! Или картину пишут. Если б ты её видел! – воскликнула она так горячо, словно готова была продолжить, что тогда – вся жизнь бы перевернулась, и реки вспять потекли, и горы рухнули… Глупость какая-то.

Дашу оттеснили Олины родственники. Странно… При чём тут мать Елисея? Зачем Богослов позвал её? И почему она ушла, ни слова не сказав?.. Жаль, что нет сейчас рядом самого Елисея. А он ведь так и не побывал на его могиле… Некрасиво. Но вернуться второй раз на ту станцию, на *то* место он пока не мог.

– Счастья вам, любви, согласия! – пела незнакомая низенькая тётушка, потрясая крупными янтарными серьгами. – Какие же вы молодцы! Какой хороший пример подаёте! Берегите друг друга! Будьте вместе и в горе, и в радости!..

Ночью они оба по молчаливому согласию уснули как убитые, напуганные и растерянные, дико устав от немыслимого бреда «праздничного приличия», который продолжался допоздна.

23

К полудню он почувствовал, что отлично отоспался. То же можно было сказать и об Оле. Пока она, мурлыкая, просыпалась, он пошёл на кухню, сварил кофе, который она пила через соломинку, как и остальные напитки, и принес в комнату. Она удивилась и захихикала. И вот они сидели молча, пили шоколадный кенийский кофе, улыбаясь и хитро поглядывая друг на друга, будто только вдвоём знали какую-то смешную тайну. Было хорошо, июньское бело-сизое солнце длинной полосой лежало на стене и добавляло тепла. Потом они стали смеяться, неизвестно чему, вместе. Потом он вдруг схватил её и поцеловал. И это тоже было ужасно смешно. В общем, она как-то моментально, между смехом и кофе, стала его женой. Это так просто, неожиданно случилось, без какого-либо расчёта или намерения, а… нечаянно, само собой. И он никак не

думал, что может вот так, внезапно, легко получиться. Он, скорее, думал, что этого никогда не будет. И всё перевернулось, всё сразу изменилась до противоположного: неловкости он не чувствовал, – да и она перед ним тоже не смущалась, а ему уже стыдно было за предыдущие свои колебания и сомнения, потому что она… ну такой сейчас оказалась родной, своей, привычной, неотъемлемой, что можно лишь диву даваться, каким образом он вчера ещё мог считать её «чужой» или «отдельной».

Надо же, изумительные глупости и умопомрачительные страшилки он надумал себе перед венчанием! Совсем ничего он не потерял от своей драгоценной личности, как и она! Нет, было тихо и упоительно хорошо. Он теперь светло, трепетно чувствовал, что именно ему принадлежит в ней то сокровенное, чистое, бессмертное, что есть в человеке от Бога, что он обладает теперь этой драгоценностью, наличие которой он раньше едва сознавал или, скорее, не сознавал совсем, и при этом никакой потери или ответной отдачи себя и своего сокровенного Божественного начала он не ощущал. Выходило абсолютное и бесценное приобретение, подарок свыше, которого он, конечно, ничем не заслужил. И он ещё вдруг обнаружил свою власть над ней, и такую неоправданно сильную, такую таинственную и удивительную.

Любопытно, что Оля, похоже, переживала что-то близкое, во всяком случае, он с озорством уловил, что она совершенно счастлива, спокойна и никоим образом не похожа на человека, у которого «вытянули» Божественный образ, и который теперь «вечный раб», – нет, сияющая хитренькая Оля тоже явно ощущала себя обогащённой нахлынувшей заветной благостью и довольной обладательницей, хозяйкой даже его самого. И правильно: долой дискриминацию! Да, он отчётливо различил, что и у неё отныне тоже теперь есть над ним тайная непостижимая власть, но это ничуть не задевало, а наоборот было ужасно приятно. Потому что вдруг стало понятно, что он всё-таки её любил, что любовь не где-то в мечтах «недосягаемая», а тут, рядом.

Это вполне поддавалось объяснению: он почувствовал теперь в ней то, неприкосновенное, святое, к чему так стремился, то удивительное, высшее, тихое и бесконечно доброе, которое не любить невозможно, и это открылось для него проще шкатулки или книги, или незапертой двери. Видел он сейчас это прекрасное и неизведанное яснее и отчётливее, чем в себе самом, стало быть, он любил её больше, чем себя самого или уж, во всяком случае, не меньше. Вот, оказывается, какова сила этого «таинства на один раз», – и каким же глупцом он был, что боялся. Разве может Бог или Церковь сделать ему что-то плохое? Малодушный и недоверчивый…

Ощущалось и то, что после венчания стёрлась отчасти граница между ними, – вот оно, то самое единение. Когда они перестали быть «чужими», «отдельными», исчезло понятие «другой» человек, появилось «мой», что-то близкое к «моё продолжение», словно он переливался в неё, а она в него, но целостности при этом никто не терял. Он, впрочем, понимал, что анализировать таинство бессмысленно, и не пытался что-то разгадывать. Зато он прямо физически почувствовал, что одна его рука на двоих стала теперь и её рука, и она может пользоваться ею, как заблагорассудится, и что он, внезапно сильный и уверенный, держит её и пронесёт на этой самой единственной руке через всю жизнь, через любые трудности, и защитит её, – не потому что он такой герой, а потому что она была поручена, передана ему Богом, и он теперь перед Ним отвечал за неё.

Лишь потом, спустя время, он однажды, мысленно воспроизводя свои переживания до венчания и после, ужасно поразился чуду, которое с ними произошло. Это же похоже на волшебную сказку: вдруг в одночасье стать родными, начать принадлежать друг другу и по-настоящему любить, словно открылась в них к этому новая способность, будто неизвестный общий духовный цветок возник и распустился за ночь, или просто стёрлась преграда, которая мешала этой любви.

Волновало лишь, как бы теперь не утратить подаренного им обоим непередаваемо нежного, острого, тихого чувства, ведь как проходит созерцательное состояние, так и это могло куда-нибудь схлынуть, забыться, отойти… Стало быть, нужно молиться, беречь открывшееся, подобное второму рождению ощущение, чаще обращаться к своей же душе, где жила теперь эта сокровенная живая, «другая», неизвестная больше никому, настоящая Оля.

Он давно уже учился понимать её без слов и бросаться первым на помощь, не спрашивая, в чём именно и как нужно поддержать, прежде чем она успеет попросить об этом, потому что знал, как неловко ей постоянно напоминать о самых элементарных ежечасно необходимых вещах. Конечно, безукоризненно всё это делала для неё мама, но теперь это была и его задача, он уже многое умел чувствовать по выражению её глаз и лица. Не всегда удавалось, иногда происходили недоразумения, но он осваивал трудности на опыте, во всём приходилось стараться…

Усерднее же всего теперь он сосредоточился на главной задаче – поступить в ПСТГУ, время испытательных тестов близилось. Два тёплых месяца жизни с новой семьей, привычной работой и уютными сумеречными занятиями после ужина пролетели незаметно, и…

***

Он завалил экзамены. Увы, тут ожидаемого чуда не произошло. Катастрофически мало баллов он получил по злополучной истории, которой больше всего опасался, которую возненавидел за её интриги, кровавость, жестокость, непостижимую парадоксальность; задание оказалось сложным, разносторонним, а у него к тому же не хватило догадливости заранее детально программу уточнить, и он уже от одной формулировки вроде бы знакомых вопросов терялся, к тому же нервничал и забыл даже то, что старательно заучил.

Морщась от стыда и вытирая сопли, он вернулся домой, но стальная Оля велела не сдаваться, уверяя, что на заочное отделение он поступит наверняка, так как уже представляет себе, чем коварны испытания, и не будет во второй раз сильно трястись и волноваться; тогда он побежал заново подавать документы, хотя и не горел желанием учиться на заочном, потому что это не только грозило, как казалось ему, неполноценным образованием, но пугало и невозможностью самому одолеть груз науки, а, соответственно, мерещилось быстрое позорное отчисление. Однако его подбадривали, ему подмигивали, подсвистывали, и наконец всё случилось: первым вопросом выпала Русско-Японская война, и он к своему ответу прибавил пламенный драматический монолог про Николая Японского и Павла Савабве, – в итоге на заочное отделение миссионерского факультета по направлению «религоведение» поступил.

Что ж, всё складывалось к лучшему. У него останется много времени, чтобы работать, тем более что квартиру он пока не мог сдавать, ведь Даша ещё жила там; он больше заботы уделит Оле, продолжит провожать её в училище и встречать, заниматься разноплановыми хлопотными домашними делами; из-за инвалидности ему разрешили не только учиться бесплатно, но и по желанию посещать любые лекции вечернего и дневного отделения что, как выражалась разумная Оля, поможет «снять психологический барьер», – свободнее общаться с людьми.

И вот, прежде чем он начал обучение, прежде чем жизнь вошла в привычную колею по новому расписанию, где всё казалось предсказуемо и обыденно, произошло ещё одно чудо, точнее, неожиданное странное событие. Нет, конечно, внутренние его переживания тогда не окончились, изредка случались сокровенные моменты, о которых невозможно рассказать, но он научился не обдумывать, как раньше, досконально и подробно любой миг, приплетая туда ещё тонны бурной болезненной фантазии, а лишь тихо отдавался каждому такому случаю, если он бывал ему дарован.

Пока же, обрадованный зачислением, он отпраздновал его вечером, счастливо похохатывая, за добросовестно поджаренным семейным ужином со свечами и оптимистичными тостами.

Наутро отправился с благодарностью в церковь, сообразив, что всё, действительно, случилось самым удобным образом, и напрасно он не понимал ранее, что жить, обучаясь на дневном отделении, было бы тяжелее, – он мог бы, пожалуй, этого не осилить.

***

Ранним бело-сиреневым грозовым утром его прихватил тёплый августовский дождь, а он забыл свой знаменитый кипрский зонтик (единственный «светский» презент с острова) и пришёл в церковь мокрый, сверкающий, хоть и переждал самую буйную часть ливня в переходе метро. Тихонько мыча, он пытался изобразить себе под нос что-то многогранное из Сен-Санса, ощущал, как душа веселится, подпрыгивая вместе с ним по торчащим из луж на залитом асфальте кочкам, вошёл в распахнувшуюся дверь под золотистый звон колокола. Он будто летал по храму, радостно изумляясь всему, вертел головой и невнимательно топтался на службе. Затем он чрезмерно, потому что в его сердечной эйфории всё было чрезмерно, удивился, отчего один из священнослужителей после Великого входа, сошёл с солеи и стал позади других, держа на голове воздух, а потом еще постоял на середине, и затем в сопровождении двух диаконов заспешил в алтарь. И только, подсмотрев, как происходит облачение его в епитрахиль, пояс и фелонь после троекратного обхождения престола, догадался, что попал на хиротонию.

Вот это да – поразился он – как повезло! Наверное, это тоже было неслучайно, какой-то ниспосланный красивый знак. Впрочем, самый простой – знак начала новой жизни для него, как и для этого священника, он ведь тоже, хоть и не в храме, но собирается своим особым образом служить Церкви – только сейчас его хлобыстнуло элементарнейшим озарением. И бодрое пение «аксиос» невольно вызвало смущённую улыбку.

А после он задумался о путях Господних и мягко, ностальгично погрустнел оттого, что ему-то уже никогда не светит подобный «аксиос», ему-то уже никогда не стать священником. Впрочем, даже не потеряй он руку, едва ли он изменил бы свою никудышную жизнь в таком направлении. Да, хотел сделаться монахом, но мог ли он быть монахом? И машинально мотнул головой, наученный опытом утомительной монастырской работы, примером служения и поведения разных церковных чинов, их дисциплины, благоговения, терпения… Нет, не выдержал бы, разве что спустя долгие годы привычного однообразного труда в храме, набив шишек, набравшись сил, нахлебавшись попыток самоотречения, внутренне окрепнув, чтобы не сломаться сразу, – а так, на горячую голову бросаться – неосмотрительно, рискованно, безумно, – каким грехом было потом, не справившись с этой тяжестью, вернуться в мир, и, презирая самого себя, продолжить бесцельное существование…

Да, он совсем не понимал тогда, что ему нужно. Мыслил горделиво, импульсивно, дерзко, позволял себе высокопарно и почти кощунственно посмеиваться над скрупулезностью и «скучной приземлённостью» устава, собирался в монастырь, – а сам (ха-ха) ни разу, и в этом «ни разу» заключался особенный «прелестный» подвох, – даже не попытался внимательно и подробно обдумать свои грехи, считая себя чистеньким! Останься у него две руки, он наделал бы глупостей: продав квартиру, протерпев пару лет в Махерасе послушником, не имея наставника, так и не выучив греческого и взвыв от непосильной ноши, «нагишом» возвратился бы «в прислужники старикам», да, пожалуй, с горя и спился, или свихнулся, или утопился в тёплом Средиземном море, – вот, что произошло бы. Нет, с двумя руками он ничего хорошего не сделал бы – и в этом главный парадокс. Несчастье его подстегнуло, а иначе он не решился бы получать образование, не женился бы на Оле, неоднозначный мир инвалидов был бы космически далёк от него, как не имеющий отношения к жизни вовсе, да кто знает, чего ещё не случилось бы… Сейчас же у него всё впереди, он не представляет пока, как и кем собирается потом работать и сможет ли вообще

доучиться, но утешало, что появились цели, что-то осязаемое, понятное, а не только запутанные мечты…

И он внимательно смотрел на нового, только что рождённого батюшку. Каково ему сейчас? Это был человек лет сорока, среднего роста, прямой, лёгкий, узкоплечий, с круглым лицом и подбородком с ямочкой, на котором еле проклёвывалась редкая русая бородка, приятные широкие глаза внимательно смотрели из-под сосредоточенных напряженных бровей, лоб с небольшими морщинами белел под открывавшими его короткими светлыми волосами. В уголках губ пыталась несколько раз завязаться улыбка и испуганно исчезала под натиском серьёзной молитвенной собранности. Какими путями он пришёл сюда?..

Он замер, вздохнув, и на мгновение поверил новой мечте, которая скорбью и грустью плеснула и увлажнила глаза, застывшие на серебристом узоре фелони, – тоскливо осознавать, что с тобой чего-то не произойдет никогда. Чего скрывать, он молниеносно позавидовал чужому счастью и сознался себе в этом. Выше священнического служения, наверное, нет на Земле служения. Конечно, он, бестолковый и трусливый, никогда бы не справился. От него не нужно «подвигов», нужна капля смирения... Но как-то это скучно.

Он внимательнее стал рассматривать нового батюшку, когда тот, напряжённо улыбаясь, смущённый, вынес целовальный крест и подавал нахлынувшей толпе с бережной предупредительностью, – невольно представляя, как сильно тот переживает. Наверное, все почувствовали, что что-то неуловимое свершилось – была разница между человеком, недавно стоящим в середине храма, и тем, что вышел сейчас, – случилась перемена, непостижимо тонко преобразившая удивительной радостью его лицо. Это и сокровенно, и страшно, и серьёзно... Он тут же стал ругать себя за то, что бесцеремонно полез в чужое сердце, будто пытался подсмотреть в замочную скважину, – всё равно ему никогда не понять того, что происходило сейчас в этой счастливой душе, как никогда не почувствует не венчавшийся, что чувствовал он к своей жене...

Неизвестно, было ли это связано с тем, что он стал свидетелем хиротонии или нет, но почему-то в тот момент ощутил он близкую связь со всеми людьми, и связь людей между собой, которую раньше не чувствовал – будто прилив силы, невесть откуда взявшейся. Ну да, опять вспомнил он, у него же тоже новая жизнь, собственное маленькое служение. Вот бы навсегда стёрлась граница, преграда между ним и людьми, и они перестали быть чужими, а стали понятными, близкими. И… одинаково далёкими, потому что теперь особенно остро ощущалось, что в конечном итоге каждый человек принадлежит только Богу. Оказывается, можно иногда проникнуться, что все – братья и сёстры, сообразил он, и как только сообразил, сразу же утратил это чувство родственности, тем более что его неловко толкнула какая-то женщина, даже не подумав извиниться. Он тут же возмутился, тут же отругал себя за то, что возмутился, тут же ужаснулся своей обидчивости, тут же успокоился, вспомнив о грядущей учёбе и работе.

***

Что будет?.. Он утратил весомую часть свободы, он всегда теперь должен заботиться об Оле и отдаваться этой своей новой роли – «будущего миссионера», это всё равно, что стоять на посту, – отважно решил он, – даже когда его никто не видит, он должен «бодрствовать», а то вдруг его ошибки станут для кого-то искушением? Ему представлялось всегдашнее существование начеку, тревожный сон вполглаза. А ещё – будто ему влили в сердце стакан чистой воды с непременным условием днём и ночью носить его, не разливая ни капли. Впрочем, памятуя о монастырской работе, он быстро переключился с героических мечтаний о «жертвах» на свою ограниченность и слабоволие, робел и восторженно поражался, что ему выпала эта честь, будто ещё не до конца верил, что поступил в университет. И с любопытством догадался, что отданная

часть вольной жизни каким-то образом не свяжет, а напротив, освободит его, распутает, взбодрит, но как это произойдёт, оставалось тайной.

Это ему-то, обычному человеку, представляются такие сложности, а уж какую ответственность берёт на себя священник – вообразить жутко. «Нельзя об этом думать», – решил он, когда все приложились к кресту, а окрылённый чистой радостью батюшка, упорхнул в алтарь. Снова чуть заметно кольнула непонятная зависть, и, выйдя из храма, он решил порассуждать «для приличия» о грехах.

Вот, например, он приходит к священнику, которого называет отцом, уважает, как и другие, а между тем, стоя в очереди на исповедь, чувствует нетерпение и даже раздражение, будто только он заслуживает внимания, только его пережёвывания мыслей должен отец выслушивать, сострадать, жить его жизнью, утешать, видеть в нём чудо, в то время, как он выливает вёдра грязи. При этом едва он очистится чуть-чуть, как снова испачкается, ещё, ещё, а всё-таки продолжает гордиться… Он отчётливо видит, что он микроб, пылинка, травинка или песчинка, и каждый день с ним случаются грехи нескончаемые, тут в ад не только поверишь, а, соприкоснёшься… Впрочем, чем больше чувствуешь этот «ад», тем больше полюбишь людей, – тогда уж точно поймешь, что люди от Бога. Все. И все хорошие. И всё вокруг в пределах допустимого. И каждому Бог дал свою игру, свою задачу, и он её выполняет, как может…

Но сложно любить и восхищаться человеком лицом к лицу. «Потому что сочтут за человекоугодие», – умничал он. А вот издалека и «втихаря» можно. И он любил, но издали. Но когда его оскорбляли или задевали, тогда он забывал правильные мысли и временно людей не любил. А потом снова исподтишка интересничал и восторгался: какие они умные, красивые какие, а женщины вообще фантастические, непостижимые.

Он порой так себя воспринимал, словно жизнь живёт чёрно и мрачно, среди теней, серости, плоскости, и только по праздникам ему дают на людей посмотреть, как будто он сам не человек. Не то чтобы это на него в какие-то особенные дни находило, нет, просто идёт в привычный час по улице и, дивясь на прохожих, смотрит, «будто из-под пепла»… И вот у них, у Людей, всё по-другому, хорошо так, нарядно, важно, интересно им, они заняты чем-то необыкновенным, а ему – только на час разрешили, и то через замочную скважину. Наверное, это же чувствовал Елисей, когда рассказывал про театр…

Рассуждая таким образом, чуть шевеля покусанными губами, он ехал сейчас домой в новой синенькой мягкой электричке. Хотелось очутиться в тёмной доброй берлоге, запереться ненадолго – побыть одному, а если повезёт, увидеться с Дашей. Он так соскучился по ней, – последний раз встретил её на венчании, и то мимолётно, рассеянно, потом написал смс про своё поступление.

Сейчас он хотел рассказать ей, как близкому другу, ведь после той драматической ночи с Олей она почти заняла в его сердце место Елисея, про эту службу с хиротонией. Возможно, она помогла бы понять, отчего он чувствует себя внезапно несчастным, потерянным, хотя ещё утром плясал и бегал по потолку от радости. Хотя Даша редко бывала откровенна, обычно отшучивалась и эффектничала для оригинальности, но разговор мог бы собрать раскатившиеся и распрыгавшиеся горохом мысли или подтолкнуть посмотреть на всё под другим углом.

Чем ближе он подходил к любимому однокомнатному «сарайчику», тем больше наполняло забытое элегичное спокойствие – он уже отвык от прежней мечтательной грустноватой, но безмятежной жизни, которая связана была с этим его холостяцким уединённым жилищем.

***

– Приятно, когда не нужно подниматься по лестнице! – шёпотом приветствовал он свой первый этаж. (В Олином доме был старенький громыхающий лифт, где он наловчился ездить, забыв под утешительное потрескивание семейного очага про клаустрофобию). В затаённо-

счастливом предвкушении повернул он крупный, как у старинного кладовщика, жёлтый ключ. Интересно, дома ли Даша? Он решил не предупреждать её звонком заранее, зная, что она обрадуется сюрпризу.

Но в квартире у него оказалась вовсе не Даша. Едва открыв родную, серую с медными нашлёпками дверь он нос к носу столкнулся… со стариком, который собственной персоной стоял в коридоре! Вот уж кого он меньше всего ожидал найти у себя дома, так это Дашиного таинственного тонкотелого деда. Он, впрочем, отнюдь не забыл о нём, наоборот, тот в последнее время часто вспоминался: придёт ни с того ни с сего на ум, засядет там и уставится своим саркастичным непроницаемым взглядом.

Нельзя утверждать, чтобы он сильно обрадовался этой встрече, скорее, оторопел. Его для порядка «пробрало холодом» и удивило ещё, что старик оказался вдруг высоченным, – когда он сидел, скрючившись, на грязной всклоченной постели «приюта», это было незаметно.

– Здравствуйте, – пробормотал он. Нет, конечно, Даша молодец, что вытащила деда из отвратительного заведения, которому названия нет, она права, что хочет помогать и заботиться о нём сама, она добрая девушка и любит чудаковатого этого пришельца... Но нужно же было предупредить! Неужели она боялась, что он не поймёт и не позволит? Не мог он этого не позволить, странно даже, что сам не догадался такой вариант предложить. – Извините, что я без звонка, – смущённо кашлянув и шмыгнув, продолжал он, чувствуя себя благородным и не удивляясь, что дедуля ничего не говорит. Он давно уразумел, что старик пренебрегает любыми правилами приличия и условностями.

– Странно, что сам не догадался, – озвучил его мысли коварный «прозорливец». – Ну, проходи, – милостиво пропустил его добрый дедушка в его же комнату. Там-то и ждал главный сюрприз, похлеще первого, а именно – собственной персоной Богослов! Как угораздило их тут вдвоём оказаться? Он так и замер.

– А это вы… коллега, – иронично и, как всегда, довольно равнодушно приветствовал его Богослов. – Хорошо, что вы явились наконец. А то этот террорист не выпускает меня отсюда.

– Добрый… день, – растерянно заполнил он паузу.

– Это он притащил меня в ваши покои, – продолжал загадочные объяснения Богослов, лениво кивнув на сухого, вытянутого «террориста».

– Са-ам пришел, – пропел старик, покачивая головой, словно хотел добавить: «как миленький».

Он, оглядев комнату, понял, что дедушка уже давненько и прочненько тут обосновался. На комоде и столе лежали потёртые, унылые, отдававшие прабабушкиным комодом вещи, тут же темнели разбросанные во множестве благородные толстые благовонные сигары, каждую пачку которых можно было обменять на приличный новый костюм. Из-за этого комната его наполнилась запахами первоклассного табака и тонких сладостей вместе с еле различимыми восточными пряностями, в сочетании ещё и с ароматами коллекции Дашиных духов – получался изысканный парфюмерный салон. Однако как это противоречило вызывающему буро-рыжему беспорядку и кучкам пыльного хлама…

– Словом, я нахожусь в плену и очень прошу вас как счастливого собственника этого жилья принять меры, – усмехался Богослов и выглядел непривычно измотанным: его подтянутость и манерное высокомерие уступали теперь некоей, возможно, напускной театральной рассеянности, с какой играют импозантных отставших от века, несколько наивных пожилых героев. И вправду создавалось впечатление, будто дедушка уже несколько суток «услаждал» его едкой беседой. Любой нормальный человек в таком случае, конечно, давно бы захотел придушить мерзкого старика, но Богословская выдержанность, снисходительность, презрительность и

сумасшедший аристократизм, конечно, препятствовали низким помыслам, – оружием защиты оставалась только недоумённая величественная ирония.

– Конечно, я вас освобожу, – попытался пошутить он, – а что случилось?

– Этот помраченный разумом сиятельный граф, – сказал Богослов, нисколько не стесняясь своего пафоса, – вынуждает меня жениться на Даше.

– Конечно, женитесь! – засмеялся он в ответ абсурдности происходящего.

– Как? И вы туда же? Так вы заодно… Заговор!

Он продолжал смеяться апломбу длиннющего Богослова, который с трудом помещался в жёстком квадратном кресле.

– Как же тебе не жениться, – язвительно причмокнул старик, – когда у вас ребёнок!

«Это ещё что? Неужели?» – обалдел он про себя.

– Ну, вы разве не знаете этого паяца? – ответствовал Богослов на его мысли. – Он, понимаете ли, тут вещует, юродствует, а меня работа ждёт. «Ребёнок!» Я живу по правилам.

– Зря ничего не скажет, – тихо пробормотал он, вспоминая Елисея и «деньги проститутки».

– «Ребёнком» он называет деньги Даши, – цинично пояснил Богослов, опять же на его мысли (что они тут, ясновидцы все?) – те, что она передавала на кипрскую школу. Открыл мне, видите ли, истину, будто мне не всё равно, графиня она или шлюха, – повторил «великий и ужасный» то же самое, что когда-то говорил Елисей. – Я обещал помочь, а не жениться. У меня лично её денег нет, а что копила – так это меня не касается. Мало ли что за деньги, вон, кстати, у Даши конверт целый набрался, – махнул он изящными перстами в сторону заляпанной скатерти, – чтобы вам заплатить за съём квартиры. Она у вас даром жить не хочет. Она, оказывается, покаялась!

– В завязке, – подтвердил старик. – Самое время выпрыгнуть замуж за этого пуританина.

– Как… А… что она теперь? – спросил он, сойдя с ума от любопытства, и из всей этой неожиданной сумятицы выбрав самое главное, хотя остальное тоже было поразительно, – всё же Богослов имел призвание одним выстрелом сбивать с ног.

– Уж будто вы не знаете? – усмехнулся Богослов. – Ваша Даша-то, ваша.

– Даша всеобщая. Мировая Даша, – издевался старик над собственной внучкой.

– Почему моя? – взглянул он смущёнными очами, потому что ему, конечно, очень лестно было это слышать. – Тем более теперь? Вы же на венчании были!

– Это я был! Чтобы ты передумал, осёл! – рявкнул «своё» старик.

– Он бы-ы-ыл, – иронично протянул Богослов, прекрасно зная, что это неправда. Абсурдный разговор напоминал полуночные разборки собутыльников.

– Ну, хорошо, – улыбнувшись, пожал плечами он. – Так она… что?

– Ничего! Говорю же, кается! – «а у меня работа стоит» – слышалось за этим.

– Так ничего или кается? – попытался защитить он Дашу, и можно было по его словам решить, что он за последнее время стал очень умным.

– Ничего! – отрезал жуткий, жестокий Богослов и передал ему стола толстый конверт, – потому что вот – цена её покаяния!

На этом месте ему почему-то захотелось ударить Богослова, хотя он совершенно не понял, что тот имел в виду. Просто когда на сцене появляются конверты с деньгами, то тут же кто-то кого-то должен за что-то ударить. Но он пока не ударил, а ждал, вероятно, более отчётливого повода. Впрочем, не дождался, потому что на него вообще перестали обращать внимание, будто он был «у них» насекомым, от которого в любой момент можно отмахнуться.

– Всё равно будет по-моему, и ты женишься, – перешел в шипящие величественное наступление старик. – Елисея угробил, теперь её хочешь? – совсем уже зло и язвительно просвистел он, уцепившись костлявой своей немощной рукой за богословский рукав.

Ему стало страшно, он даже не обратил внимания, что от него отстранились, и глядел на происходящее, как на захватывающее остросюжетное кино.

– Бред, – мягко шептал в ответ Богослов, но не похож был теперь на себя, а высосан стариком-вампиром, неуверен в каждом слове, почти жалок. – А ты не верь! – кинул в сторону ему, словно он подглядывал в замочную скважину.

– Все знали, что у него онкологическая наследственность! И ты знал. Мамочка всё-о-о рассказала, – продолжал жалить гнусный и совершенно посторонний дед.

– Это ничего не значит. Нельзя винить меня в том, чего никто не знает.

– Ты оправил его волонтёром в больницу брянской области. Все знают, что там радиоактивная зона.

– Это был эпизод, а решал он сам.

– Сам! – разъехидствовался старик. – Кто и что решает у тебя сам?! Всё решаешь ты! А ты, между прочим, шизофреник! – торжественно подытожил он.

– С этим не спорю, – пожал плечами трезвейший, умнейший, самый нормальный из всех людей Богослов.

– Отправлять мелкого фанатика геройствовать и милосердствовать нарочно в зону повышенной опасности! – на глазах разоблачал Богослова старик.

– Это была двухнедельная добровольная практика от его воскресной школы, – отстреливался обессиленный Богослов. Так в фильме смертельно раненный герой, истекая кровью, в последний раз поднимает пистолет, и рука его падает. – Он мог ехать в другую больницу, мог вообще не ехать! И место Елисей сам выбирал.

– Никто и ничего у тебя не делает сам! – из-за повторного «комплимента» Богослов действительно казался умирающим.

– А ты что молчишь? – неожиданно обернулся к нему Богослов, словно он давно уже обязан был броситься защищать его.

– На всё воля Божия. Никто точно не может знать, как Елисей заболел, – пробормотал он, потому что искренне так думал. Богослов только рукой махнул, будто ожидал услышать совсем другое.

– Я знаю, что теперь туда собирается Даша. Потому что жить не хочет, – насмешливо сообщил старик.

– Как… не хочет? – ужаснулся он.

– Без него, – кивнул старик на Богослова. – Поедет тоже волонтёром, только ещё дальше, на самые загрязнённые объекты, чтобы нарочно облучаться. Дура.

– Дура и есть, – совершенно не возражал Богослов. – И шантажировать меня – дурость. У вас это семейное. И уж конечно, это очередной детский щебет – никуда она не поедет.

– А вы… написали что-нибудь про графа Сиверса? – вдруг спросил он, потому что уже побывал на могиле старца Сампсона на Николо-Архангельском кладбище и, как многие другие, уверился в его святости. Прочитав о лагерных истязаниях, возможно, впервые осознал свою абсолютную беспросветную греховность. Долго он тогда носил сердце, полное слёз и терний, но постепенно растерял; сейчас же ему вдруг вспомнилось, что именно через него, Сампсона, Богослов, дальний родственник Елисея, познакомился с жутким стариком и Дашей.

– Вам бы всё молиться, – странно вздохнул Богослов и посмотрел на него с жалостью, что, дескать, с дурака возьмёшь? – Ну и молитесь с вашей Дашей, я тут причем?

Что он имел в виду?..

– Причём, причём! – влез и тут старик. – Будто ты работаешь, а не ерундой занимаешься? Такой же сказочный лодырь, как все ваши.

– К сожалению, очень противоречивые данные, поэтому я зашёл в тупик, – удостоил наконец его Богослов ответом на вопрос. – Едва ли его канонизируют.

– Он такие страшные испытания терпел... – пытался отвлечь он их обоих на иеросхимонаха Сампсона. – Даже поверить невозможно, что человек может столько вынести.

– А кто не мучился в лагерях? Про кого из заключённых нельзя сказать то же?

– Зачем вы? Вы же сами… хотели, ну чтобы его… причислили, – испуганно попытался обратить он Богослова к его, Богословской, любви.

– Хорошо, я женюсь на Даше, – не выдержал Богослов его честных глаз, а старик подавился смехом. – Добили!

Такая вот выпала неожиданная, непонятная и забавная даже история, и он едва верил, что она не приснилась. Но после этого чудеса перестали происходить, будто решили все сразу на несколько лет вперёд случиться, а потом предоставить жизни течь в прозаичной плоской реальности. И она, действительно, потекла своим чередом, именно так, как он представлял себе её, полная и забот, и книг, и любви, и трудов, и колоколов, и усталости.

24

Неожиданно, может быть, но тут первая часть романа о нём заканчивается. И, как все того желали, заканчивается хэппи-эндом. Стоит сделать паузу, ведь ближайшие несколько лет распланированы и ясны.

Будущее после университета уже не казалось ему туманным с появлением в жизни новых людей, знаний, заполненных работой и суетой дней. Наверное, – думалось и мечталось, – он станет преподавать в одной из приходских школ, а, может, освоит какую-нибудь социальную профессию. Или устроится вместе с Олей к людям с ограниченными возможностями, которые нуждаются в утешении и религиозной жизни, – дело найдётся.

Обучение давалось не то чтобы легко, но в целом давалось, и причина была простая – он любил то, чему учился. В группе, вопреки ожиданиям, оказались люди не только близкие по возрасту, но и старше, многие из них получали второе образование, а некоторые третье. Деньги появились от сдачи в аренду подмосковной «берлоги», – они тратились на семейные нужды и откладывались на дорогостоящий бионический протез. Он по-прежнему продолжал трудиться в Покровском монастыре, кроме того, они забирали свои пособия по инвалидности, словом, и без поддержки родителей не бедствовали, он по чуть-чуть копил даже на заветную мечту – паломничество к Святой Земле.

Оля, окончив училище, искала работу, шла на испытательные сроки, но ей ничего не нравилось. Мама по-прежнему неотлучно её поддерживала, а он сменял Тамару вечерами. Впрочем, Оля на ноутбуке карандашиком, зажатым в зубах, щёлкала, как профессиональная секретарша, много записывала на диктофон, да и в остальном справляться наловчилась, поэтому не так много внимания и заботы ей требовалось от близких, как вначале ему казалось, – они даже посмеивались, шутя, что ей обманом досталась инвалидность, могла бы, дескать, и обойтись. Детей у неё быть не могло, и он, в отличие от жены, не огорчался этому, потому что дни и без того стали напряжёнными и расписанными по минутам, а трудности, связанные с ребёнком, возникли бы колоссальные.

***

Зато сын родился у Даши, – он решил, что это тот самый малыш, о котором вещал старик, хотя родился он самым честным образом, то есть через год после того, как Богослов на ней женился. Неизвестно почему, но тот всегда, загадочно улыбаясь и одёргивая складочку на рукаве, нарочито утверждал, что это «мамочкин» ребёнок, и вообще был показательно холоден к малышу, которого все в один голос окрестили Елисеем. Любопытное худощавое дитя с пелёнок необыкновенно походило на отца, что тот упорно и чопорно отказывался признавать.

Жили они с Дашей уже на Кипре, где у Богослова был довольно скромный, но вполне уютный деревенский дом. Тот продолжал читать восхитительно заумные блестяще ироничные лекции, вызывая привычные восторги и овации, часто разъезжал по заграницам, больше всего по Европе, куда его приглашали как профессора, ценя за экстравагантность и некоторую эпатажность, и он неизменно оставался тем же внушающим благоговение харизматичным аристократом с интеллектуальными манжетами, которого трепетали, боялись и уважали невесть за что. Даша же разгильдяйничала, невнимательно занималась ребёнком, изредка развлекая себя хозяйством, намеревалась ещё рожать, а вот «умственно и духовно возрастать» не планировала, «позоря» седеющую от избытков ума величественную голову Богослова.

Когда он узнал, что «романтическая юная пара» поселится на Кипре, вожделенном его и заповедном острове, то вместо того чтобы завидовать, обрадовался. Наверное, потому что самое дорогое нужно отдавать. Для него Кипр остался потерянной мечтой, прекрасным воспоминанием. Но он верил, что Даша сможет найти и оценить там то сокровенное и святое, что так сильно изменило его жизнь. И ему было хорошо при мысли о них, при удерживании в памяти и молитве того, что в этом безмятежном солнечном месте живёт его маленький крестник Елисей.

Крестины были единственным разом, когда они с Олей слетали на Кипр в гости ко всем, начиная от святого Лазаря и заканчивая новоиспечённой Богословской семьёй. Он, скрывая нахлынувшую от ощущения утраченной мечты внезапно сильную боль, конечно, первым же делом потащил Олю в Махерас, надеясь, что перемены, которые под его мягким влиянием медленно и неуверенно начали в ней происходить на пути к обретению веры, там могут возрасти до серьёзного поворота, о чём он и молился со дня их сближения.

Приехав в Махерас, он снова пережил неописуемое невозможное пронзительное блаженство и отчаяние, и покаяние, и умиление, и бесконечную сладостную тихую радость. Он осознал тут, что за последнее время высох, к службам и храмам относился, скорее, как к долгу, замотан был учёбой, в воскресные дни равнодушно опаздывал к литургии, а иногда холодно пропускал её. О греческом православии он и думать забыл, не хватало минуты даже включить и послушать изредка афонский «Параклисис».

А тут всё это разом нахлынуло, вспомнилось, овладело им, – он в каждой церкви плакал, восторгался, уносился, хоть раньше горделиво думал, что уж достиг «взрослого» спокойствия и сдержанности. Но нет, он ещё был способен на безрассудные рыдания, на необыкновенные переживания, и стена слёз накрыла его, когда он упал на колени пред Ней, Мехериотиссой. И внезапно впервые мимолётно уловил, что вот эта Её, воздетая к Господу рука – и есть та прекрасная рука, которая привиделась ему в детстве, которая несла его через всю жизнь, в которой он лежал, словно в колыбели. Но это снова был только миг, он тут же забыл о нём, охваченный новым вихрем упоений, воспоминаний, растворений, потрясений...

Оля не плакала. Он потом понял, что она почти ревнует к этой его способности что-то чувствовать, способности долго молиться, неизвестно отчего плакать перед иконами, – а ей это было странно, стыдно, даже неприятно.

– Знаешь, мы с мамой тут останемся на несколько дней, – решила Оля, видимо, желая мощным волевым усилием разобраться в порывах и безумствах собственного мужа. – А ты пока съезди к ним.

Оля всегда стыдилась почему-то говорить о Даше. Она не хотела жить в их тихом крохотном коттедже, из-за этого они остановились в дешёвеньких апартаментах с редкими пальмами у низкой изгороди. Возможно, это была не столько ревность, сколько страх и смущение из-за того, что она у Даши его «украла».

И он поехал «к ним» один. Осмотрел ухоженный садик с тремя гранатовыми деревьями, множеством робких белых цветов и жёлтыми продолговатыми то ли тыквами, то ли кабачками; с облегчением вздохнул, узнав, что Богослов должен вернуться только послезавтра «к самым крестинам» из очередной лекционной поездки. Всё-таки он его стеснялся, а кроме того, хотел без «посторонних» пристальных и насмешливых глаз пережить радость знакомства с маленьким Елисеем.

Даша пританцовывала, бросалась на шею, щебетала, хлопотала, готовила специально для него что-то из наспех освоенной кипро-греческой кухни, легкомысленно хохотала и кокетливо вскидывала ресницы, а он-то думал, что она страшно и непоправимо изменится после замужества и рождения ребёнка, но нет! Для неё малыш существовал как-то отдельно, словно мало отношения к ней имел, – а она осталась прежней, разве что попроще, без нескончаемых былых внезапностей и ошеломлений. Впрочем, всё равно временами возвращалась к привычному безумному репертуару:

– Хочет, пусть растет гением, как отец, – говорила она о Елисее, – это его дело, а я в его дела не вмешиваюсь. Что хочет, пусть то и делает, а я ни при чём.

И он смеялся.

– А Богослова до сих пор боюсь, – мило улыбалась Даша, которая так и продолжала называть своего мужа. – Всё думаю: вот если бы я за тебя замуж вышла, мне бы с тобой так спокойно было, тепло, тихо, ты ведь заботливый такой…

– Заботливый? – поразился он. – Замуж?! – поразился ещё больше.

– Конечно, – еле слышно шепнула непостижимая Даша. – Я той ночью, ну, когда мы втроём там у тебя были, лежала и думала, что ничего мне не стоит прямо сейчас женить тебя на себе, что ты тут же согласишься… и они бы просто уехали. Всё бы теперь было иначе. А с Богословом мне не по себе. Умный слишком. С ним, будто не семья, а сплошной праздник, не знаю, Именины или Новый год?! Вот мы венчаны уже, а я всё боюсь, как бы он не ушёл от меня. А он и уходит! Пропадает надолго, даже когда не уезжает, берёт однажды и исчезает, ничего не сказав. Характер такой, не переделаешь. А могло бы всё быть и по-другому. С тобой.

«Э, нет, – подумал он, – по-другому не могло быть. Как это тебя Богослов не научил?»

Во время крестин он испытал такое блаженство, словно это его крестили, а не младенца, у него и тут брякали слезы градом, наверное, было бы слышно, как они об пол разбиваются, если бы в церкви стояла тишина. Огромная толпа нарядных, цветущих и весёлых киприотов, крикливых, как галчата, – все знакомцы Богослова – его обнимала, мужчины хлопали по плечу, женщины пожимали и гладили руку, добродушно смеясь и «э-э»-кая. Оказалось, тут принято устраивать на крестины великолепный праздник «с фанфарами», собирать знакомых, лепестки бросать, подарки вручать, звонко и шумно целоваться. Один лишь священник был молчалив, строг и важен, да ещё сухарь Богослов, который иронично поглядывал с трона своего величия на низенькую сутолоку, – остальные же, словно не на сокровенном таинстве присутствовали, а на народном гулянье, которое длилось до вечера. Но его удивительной, бьющей родником, а после и фонтаном, сердечной радости это не помешало, он про себя ликовал и торжествовал, и тоже всех обнимал

единственной рукой, и со всеми целовался, и делился вселенским счастьем, неуклюже и неточно вспоминая по ходу кое-какие забытые греческие выражения.

Ну а потом… потом он забрал Олю с Тамарой из Махераса, и, побултыхав немного остывшее ноябрьское море, они уехали домой. Обе ничего не говорили и с виду оставались обычными. Ему жаль было, что они, столь любимые им, родные люди, пока не разделяют самую главную часть его жизни. Но однажды, вскоре после возвращения в Москву, он застал Олю неподвижно стоящей перед иконой. Когда он внезапно сунулся в комнату, она вздрогнула, повернулась взъерошенная и ошалелая, и возмущённо молчала, только уставилась на него гневными сверкающими очами, – он изо всех сил постарался не улыбнуться и вышел.

***

Летом он поехал на практику с университетской группой в места отдалённые миссионерить, – общаться со старшеклассниками в неизвестном никому уголке России, где дороги колдобились непролазной грязью, жизнь была тяжела, воздух чист, бедность общепринята, а церковь, расположенная в десяти километрах, популярна только у бабушек. Они с друзьями говорили, как солидные: умно, горячо, потом отвечали с усталыми улыбками и добродушием на каверзные и подковыристые вопросы школьников.

– Что же это у вас Бог руку забрал? – спросила его развязная девица, жующая жвачку и обнимающаяся с парнем.

– Как не стыдно, – попыталась утихомирить её лояльная к правам подростков классная руководительница.

– Нет, как вы после этого докажете, – настаивала школьница, – что ваш Бог добрый?

– Господь всё делает для того, чтобы мы покаялись, чтобы жили, стремясь ко спасению души, – проникновенно начала одна из его молоденьких однокурсниц, пытаясь помочь, а приятель в это время успокоительно шепнул на ухо: «всё хорошо», помня о его ранимости. – И Бог лучше знает, что нужно каждому для спасения. Иногда нужно и пострадать.

– Значит, вы, девушка, лучше него, что у вас Бог руки не отнял? Ближе ко спасению? – провокационно язвила девица. – Молчите? Вот и молчите, пусть он сам объяснит, почему ваш Бог рук лишает! Что вы за него говорите?

– Я так думаю… – начал он и затих. Все замолчали. – Не знаю, – потерялся он смущённо. Потом наконец он стал говорить, еле слышно, сдавленно. – Я и сам раньше понять не мог, почему это со мной случилось. Я ведь тогда только к вере пришёл, хотел жизнь посвятить Богу, покаянию, спасению души. В монастырь уйти хотел. То есть, думал, что хотел. Я тогда ещё не понимал ничего. Но я очень верил в то, что я, правда, это сделаю, жил и дышал этой мыслью, верой. Но, видимо, ещё не столько верой в Бога, сколько верой в такой свой «подвиг»… И я теперь думаю… что, может быть, даже и часто так бывает, что чуть поднимет человек флаг «я с Богом» и пойдёт что-то хорошее и правильное, как ему кажется, делать, – тут у него руки и не станет. Потому что кто с Богом, бывает и оплёван, гоним, несчастен, плачет, а не только радуется, что милосердие и добро на Земле есть, а уж тем более, что он к нему причастен… И из-за тех, кто с Богом, необязательно торжествовать и утешаться должны другие люди, а ещё – сострадать, плакать о них, молиться… Тут, в земной нашей жизни – испытание настоящее, а не фестиваль подвигов, пусть даже самых добрых. Тут настоящая боль, не надуманная. И один Господь только видит муки тех, чья жизнь совсем скрыта от глаз людей, потому что такие, искалеченные, страдальческие жизни никто не хочет видеть, я и сам не хотел. Не случись со мной этого, никогда бы я не узнал, какой я равнодушный, злой на самом деле, обидчивый, эгоистичный, мстительный. И это узнать страшно... Конечно, мне в тысячу раз красивее было бы с двумя руками прислуживать в алтаре, но Бог от меня совсем другого захотел, – чего-то маленького, незаметного. А от кого-то ещё более

незаметного хочет, например, от того, болезнью годами к кровати прикован или в приюте для бездомных, и никому не нужен, и это – тоже служение, такое вот скучное и уродливое с виду. Значит, наверное, важнее Богу видеть чайную ложку твоего смирения, чем целую гору полезных дел или тайную гору добрых твоих помыслов и молитв, потому что это сложнее, а тут испытание не понарошку, не праздничный конкурс добродетелей. Как в лесной чаще, где никто не ходит, ландыш цветёт так нежно для одного только Бога, так и капля твоего смирения только для Бога, и Ему оно нужно, никем больше незамеченное, потому что каждый, как тот ландыш в лесу, на самом деле для Бога живёт, и Бог один знает, кто какой нож носит в сердце. Главное, носить его «без подвигов», и всё принимать, и плохое, и хорошее… Без подвигов, – печально повторил он. – Хотя по-разному бывает… Кто-то и с флагом «я с Богом», и тоже прав, тоже чист, и смиряется по-другому, даже ещё больше – каждому своё, а в итоге ничего не понятно… – и долгожданные привычно большие детские слёзы, наконец потекли по его лицу. – Вот у меня жена совсем без рук, – с трудом продолжал он, – смотрите, у вас четыре руки на двоих, – кивнул он девушке и парню, – а нас с женой всего одна. Думаете, мы такие религиозные, верующие, смирились с этим? Да мы что угодно бы отдали за то, чтобы и у неё хотя бы одна была рука. Одна, не две! А мы ещё говорим: смирение, покаяние. Да ничего мы не знаем ни о смирении, ни о покаянии, это только сны, звёзды недостижимые. Простите.

На этом всё кончилось.

25

Казалось бы, тут и должна стоять та самая точка, предчувствие которой есть у автора ещё до появления идеи и знакомства с героями. Но нет, здесь тоже всё будет неожиданно, и осталась изложить заключительную главу с рассказом о событии, которое, впрочем, произошло много раньше описанной миссионерской поездки, и таким образом сделать последнюю эту точку первой части романа составляющей многоточия.

Вскоре после того, как Богослов, словно издеваясь на самим собою, шутовски согласился сделать Даше предложение под гнётом едкого старика, сам этот старик загадочно пропал. Он был уверен, что дедушка по-прежнему живёт с Дашей в его неказистой квартире, но ничего похожего – уже через несколько дней после описанных событий Даша съехала. Она перебралась к Богослову, который в свою очередь пока пребывал в гостях у матери Елисея, приходившейся, как известно, ему дальней родственницей.

Об этой таинственной женщине он ничего не знал, расспрашивать Богослова не решался, и большим сюрпризом, а вернее сказать, честью было то, что она присутствовала на его венчании. Даша хоть и забрала свои тряпочки и духи из его берлоги, но иногда возвращалась, чтобы побыть одной, а ещё чтобы не мелькать перед целомудренным, но темпераментным Богословом. Старик же исчез совсем.

У него началось обучение, запестрела ожидаемая, расписанная по минутам бурливая хлопотливая жизнь, прозрачная и радостная в своей определённости. Он редко навещал родимый «сарайчик», не желая мешать, а точнее, на глаза попадаться коварному старику и осчастливленной Даше. Когда же, несколько раз заехав для порядка, он не обнаружил у себя дома следов пребывания обоих беглецов, то стал звонить Даше, интересуясь, куда подевался беспокойный дедушка, имея благородное намерение сообщить, что нисколько не возражает, чтобы бездомный старик ещё пожил у него, – не потому что он был такой бессребреник, а поскольку ничуть не сомневался, что милосердная кающаяся внучка, став женою благополучного Богослова, уж конечно, не оставит сосватавшего её хитрющего деда и устроит его наикомфортнейшим образом,

скорее всего, попросту взяв с собою в уютный, пропитанный морем и окружённый пальмами кипрский дом, а каноническому супругу тут нечего будет возразить.

Даша на его расспросы отвечала невнятно, вроде того, что спасибо, мол, но старик решил возвратиться в ужасающий тот дом для престарелых, и что, дескать, у него гордость, капризы, а, впрочем, «он иногда и нам душу травить приезжает», то бишь, в дом мамы Елисея, и там обитает, витает, строит бесшумные козни и курит свои эксклюзивные сигары, а после исчезает спать в дом, где простыни мышами пахнут, и – «ты же его знаешь» – Даша ничего с «его сиятельством» поделать не может.

Хоть не было у него пустой минуты, а поехал-таки он, заранее содрогаясь, в кошмарное заведение «для умертвения престарелых» с тем, чтобы вернуть непокорного взбалмошного самодура на свою квартиру. Он разгадал его навязчивое желание «насолить» Даше, которую с большой долей ехидства «навязал» Богослову, – получи, дескать, чего ты так хотела, и мучайся, а я посмотрю и похихикаю, что ты теперь с ним будешь делать!

«Нужно это безобразие прекратить, – решил он, – хватит с Даши его воспитания». Она без того сейчас взвинчена и на нерве: боится мести с бывшей «работы», боится новой жизни и тоски по прежней, «вольной», боится потерять Богослова и ещё больше боится навсегда остаться с ним, опять же грядёт таинство венчания, – а он знает, какие искушения начинаются в такой момент у человека, а эти её первые неуверенные шаги к Церкви, да мало ли что ещё, и ко всему прочему на, ешь неуместные капризы старика!

Поэтому он, герой-молодец, бросился помогать Даше, чтобы относительно-то хоть коварного деда она не переживала, и совершенно не подумал в тот момент, что своим вмешательством может ухудшить ситуацию. И, скорее всего, ухудшил бы – сложный, репейный характер не менялся у старика – но сделать ничего не получилось, потому что самого «виновника» не было. На его койке сидел другой: толстый, с большими круглыми ушами, постоянно покашливающий.

– Да кто его знает? – объяснили в заведении. – Место пока за ним держится, но по правилам, если он будет без причин и дальше пропадать, то места этого мы его лишим, у нас очереди огромные, уже в коридоре кровати ставим. Пока вон на его матрас другого положили. Вернётся – поменяются. Завёл моду приходить-уходить! То безвылазно сидел, а последние месяцы неделю через неделю живёт, и не предупреждает ни когда уйдет, ни когда явится. Никакой дисциплины.

Он тут же принялся трезвонить Даше, чтобы поговорить со зловредным прохиндеем, пригласить его пожить хотя бы по телефону, а лучше назначить встречу с ним дома у матери Елисея.

– Его тут нет, – смущённо ничего не могла объяснить Даша. – Ты не беспокойся. Своей Олей занимайся.

«Значит, скоро он придёт сюда, в заведение, – просчитал он, – надо будет снова вернуться». Но и когда он опять, нервничая и грешно ругая проходимца-старика за уйму потраченного своего времени, через несколько дней приехал в «заведение», то и второй раз его, несчастного, тут не обнаружилось.

– Был, – сказали ему. – Снова ушёл со своей невестой и неизвестно когда явится.

– Какой невестой? – растерялся он, а все расхохотались.

Говорили в один голос чудовищную, ужаснейшую пакость, будто бы старик, из которого сыплется песок, собирается жениться на молодой усталой женщине, которая приходит к нему и годится в «младшие дочки». А он тут же понял, что речь идет о матери Елисея, которая действительно навещала постороннего ей Дашиного деда, принимая в его судьбе какое-то

особенное участие. И вот теперь, якобы она, красавица, согласилась выйти за него замуж, и намечается безобразие, а какой расчёт этой самой женщине, никто не знает, только расчёт непременно есть, потому что в таком тёмном деле чисто ничего быть не может. Заодно с ног до головы обкидали грязью и саму «невесту», впрочем, в виде версий, но скабрезность и гнусность этих версий была столь велика, что у него сердце перевернулось, разорвалось на куски и исчезло, ведь святость отношения Елисея к матери передалась и ему, и чувство это было из разряда неприкосновенных.

Он, пылая от негодования и боли, попытался коротко переубедить сумасшедших и намекнул на то, что старика скоро, наверное, заберёт внучка, а женщина эта – просто добрая знакомая, которая вот-вот станет родственницей, но его слушать никто не захотел, с ним так неистово стали спорить, что пришлось бежать. И на ходу он пытался анализировать их рассказы о том, как якобы распустился и впал в разврат взбалмошный старик. Как он доказывал, будто бы им всем, что теперь, когда она согласилась жить с ним, ему «всё можно», что эта женщина, дескать, такая, которая «для него предназначена», что с ней он обретёт исключительную какую-то свободу, наплевав на любые условности, которым дедуля и раньше-то значения не придавал.

Якобы с момента, как они поженятся, он имеет право даже на кощунство и преступление, и если что, – вина почему-то окажется на ней. В общем, тут был то ли психоз, то ли очередная мелодия символов, которую они исказили, да и совсем не могли выразить, а только бряцали беспорядочные отдельные аккорды. Другие заявляли нечто непохожее: что он при ней делался паинькой, и она его «душой» стала, «вдохновением, силой», что он с ней и слова не решался произнести, а только смотрел с открытым рыбьим ртом, но их опровергали третьи, которые шептали, что хоть он и молчал, но не от любви, а наоборот, ненавидел её за что-то и хотел убить, – и каждому больше нравилась своя эффектная версия, чем его, простая и гуманная.

«Должно быть, Даша и Богослов решили перепоручить капризы старика матери Елисея, – гадал он. – А Даше, конечно, неловко в этом сознаться. Самой ей общаться с дедом сложно, Богослов тем более ублажать его не собирается, ну а мама – мягкая, терпеливая, трепетная, которая и раньше-то особенно жалела старика и со всей искренностью помогала, вероятно, и теперь, одна из всех, имела на него хоть какое-то влияние. Мерзкие домыслы про «свадебку», разумеется, бред собачий, – неудивительно, что в таком унылом месте к людям приходят извращённые фантазии…»

Даша абсурдным слухам про «свадьбу» не поразилась, как он ожидал того, а невероятно зло сказала:

– У него ума достанет! А у неё «жертв»! – и ничего больше не собиралась пояснять, искренне посоветовав ему не мешаться не в свое дело. Ну вот, а он-то хотел как лучше… Он впрочем, почувствовал, что Дашу жутко угнетают эти загадочные происшествия, что она донельзя напряжена, ожидает от деда очередных коварных выпадов и заскоков, и что спокойно жить он, конечно, никому не позволит. Ему ещё сильнее сделалось жаль её, и он решил во что бы то ни стало разыскать старика, у которого, «из подлости» не существовало телефона.

Не дала ему Даша и номера матери Елисея, впрочем, он бы и не посмел позвонить, не познакомившись, да и неловко казалось напоминать ей об их дружбе и об истории попадания под электричку. Он верил, что она готова говорить на любые темы, возможно, даже поделится собственной болью, мыслями… Но мешало другое – то странное желание Елисея «спасти» свою мать от посторонних взглядов, уберечь от бесполезных слов, – это крепко застряло в памяти, поразило, хоть он и не понял ничего. Но как ему и понять – сам-то никогда не видел матери, только Ту, на иконе, где как раз святое отношение было естественным. На всякий случай он решился набрать прежний номер Елисея.

– Алло! – бодро ответил Елисей, и он бросил трубку, в ужасе проснувшись. На самом же деле абонент был недоступен – когда после того сна, он, вдохнув мужества, всё же по-настоящему позвонил, боясь голосов и мистик, то обрадовался, узнав, что телефон отключён.

Он попробовал навестить ту, Елисееву, квартиру, но там находилась лишь Даша, которая, выведав цель его визита, разбушевалась, как фурия, и отправила «домой, к жене!» Ещё дважды ездил он в дом для престарелых, предварительно названивая туда, чтобы убедиться, что пропащий дедуся «на месте», чем вызывал клокочущее раздражение сотрудников, уставших от повышенного внимания к персоне «его сиятельства». Но каждый раз получалась неудача: удостоверившись, что «рыбка на крючке», он, бросая всё, мчался в плачевное «заведение», и оказывалось, что неуловимый долгожитель «вот только что уехал», словно расчётливый старик прекрасно понимал попытки разыскать его и нарочно играл в прятки. Его самого уже откровенно злили эти навалившиеся «развлечения», он написал беглецу пронзительное письмо-«свиток», и оставил на тумбочке, но это не вызвало никакой реакции, «юродивый» по-прежнему ускользал, а письмо, вероятно, прочитали и выбросили другие.

– Предоставьте дедушку близким, а сами занимайтесь своим делами, – увещевал его священник, – зачем вам это нужно? У вас столько собственных хлопот, помолитесь о них, положитесь на волю Божию, и со временем дело разрешится.

И он положился, жаля и обвиняя себя в том, что «махнул на всё единственной рукой», потому что ему надоело скакать кузнечиком. Он чувствовал вину из-за накатившего равнодушия, ведь эта чудаковатая семья стала для него близкой, и сердце болело из-за них, и голова кругом бежала, вызывая скрытую горькую Олину ревность. Итак, он забросил погоню и мрачное это дело, хотя внутреннее беспокойство не оставило его.

***

И вот, спустя почти три месяца, перед самым венчанием странной молодой пары, которое вместе со свадьбой назначили вскоре после Рождества, он любезно и осторожно беседовал со взвинченной, нервно дерзящей на каждое ласковое слово Дашей и снова как бы невзначай завёл речь о старике – выразил очаровательную и вежливую надежду хоть на венчании-то узреть «неуловимого мстителя».

Но тут Даша особенно дёрнулась, запыхтела и сообщила, что нет, и на венчание он не придёт, а если придёт, то «что-нибудь выкинет», словно он совсем монстр был или изверг. И вообще, дескать, если она на него в такую минуту посмотрит, то венчаться передумает, а уедет работать обратно «на старое место к мамочке», и так далее, – складывалось впечатление, что она вот-вот истерически разрыдается. «А главное», – разоралась Даша, – чтобы он больше никогда, никогда о старике не упоминал, чтобы навсегда забыл о нём, чтобы жил своей скромненькой жизнью, хоть ангелом, хоть разбойником, хоть кем хочет, но злосчастный дедуля должен навеки из его памяти исчезнуть, – пусть никакой попытки что-либо о «пропащем» узнать он делать не смеет, а уж они с Богословом, наверное, без него разберутся со своими домашними проблемами и о «древнем ископаемом» позаботятся.

Но он опять упорно Даше не внял, зная, что уж где-где, а на венчании старику появиться необходимо, выдумав почему-то, что она вместе Богословом, всем сердцем тайно этого желает. И снова ринулся в дом для престарелых, молясь о том, чтобы хоть ради венчания-то наступил в их взбалмошной семье миг гармонии и примирения.

Но, нет, увы, язвительного шутника он так и не нашёл, место его в комнате теперь уже окончательно было занято. Когда же он двинулся расспрашивать, мысленно крепясь и готовясь принять на себя очередное ведро помоев, то его настигло неожиданное известие.

– Что вы, да ведь он умер, – сказали ему.

– Как?

– Неужели вы не знали? Да считай два месяца.

– Как?! – совсем уже растерялся он.

И ему снова стали взахлёб рассказывать страшенные провокационные небылицы. Будто бы эта самая воздушная красавица, мать Елисея, продолжая принимать непонятное никому пристальное участие в судьбе дряхлого старика, являясь к нему периодически и забирая его, решила однажды похитить его насовсем. Будто бы они тайно поженились, а поскольку тайно, то никто об этом не знает наверняка, но все уверены, конечно, что это случилось, потому что так интереснее (осталось только ещё дополнить, что свадьба состоялась ночью, в заброшенной башне на болоте, в окружении воющих ведьм и призраков). Итак, свершился-таки якобы этот тайный непостижимый брак, и они отправились в свадебное путешествие, «медовый месяц» – докладывали ему, хихикая.

Поехали они в Финляндию, это известно доподлинно, где были у красавицы друзья или родственники, с целью непременно посетить Новый Валаам. И дальше сведения следовали уже разноречивые. То ли они до Нового Валаама так и не добрались, то ли уже возвращались оттуда, то ли непосредственно в монастыре, – одним словом, в путешествии этом старик и умер. По тому трагическому случаю собирались вроде бы даже завести уголовное дело, а кто-то яростно доказывал, что и завели, и упрятали, дескать, бедную женщину за решётку. Будто бы её обвиняли в том, что она нарочно, зная о критическом состоянии здоровья своего «новоявленного муженька», хотя, кажется, ничего критического не было, потащила его в эту «опасную», эмоционально насыщенную поездку, что, более того, – кормила его подозрительными лекарствами и таблетками, которые всячески его смерти поспособствовали. Но доказать, дескать, ничего было невозможно, и её отпустили. Словом, бред сивой лошади. А цель уж, конечно, эта женщина имела свою, – вполне вероятно, что у нищего бездомного старика были закрома с миллионами, о которых никто не догадывался, а может быть, в наследство ей перепали пятиэтажные коттеджи где-нибудь под Парижем – просто так подобные делишки не обтяпываются.

Ему очень не хотелось беспокоить Дашу и Богослова за несколько дней до венчания, но он всё-таки позвонил и твёрдо спросил:

– Даша, где могила твоего дедушки?

– А, опять на могилу тянет? Второй руки лишиться захотел? – злобно, под стать старику съязвила Даша и передала трубку жениху.

Богослов ответил лаконично:

– В Финляндии. У меня там родственники. Твоя Даша им понравилась.

– А что случилось… с ним?

– Умер, – совершенно логично отрезал Богослов.

***

Маму Елисея он увидел мельком на венчании. И только со спины, но сразу понял, что это она – слишком выделялась эта женщина из приглашённых. Он то ли не смел, то ли не мог смотреть на неё, хоть и одолевало запрещённое любопытство. В какой-то момент ужасно захотелось пройти вперед, чтобы взглянуть всё-таки на её лицо, но шелестящих, журчащих, переливающихся гостей в торжественно освещённой церкви образовалась целая толпа. Удивительно много собралось знакомых Богослова, и его поразило, почти насмешило, что большинство из приглашённых оказались простыми, обыденными, а говоря прямо – малопривлекательными людьми, не только без интеллектуальных манжет, но, скорее, смахивающих на фабричных рабочих. Попадались даже и вовсе забулдыги по виду, о которых он

сначала решил, что они случайно затесались, зайдя «свечку поставить», и – на тебе – после выяснялось, что они его приятели, троюродные дяди, племянники… Некоторые друзья, наоборот, необычайно походили на самого Богослова: заумные, мудрёные и учёные, высокомерные и снисходительные.

Конечно, он не стал протискиваться вперед, чтобы рассмотреть тихую загадочную женщину, имя которой теперь связывали с грустной интригой – и не решался, и неприлично было бы, – но со спины жадно ел её глазами. Выразительность, трагическая отрешённая «острота» её позы снова навела его на образ ножа, – она словно была навсегда отсечённой от жизни потерей Елисея. На мгновение показалось, будто это в самом деле образ был, а не живая женщина. Образ плача. И палача. На фоне икон, церковной благодати, пения, пылающих бутонов свечей, благоухания и самого венчания столь дорогих ему людей впечатление многократно усиливалось. Она робко, неприкосновенно, изумительно, существовала от всего отдельно, будто застыла над ними в ином пространстве, измерении, и он, как прежде Даша, всё время таинства на неё глядел и поражался, и восторгался болезненно. Сама поэзия, лирика, воплощение не то дождей, не то лучей, не то огней, – никуда не деться от этой возвышенности, никакой рационализм и трезвость не спасут. Позже, на свадебном застолье, он уже не видел её, хотя и высматривал потихоньку, но столы поставили в кафе рядами, и озираться, крутя головой туда-сюда, казалось диковато. Так она и испарилась – он ничего не узнал о ней.

О той жутковатой провокационной истории со стариком он тоже не рискнул расспрашивать Богослова, но разворошив её про себя, выбрал думать самое светлое и бесхитростное. Что, конечно, ни о каком браке речь не шла, что просто верующая женщина по гуманности помогала несчастному бездомному, заботилась о нём, и это, разумеется, удобно было молодой парочке. Видимо, желая сделать ему подарок, она организовала эту паломническую поездку в Финляндию и сама сопровождала его, тем более что доступ в страну у неё был постоянный. Ну и, наверное, несчастье это, действительно, случилось из-за слабого здоровья и почтенного возраста дедушки, который давно уже никуда не выбирался, а путешествие за границу плюс упомянутая его «эмоциональная нестабильность», – дали свои результаты.

Он искренне желал всё-таки познакомиться или даже сделаться другом этой отстранённой, необъяснимо притягательной женщины. Но вскоре узнал, что она из знакомой ему квартиры переехала, может быть, даже и в Финляндию. Тогда он навсегда заключил, что не стоит искать её, что если потребуется, случай сам сведёт их, – так и осталось что-то запретное, сокровенное и недорешённое в его отношении к ней.

***

Ну и вроде бы всё уяснилось, встало на свои места, но что-то в этой «притче» его тревожило, хотя, если вдуматься, он-то являлся совершенно посторонним человеком и соприкоснулся с этими людьми как будто случайно. Вот странное дело, постоянно он помнил, «будто вчера» ясно эту историю со стариком.

Уже он и о Даше с Богословом размышлял редко, – берёг в себе, конечно, «пламенный образ» друзей, живущих в столь любимом и важном для него месте, близко от Неё, Махериотиссы, радовался за них, чувствовал свою причастность к Кипру. Мог даже в любой момент нагрянуть в гости к «романтической парочке» и маленькому Елисею, – они оставались добрыми «приятелями», близость которых чувствуешь, но в повседневной суете о них забываешь. А этот непонятный случай со смертью старика не давал покоя!

Не то чтобы он подозревал или обвинял в чём-либо Дашу с Богословом или маму Елисея, – нет, с этой стороны он был уверен, что не то что планов, а и тайных желаний «каких-то таких» у них не было. Конечно, помыслы недобрые мелькают у кого угодно, но Богослов трезво вымел бы

их канонической метлой благородства и почтения к «родителям», а Даша без всяких канонов деда любила несмотря ни на что.

И всё же чем-то сия история мучила его спустя год, два, всплывала и будоражила, будто сегодня утром случилась, хотя, казалось бы, ну что ж с того, что много было в ней недосказанности? В отношениях Даши с Богословом её тоже присутствовало предостаточно, начиная с того, что Богослов женился как бы по принуждению, кажется, вовсе не любя её. Много в их связи, а теперь уже семье, оставалось странного, и результат этого союза, маленький обожаемый им Елисей, уже тоже казался ему особенным и непохожим на других детей. Он, увлекшись, мечтал о его «исключительности», «избранности», оправдывая подобные фантазии ослеплением своей «крестноотцовской» любовью.

И всё же к ним, несмотря на «заскоки», сложности и невозможные характеры, он тихо и спокойно относился, а вот та печальная неразгаданная история его не оставляла, волновала, словно он виноват был в ней, словно она на жизнь его повлияла, что-то перевернула, переменила… И будто он ждал, что однажды уловит, выявит в ней главное, что пока спрятано от него, а, может быть, она даже и в будущем ещё скажется и сыграет неожиданную роль. И он всегда трепетно берёг живую о них память и надежду, что когда-нибудь тайна этого его томления и тревоги раскроется, и тогда он всё поймёт…

2010-2011 г.